

Сергей Снегов

# Норильские рассказы

В основу предлагаемых читателю рассказов положены события, свидетелем либо участником которых был я сам. Лишь в редких случаях я разрешал себе писать о том, что мне передавали другие участники событий. Соответственно и фамилии героев рассказов сохранены подлинными – исключения редки и в большинстве случаев оговорены. Время действия 1936-1945 годы. Место действия – тюрьмы и лагерь.

Рассказы в основном написаны в пятидесятых годах, по еще свежим впечатлениям от пребывания в тюрьме и лагере. В последнее время к ним прибавлены лишь сведения о жизни героев после освобождения. Что до понимания событий и душевных драм героев, то я не позволял себе с высоты сегодняшних знаний исправлять воззрения и психологию тех лет. А самым, мне думается, примечательным и поразительным тогда было то, что советские люди, несправедливо осужденные и заклеенные лживыми ярлыками «врагов народа», в огромном большинстве и в тюрьме, и в лагере сохраняли и веру в высокие идеалы социализма, и преданность своей стране: свобода терялась, совесть и убеждения сохранялись. Люди, объявленные врагами народа, в душе сохраняли любовь к своему народу. Это может показаться парадоксом, но это было так. И проистекающие из этого глубокие душевные терзания заключенных – основная тема рассказов этой книги.

## Спор

Он вошел прихрамывая – низкорослый, широкоскулый, большеротый, бородака клочьями, хитренькие, под мощными бровями глазки не то подслеповатые, не то разноцветные. Глазки мы разглядели потом, лицо тоже не поразило, но одежда нового сокамерника нас потрясла. На нем был древний извозчий армяк, подпоясанный полуистлевшим ремнем, шапка – воронье гнездо, потрепанное бурей, – лохматого рыжего меха и рукавицы выше локтей. Мы даже обиделись за нашу внутреннюю тюрьму. Это было все же знаменитое учреждение для отобранных – начальников и руководителей – народа интеллигентного и хорошо одетого. Такое пугало могло бы отлично уместиться в какой-нибудь Таганке или на районной пересылке, раз уж понадобилось. В Москве тюремных площадей не хватало – случалось, и именитые товарищи месяцами торчали в участковых КПЗ, дожидаясь высокой чести попасть к нам.

Новеньких обычно засыпают вопросами, допытываясь, «что на воле». Этого мы не тронули. Лукьяныч, рослый парень, еще не забывший, что месяц назад он восседал в кресле первого секретаря крайкома комсомола на нас, старожилы камеры, он поглядывал с опаской, хмуро с ним поздоровался. А Максименко, в прошлом строитель, выпивоха и бабник, лениво шевельнулся на койке и пробурчал:

– Откуда? И вообще – кто? Новенький разъяснил, угодливо хохотнув:

– Крестьяне мы. По-нынешнему – единоличники... Из Казахстана. А фамилия – Панкратов.

– Единоличник? – удивился Максименко. – Разве эта порода не вовсе перевелась? Ваш Казахстан – он в Советском Союзе?

Панкратов захохотал. Он хлопал ладонями по коленям и заливался. Нас возмутил его смех. Мы сами порой смеялись, рассказывая анекдоты – хохот был реактивен, мы отвечали им на острое слово, неожиданное происшествие. Мы не веселились, а платили дань остроумию. Мы понимали, что в тюрьму засаживают не для веселья. Этот же Панкратов искренне веселился – черт знает отчего, черт знает чему. И у него был какой-то по-особому некультурный голос – именно голос, не слова, хоть и слова были не столь мужицкие, как мужиковствующие.

– Старпер, – сказал Максименко, мигнув на новенького, – Маразматик мутной воды. Из высланного кулачья. Давай, Сергей. Задуман знаменитый исторический деятель. Сейчас я возьму реванш за твою полудохлую лошадь.

Я второй месяц играл с Максименко в отгадывание исторических фигур. Он не мог мне

простить, что я надул его в последней игре. Он все расшифровал: и что задуманный деятель – политическая фигура, «не женщина», «не полководец», «не писатель», и что он жил в Риме при первых Цезарях, даже что он известен как сенатор. Но вот, что этот сенатор был конем императора Калигулы, из хулиганства введенным в сенат, этого Максименко, исчерпав свои пятнадцать вопросов, так и не дознался. Теперь он мстил мне за прославленного коня.

Панкратов раздевался у отведенной ему койки. От его поживших сапог воняло портянками и дегтем. Максименко скосил на Панкраторова глаза и сделал жест рукой: «Классика – сперва почешется под мышкой, потом заскребет в голове».

Панкратов вздохнул, почесал под мышками, поскреб в голове и бороде, опять вздохнул.

– А насчет еды – не прижимисто? На этапе, братва, больше святым духом... Баланда – горошинка за горошинкой гонится, никак не того...

– С едой худо, – промямлил Максименко, откидывая голову на подушку и уставя скучные глаза в неугасимую тюремную лампочку, – Суп рататуй, посередке – кость, по бокам – шерсть... А кто попросит добавки, тут же в карцер – трое суток холодного кипяточку... Давай, Сережка, давай – пятнадцать вопросов!

Панкратов стал укладываться. Он что-то шептал, может, посмеивался себе под нос, может, жаловался на тяготы. Он нас не интересовал. Он был не по плечу нашей элитной тюрьме.

– В пять часов принесли обед. Во внутренней тюрьме No 2 на Лубянке, где я сидел уже полгода, кормили по-столичному – два раза в сутки мясное. В тот день выдали по миске борща из крапивы, а на второе навалили пшенной каши с говяжьими шкварками. Мы поболтали ложками в борще и пожевали кашу. Ночные допросы и духота не развивали аппетита. На изредка выдававшиеся книги мы накидывались энергичней, чем на еду. Панкратов один умял больше, чем мы втроем. Он не ел, а объедался – жадно оглядывал миску, опрокидывал ложку в рот как рюмку – медленно, блаженно изнемогая от жратвы.

Но над кашей он вдруг замер. Ключковатая бородка, брови-кустарники и разноцветные – один темно-серый, другой салатно-зеленый – глазки согласно изобразили изумление, почти смятение.

– Братцы! – сказал он огорченно, – А ведь каша – моя!

– Твоя, – согласился Максименко, – Нам ее по ошибке выдали. Возьми и мою миску. Прости сердечно, что по незнанию проглотил две ложки. – Он строго поглядел на меня.

– Ты! «Вам не касается?» – как говорит наш корпусной надзиратель, которого ты мне вчера загадал, как историческую фигуру. Возвращай чужую кашу!

Я тоже протянул Панкратову миску. Он засмеялся.

– Вы не так меня поняли, ребята. Пшено мое. Наше казахстанское просо – единоличное...

Мы все же не думали, что он так глуп. Даже церемонный Лукьянич вздернул брови.

– Позвольте, а как вы узнали, что ваше пшено? Мало ли в стране засевают проса? В нашем крае под него занимали сто тысяч гектаров.

Панкратов хмуро поглядел на Лукьянича.

– Насчет гектаров не скажу, а свою миленькую везде узнаю. Мое – зернышко к зернышку! – Он вздохнул и отставил миску. – В горло не лезет!

Лукьянич попробовал его урезонить:

– Ваше просо, наверное, там и осталось – в Казахстане. Будут жалкий мешок зерна возить в Москву.

– Осталось, как же! – зло сказал Панкратов, – Все подчистую подмели товарищи уполномоченные. И за меня, и за папу римского взыскали налоги от Адама и до самого светопреставления. Так и объяснили – на чужом горбу в рай собираемся...

Максименко сокрушенно покачал головой.

– Ай, какие идеологически невыдержанные уполномоченные в Казахстане! В рай верят! И ведь, не исключено, партийные?

Панкратов огрызнулся. Пшенная каша, похоже, легла у него комом не в желудке, а на сердце. Он гаркнул так зычно, что дежурный приоткрыл глазок – не дерутся ли в камере? Драки, истерические ссоры, дикие вопли были явлениями если и не ординарными, то и не такими уж необычными – надзирателям часто приходилось вмешиваться. Наша камера пока была на хорошем счету, народ в ней подобрался смирный: никого еще не били на допросах, никто не

устраивал политических обструкций, не кидался на соседей, не пытался проломить дверь головой, не грозил в спорах доносами, не грыз в отчаянии свои руки. И хоть уже многие жители нашей камеры схватили положенный срок, ни один не удостоился расстрела – мы ценили свою судьбу. «У нас глубже политического насморка не болеют, – хладнокровно разъяснял Максименко новеньким. – Так, на нормальную десяточку лагерей, а чтобы вышка – ни-ни!»

Лукьянич, не терпевший шума, сухо посоветовал Панкратову:

– Вы не орите, пожалуйста! Поберегите голос на допросы, там он вам понадобится больше.

Три дня Панкратов втихомолку страдал, поедая пшеничную кашу, а на четвертые сутки к нам втолкнули нового арестованного.

Его именно втолкнули. Очевидно, он сопротивлялся, может, вырывался из рук охраны и ему надавали коленом «нижнего ускорения». Он влетел в камеру, остановился, оглянулся, тяжело дыша. Он не сказал нам обязательного «здравствуйте!», и мы его тоже не приветствовали.

– Ваша койка вот эта! – вежливо сказал корпусной, вошедший с тремя стрелками. – Держите себя тихо. Для буйных у нас карцер и смирительная рубашка.

Арестованный не шевельнулся. Он молчал и ожесточенно дышал. Он был высок, очень худ и, видимо, силен костистой жилистой силой. На нас он по-прежнему не глядел. Он был поражен шоком, его измученные, глубоко запавшие глаза горели – маленькие, серебряно посверкивающие точки на землистом, чем-то знакомом лице. Странно наблюдать крепких людей, ошеломленных до того, что не могут шевельнуться – ни сесть, ни встать, ни наклониться, ни поклониться. Они просто окостенело стоят – я уже видел раза два подобное состояние, оно не было мне внове, но все также потрясало чувство.

Но когда корпусной повернулся к двери, новенький пробудился. Он метнулся за корпусным, громко крикнул:

– Не смейте! Слышите, я не позволю! Немедленно соедините меня с товарищем Сталиным.

Корпусной по природе был из тех, что любят поболтать. Нам он читал нотации по любому поводу, а еще охотнее без повода. Временами он изъяснялся почти изысканно.

– К сожалению, у меня нет прямого провода в Кремль. И уже поздно – товарищ Сталин отдыхает.

Арестованный чуть не топал ногами.

– Есть, есть – я лучше знаю!.. Сталин у себя, это его обычное время работы.

Корпусной строго поглядел на нас – не ухмыляемся ли в кулачок – и внушительно разъяснил:

– Будет товарищ Сталин беседовать со всякой мразью! Вот вызовет следователь, все жалобы изложите ему.

Он еще решительней двинулся к двери. Арестованный схватил его за руку, потянул к себе.

– Нет, вы разберитесь, очень прошу!.. Ну хорошо, к товарищу Сталину нельзя, но к Молотову? Соедините меня с Вячеславом Михайловичем – на минутку, только на минутку! Я скажу, где я, одно это – где я!.. Чтобы знали и побеспокоились...

– Повторяю, не успокойтесь, надену смирительную рубашку!

Между корпусным и новым заключенным встали стрелки. Глухо лязгнул засов. Максименко сел ко мне на койку.

– Деятель! – шепнул он с уважением. – И будут же его лупить на допросах! Не признаешь, что за фигура? Вроде портреты его печатались.

Теперь я узнал арестованного. Это был видный работник Совнаркома. На торжественных приемах, важных совещаниях он выходил вместе с руководителями партии и государства, стоял около них. Нет, он не был крупной фигурой, крупную фигуру не впихнули бы в общую камеру, для них имелись одиночки, – он был лишь неизменно рядом с крупными фигурами. Его лицо встречалось на фотографиях среди других, более известных, оно примелькалось за много лет, казалось непременным элементом приемов и совещаний – вот он, сгорбившийся, растерянный, в расхристанной рубашке, с побезумевшими глазами – бывший «он», бывший деятель, еще вчера ответственный работник, член комитетов и комиссий, завтрашняя мишень для издевательств людей, возмнивших себя охранителями революции!..

Мне стало невыразимо тяжело. Я не знал, какие преступления совершил этот человек, совершил ли он их вообще. Я привык верить в таких людей – рабочих, испытавших царские плети

и ссылки, выстоявших против свирепого напора контрреволюции... Что бы он ни совершил, этот человек, он был одним из творцов нового государства – как же оно могло замахнуть на него кулаком следователя? Нет, в самом деле, какую же чудовищную вину он несет на себе, что так с ним поступили? Его ввергли к нам, не виновным ни словом, ни мыслью против советской власти, но то были мы – сопляки, мелочишка, с такими, как мы, и ошибки если не простительны, то возможны. Нас просто слишком много – почти полторастамиллионная масса. Но он, нет, он же другой, ошибки с ним немыслимы!

Я невесело сказал Максименко:

– Ладно – «лупить»... Не все тут сволочи – разберутся!

Максименко легко раздражался.

– Разберутся! По тюремному образцу тридцать седьмого года. Сперва снесут голову, потом допытаются – чья!

Во время нашего разговора пробудился Панкратов. Он спал так крепко, что не слышал, как в камеру ввели новенького. Панкратов с удивительной легкостью вмещал в себя по двадцати часов сна. Он спал ночью и днем, перед обедом и после обеда. На допрос его еще не вызывали, он этим пользовался вволю. И надо отдать ему справедливость – среди нас, измученных, дни в тоске слоняющихся по камере, ночи мятущихся в бредовой бессоннице, он казался словно человеком из иного мира. Он не трепетал и не терзался, ожидая грозного вызова к следователю. Еда и сон занимали его куда больше, чем обвинение. О своем деле он не говорил ничего – то ли и вправду не знал, то ли искусно скрывал свое знание.

Сейчас он зевал, сидя на койке и почесывая в бороде. Потом он поглядел на новенького и стал медленно преображаться. Пораженный, почти напуганный изменением всего его облика, я не мог оторвать от него глаз. Панкратов выпрямился, напрягся, весь подобрался, как-то по-особому хищно, помолодел. Потом он встал и тоже другой, легкой и быстрой походкой подошел к задумавшемуся новому арестанту.

– Виктор! – сказал он. – Вот так встреча, друг ситный!

Новенький дико уставился на Панкратова.

– Ты? Позволь... Как же это – я с тобой?

Панкратов закивал головой. Он теперь и говорил по-иному, без мужиковствующих интонаций и слов. У него, оказывается, был культурный голос – голос образованного человека.

– Я, конечно... А что странного, дорогой Виктор Семенович? Разве мы с тобой не сидели уже в одной камере больше года? История повторяется, дружок, как учит ваш духовный отец Гегель. Только он немного вроде ошибся – что-то повторение фарсом не отдает, каким он объявил все повторные драмы. Скорей хоть и вторичная, но еще одна трагедия.

Новенький кинулся к двери и забарабанил кулаком. Сперва раскрылся волчок, потом распахнулась фортка. Разозленный корпусной – он, похоже, и не отходил от нашей камеры – закричал злым шепотом:

– Это еще что? Обструкцию устраиваете?

– Переведите меня в другую камеру! – потребовал новенький. – Я не могу сидеть с этими людьми! Куда угодно, только отсюда!

– В санатории будете выбирать соседей, ясно! Немедленно возвращайтесь на свою койку.

– Нет, послушайте! – настаивал в страшном волнении арестованный. – Этот человек – член руководящего органа партии эсеров! Я не могу, не хочу с таким контрреволюционером!..

– Все вы здесь контрики! – ответил корпусной и захлопнул фортку.

Панкратов молчаливо смеялся и в восторге бил себя по коленям, прислушиваясь к спору у двери.

В этот вечер мы почти не разговаривали. Лукьянич лежал на своей койке не шевелясь, может, спал, вернее – задумался, он часто так задумывался на часы, без движений. Максименко пробовал вовлечь меня в военно-морскую игру на бумаге, но расставлять карандашные крестики мне было противно, я вдруг сызнава – это у меня с регулярностью повторялось каждые две-три недели – почувствовал с тяжкою остротой, что крест поставлен на мне самом, на всей моей жизни. Если таких людей, как этот Виктор Семенович, арестовывают, на что могу надеяться я? Я тоже лег, уперся глазами в стену, о чем-то бессмысленно мечтал, кому-то бессмысленно жаловался и плакал – одной душой, без слез. Напротив меня сидел Панкратов. Он посмеивался, почесывал

бороду, молчаливо ликовал, готовился к чему-то важному. Я догадывался, к чему он готовился.

А по камере метались Максименко и новенький. Максименко пробежал от двери к окну и обратно по двадцати километров в день. Он ходил часами, ходил как заведенный, все убыстряя шаг, почти бежал, он выражал себя ходьбой, как иные жалобой или криком. Совнаркомовский деятель оказался таким же неутомимым ходоком. Они согласно поворачивали у окна и у двери, стремительно расходились в центре камеры и вновь поворачивали. Они ходили заложив руки за спину, подняв вверх голову, так легче думалось – с задранной в потолок головой. Я неоднократно проверял это сам. И они ни разу не столкнулись. Когда я бродил по камере, я ударялся о Максименко чуть ли не при каждом повороте, а эти не глядя безошибочно расходились, словно двигались не по доскам, а по рельсам. Так продолжалось до вечернего отбоя.

Когда замигала лампочка, приказывая спать, Максименко подошел ко мне:

– Сегодня находился досыта. Эх, Сережка, не знаешь ты лучшего тюремного удовольствия – лететь из угла в угол, пока ноги не отказали.

– Зато я знаю другое, тоже тюремное, удовольствие – мечтать, пока голова не вспухнет.

– Воли не вымечтаешь, хоть набей мозоли на извилинах. Шут с тобой, мечтай.

Он захрапел сразу, как нырнул под одеяло. Лампочка вторично мигнула и засветилась вполсилы. Я повернулся на бок и закрыл глаза. Я дышал ровно и громко, чтоб думали, будто я сплю. Новенький сидел на койке. Панкратов, осторожно ступая босыми ногами, подошел и сел рядом. До меня донесся требовательный шепот:

– Виктор, потолковать надо... Виктор угрюмо отозвался:

– Нечего нам с тобой... Все перетолковано Спор наш решен историей – и решен не в твою пользу.

– Хе-хе-хе, вон ты какой. Колючий Виктор...

– Уж какой есть.

– Правильно, какой есть. Всегда ты был ершист Помню, на сибирском этапе, в девятьсот седьмом, задрался с жандармом – я вроде еще подсоблял тебе. А в Женеве? Бог ты мой, да тебя голосистей в колонии нашей не было! Колюч, колюч!..

– К чему ты заводишь этот разговор? Лубянка не Женева. И хоть мы сегодня с тобой сидим одинаково на арестантской койке, судьба наша различна. Пути наши случайно пересеклись, но им не сойтись. Давай иди к себе, а я буду спать.

– Хе-хе-хе, «спать»! Ни тебе, ни мне сегодня не спать. Значит, не сошлись пути, а пересеклись? Возвращается ветер на круги своя – было, кажись, такое изречение. Ну а ветер революции, он ой же как непостоянен – кругами, кругами, то мчится серым волком, то белою соколицей под облака, то смерчем по головам...

– На что ты намекаешь?

– А на что мне намекать? Я по-простому, Виктор, по-крестьянскому... Да, забыл представиться – я ведь теперь мужик, так сказать, профессиональный, а не идейный. В двадцать втором году кое-кто из вождей-то наших за границу подался – ну, мне показалось противно опять по Женевам... Вот и попробовал – не в народ, а самому чтоб народом... Было, было всякое – и мозоли томили, и земля не поддавалась, ничего, справился, даже портрет мой какой-то дурак в местной газете опубликовал – хозяйственный, мол, середнячок, поболее бы таких Представляешь, сколько ему, дураку, знающие люди потом хвоста крутили! Эх-хе-хе, дела, дела. Ну а в колхозы ваши, с партячейками и комсомолами, не пошел, тут уж все. Тоже простили, не выслали, а впрочем, куда дальше Казахстана высылать? Кстати, завтра у нас будет пшенная каша, пальчики оближешь. А почему? Моя! Из моего проса варена. И ведь надо же – в тюрьме меня моим же хлебом кормят. Новенький устало попросил:

– Уйди, Михаил. Завтра трудное объяснение. Надо подготовиться.

– Пустое – подготавливаться! У них все подготовлено, ничем ты не того... Постой, сколько же мы с тобой не виделись? В тринадцатом в Женеве, кажись, в последний раз схватывались, или, вру, в четырнадцатом? Четверть века почти, нет, как хочешь, а накопилось за этот срок всякого – надо, надо разобраться.

Я услышал злой смешок Виктора Семеновича.

– Что-то память твоя ослабела, Михаил. Виделись мы с тобой и позже.

– Позже? На процессе эсеров, что ли? Да ведь не было тебя в зале. Нарочно присматривался,

кто из знакомых. Не было тебя.

– А зачем мне таскаться по судам? Встречались мы с тобой не в залах, а в чистом поле – ты удирал, я нагонял. Забыл, как видно!

– А ты не ошибаешься, Виктор?

– Что мне ошибаться! Скажи, мил человек, не ты ли появился в Самаре в восемнадцатом, когда Муравьев поднял восстание против советской власти? Вижу, вижу, припоминаешь – и как глотку драли в разных Комучах, и как Муравьева вашего – тю-тю!..

– Вам, положим, тоже досталось – чуть не рухнула ваша советская власть от нашего удара на Волге!

– Не рухнула, однако. Так вот, припомни башкирскую степь и сельцо, из которого твой отряд выбили на рассвете.

– Господи, неужто ты это был, Виктор?

– Кто же еще? Я с ночи узнал, что за деятель командиром в вашем отряде. Ну, думаю, подведем итог женевским дискуссиям. Только ты лихо удрал. Одно это ты и мог всегда – вовремя удирать... Я метров на пятьдесят не догнал, по имени звал, две пули выпустил вдогонку – нет, умчался... Даже не обернулся.

– Скажешь тоже – обернуться! Смертушка моя гналась за плечами. И голоса твоего не слышал, пули, точно, просвистели, одна за другой... Помню, спиной трепетал вот-вот третья вопьется. Ты, выходит, тогда меня помиловал?

Не помиловал бы – патроны кончились, а шашкой не достал. Но узнал тебя сразу, хоть ты и обрядился во все французское или японское.

– Чешское. Чудесно, кстати, шьют чехи – добротное, ладно. Значит, это был ты! Ну хорошо, что не обернулся! Лицо твое увидеть в ту минуту – непременно бы с коня слететь... Между прочим, с того утреннего сражения я забросил политическую деятельность. Письмо послал Владимиру Ильичу, что гражданская резня мне не по душе.

– Письмо, если не ошибаюсь, ты написал не в восемнадцатом, а в двадцать втором.

– Не ошибаешься, не ошибаешься! Память у тебя, Виктор, энциклопедическая. Только напрасно ты меня ловишь на противоречиях. Письмо в двадцать втором, а отход от боевой работы – с восемнадцатого. Именно в ту страшную скачку по башкирской степи я и заклил себя – хватит в генералы лезть, а садись на землю и показывай, чего стоят твои трудовые руки. А потом уже не от страха, а совестью признал – вот она, моя судьбина: из праха восстал, прахом, обрядив его во хлеб, питался, во прах возвратишься. Две десятинки временные, на прокорм, два метра постоянных – для вечного упокоения...

– Сейчас тоже такой совестью живешь?

– Хе-хе-хе! Глаз твой, Виктор, – копь! Пронзаешь насквозь. Сами же не даете стать простым тружеником. В тюрьму вот приволокли – зачем? Я же ни ухом, ни рылом – нет, оторвали от плуга. Какой ты, мол, крестьянин-единоличник, ты политический деятель Хе-хе! Непременно ведь так скажут ваши следователи. Силком, можно сказать, обряжают в фигуру. Вот как оно поворачивается, Виктор ты мой дорогой.

Они помолчали. Я осторожно приоткрыл глаза. Оба сидели на кровати Виктора Семеновича, на разных ее концах, словно чтобы не касаться плечами, смутно глядя вперед себя. Мысль одного, прихотливая и витиеватая, нападала и отскакивала, кусала и язвила. Мысль другого, быстрая и прямая, падала лезвием на шею, ее было не отразить, от нее можно было спастись лишь отскакивая. Мне показалось даже, что и лица у них отвечают спору – один кривился, изгибал губы и брови, подхохатывал. подмигивал и подмаргивал, другой был строг и хмур, нетороплив и решителен. Вероятно, мне просто хотелось, чтоб это было так, в камере тусклый свет боролся, не перебивая его, с мраком, я примысливал лица, не различая их отчетливо.

Опять заговорил Панкратов:

– Отвлеклись мы с тобою, Виктор, приятными воспоминаниями – Сибирь, Женева, башкирские степи... Ну а ежели ближе к текущему моменту, как у вас на собраниях выражаются, так где ты в нашей сегодняшней встрече узрел случайность? Газетки ваши посмотреть – ор о врагах народа, яма бездонная разверзлась под ногами: не то что отдельных вождей с откоса, массаи рушатся в пропасть – аресты, аресты, аресты, процесс за процессом. Вот что ты до сей поры в совнаркоме своем благополучно заседал, это точно случайность. А здесь тебе –

естественно по сегодняшнему дню. Железная закономерность, Виктор!

– Говори, что хочешь. Тюрьма – единственное место, где можешь открыто высказывать свои контрреволюционные взгляды.

– Ну, насчет открыто – и здесь не очень... Закричи, к примеру, «Долой советскую власть! К стенке членов Политбюро!» – думаешь, усмехнутся и пройдут мимо? А карцера и одиночки на что? Взамен десятки вышка схлопочешь – вот она какая, тюремная свобода! Я, впрочем, к контрреволюции не призываю, я теперь мужик-единоличник, не политическая фигура. Да и зачем мне призывать ее? Она сама совершается – непреодолимый исторический процесс...

– Ты думаешь, что нов в своей гнусной клевете на нас? Еще недавно троцкисты истошно визжали насчет термидора. Не из их ли гнилого арсенала ты раздобыл свое отравленное оружие?

А чего мне брать у троцкистов? Они по себе, я по себе. Своя головешка на плечах, Виктор.

Так, значит, нет контрреволюции? А как же понимать тогда это: ты, подпольщик-революционер, видный советский деятель, сидишь рядом с эсером-единоличником на тюремной койке, и оба мы с тобой вызываемся теперь на допрос одинаково: «Кто на „П“, а разница если и есть, так лишь в том, что тебя собираются смертно бить, а меня, возможно, оформят на десяточку без рукоприкладства.

– Хорошо, я отвечу тебе. Личная моя судьба или твоя – дело маленькое, тут властвуют многие неконтролируемые случайности. Давай отвлечемся от наших личных судеб и посмотрим шире, вникнем в существо нашей жизни, которая определяется уже не случайностями, а необходимостью, железными историческими законами. В чем ты открыл контрреволюцию? Не в том ли, что рабочий класс освобожден от гнета хозяев, что на шее у крестьянина не сидит помещик? Или она в росте нашей промышленности, в гигантском размахе строительства, в тысячах первоклассных заводов, работающих без капиталистов, в сотнях городов, появившихся на картах страны, в новых дорогах, школах, больницах? Не в том ли она, что мы ликвидировали кулачество и создали совхозы и колхозы? Или, может, она в том, что Россия, неграмотная, полудикая, становится страной высокой культуры, что мы энергично ликвидируем это вековое проклятие – непроходимую грань между интеллигенцией и народом, что создали и умножаем свою новую, народную, единственную в мире интеллигенцию? Или, наконец, ты разглядел контрреволюцию в раскрепощении наших женщин, в том, что мы пробуждаем в народе творческие силы? Что ж ты молчишь, отвечай!

– Хе-хе-хе, Виктор, мастер, мастер! Вот уж верно, дар божий – Златоуст! Видно, служебная твоя высота ораторские таланты не погубила – загнул, нет, загнул! Представляю, как же ты гремел на митингах, как поднимал доверчивый люд, тащил речь крепче, чем цепью!

– Если мои речи помогали гнать таких, как ты, поганой метлой, значит, они сыграли свою благородную роль – больше мне ничего не надо!

– И это правильно, роль они сыграли, речи твои и товарищей. Вспоминаю: вы и мы! Кучка ленинских сектантов и огромная партия эсеров, чуть ли не весь народ, вот так начинали мы борьбу. Кто бы мог подумать тогда, что так умело вы овладеете умами, так жгуче воспламените души. Семнадцатый год – каждый день мы теряем сотни тысяч, каждый день вы приобретаете... Злые чары, опутавшие Россию, – так мне это, растерянному, тогда представлялось. И результат – нет нас больше в стране, одни вы безраздельные...

– Стало быть, признаешь историческое поражение свое и своей партии?

– Не торопись, Виктор, не торопись. Дело непростое, ох непростое... Читал я недавно девятый ленинский сборник, я ведь часто Владимира Ильича почитаю, и вижу: точно, торжествуют законы диалектики, над вами торжествуют, против вас, Виктор! Не в том сейчас дело, что вы в октябре победили, а в том, куда вы ныне катитесь.

– Хватит! В одном ты прав: даже в тюрьме нельзя разрешать антисоветской пропаганды.

– Будешь доносить на меня?

– А что на тебя доносить? Был ты враг советской власти, злобный, ограниченный, таким и остался.

– Упрощаешь, Виктор, всегда была в тебе эта черточка – упрощенчество... Что – враг, и что – друг? Одно слово, другое слово – разве двумя словами душу выскажешь? Сложные проблемы надо рассматривать со всех сторон и на всю глубину – именно этого требовал от вас Владимир Ильич и именно это вы чаще всего забываете.

– Поражаюсь: Панкратов в ученики к Владимиру Ильичу записывается! Не ты ли злобно его поносил?

– Было, все было. Шла борьба – а на войне по-военному. С той поры четверть века – много, много передумано... Так будешь слушать? Пойми, чудак, я не злопыхательствовать надумал, ведь кровью в собственной душе... Или, по-твоему, я не мучаюсь? Так уж потерял на единоличном своем участке интеллект, что страдания мысли вовсе стали чужды? Повторяю: не злоязвления ради, а исповедь моя!

– Врагу исповедуешься?

– А почему исповедоваться лишь друзьям? Друзья с охотой простят прегрешения, честный враг поблажки не даст. Мне истины нужно, а не утешения.

– Это поиски истины привели тебя в тюрьму?

– А что тебя привело в нее? Не надо, Виктор! Разговаривай так вон с тем комсомольским бюрократом, который дальше своего маленького начальственного стола ничего не видит, – он ткнул пальцем на Лукьянича, или с длинноволосым соплячком, что на все упирает глуповато-удивленные глаза (я зажмурился, но знал, что палец уставлен на меня), а со мной – негоже... Представлять меня дурачком – себя не уважать. Нелегко, нелегко вам далась победа над нами... – Ладно, говори. Ночь долгая...

Они опять помолчали. Я приоткрыл глаза – они сидели все в той же позе. Я знал, что им не до меня, но по-прежнему боялся пошевелиться. Ко мне донесся глуховатый, напряженный голос Панкратова:

– Тебе не понравилось, что поминаю Владимира Ильича. А что поделаешь – должен танцевать от этой печки. Все наши маленькие личные судьбы и большие мировые дороги истекают из этого человека, как из некоего фокуса нашей эпохи.

– Не запоздало ли твое признание, Михаил? Роль Владимира Ильича разъяснена и без тебя.

– А со мною – крепче... Я ведь враг ему был, не забывай этого. Признание врага не начинается, а завершает славу. Так вот, дело было перед войной, а той же Женеве. Помню, на каком-то собрании наши и ваши спорили об обществе будущего – социализме. Ну, в самых общих чертах, конечно, так сказать, одни основные законы. А я, помню, выступил так ехидненько...

– Ехидничать ты умеешь, верно! И то собрание помню...

– Вот-вот, о нашей тогдашней стычке... Итак, я полез с возражениями: «Вот вы, большевики, утверждаете насчет диктатуры пролетариата, что рабочий класс берет власть над другими классами и слоями. Но ведь для осуществления диктатуры понадобится свой аппаратик принуждения – политическая полиция, тюрьмы, ссылки и прочее знакомое. А поскольку у вас государство не классово-гармонично, а классово-враждебно, то, стало, и аппаратик этот будет огромный и мощный – короче, самодовлеющая организация, если по философии... Так не боитесь ли вы, дорогие большевики, что созданный вами новенький механизм принуждения разрастется и понемножку подчинит себе всю общественную жизнь? Не станет ли будущее ваше государство тем гоббсовским Левиафаном, что поглощает всех в себе? Не государство для человека, как форма отправления его социальных потребностей, а человек для государства – порция жратвы ненасытному его горлу!»

– Я сам тогда отвечал тебе.

– Правильно, ты! Избил меня, как мальчишку! Мол, вы, Панкратов, обыватель по складу ума и горизонту, весь мир превращаете в обывательский клоповничек. И доказал, что будущее государство ваше обопрется на массу народа, а не на отобранных единичек. Каждый, мол, рабочий контролирует через свои местные организации все общественное управление – нет, стало быть, почвы для гипертрофирования аппарата насилия. Но знаешь, дорогой ты мой враг Виктор, все эти высокие соображения меньше меня щипанули за сердце, чем то, что ты обругал меня обывателем и мещанином.

– Где же здесь брань? Точная политическая характеристика партии эсеров и тебя, видного ее члена. Вы да меньшевики – обыватели в революции.

– Ладно, история разберется, кто мы такие, ты тут не судья. Я говорю сейчас лично о тебе. Много, много раз за эти четверть века возвращался к тому женеvскому спору. И на иное взглянул по-иному. Не на тебя, а на ваших вождей. Да, Владимир Ильич, Владимир Ильич! Вот она, коренная наша ошибка, глубочайшая моя ошибка, Владимир Ильич! Да ведь мы, эсеры, только и

делали, что искали героя. Где-то там, в бездне низин, изнемогают безликие массы, жаждущие руководителя и вождя. Это же была проблема из проблем, суть возвещенной нами революцией – открыть героя, высочайшую критическую личность, мессию бунта, и хлынуть за ним непреодолимым народным потоком. Мы же заранее объявляли культ вождя – сверхчеловека. Как же случилось, что герой этот, гений и вождь, появился не у нас, молившихся о его приходе, а у вас, марксистов, чуть ли не отрицавших начисто личность в истории, мыслящих массами, а не единицами человеческими? Как же мы проглядели, не оценили своевременно такое гигантское явление, как Ленин. Ведь нам, раньше всего нам нужно было провидеть подобных людей? И как же я, старый ныне дурак, а тогда молодой фанфарон, не уразумел, что вот рядом со мною, на одной со мной земле, шагает невысокого роста исполин человечества и этот исполин презрительно на таких, как я, морщится: «Обыватели вы, ординарнейшие представители псевдореволюционного мещанства». Вы научно меня классифицировали, а я обижался – ругаются... Умница ты, Виктор, сразу провозгласил, не брань, мол, а политическая характеристика, да ведь я тогда не понимал, что это характеристика, а не ругань, никак не мог понять!

– Сколько же тебе лет понадобилось, чтобы уразуметь такие простые вещи?

– Сколько лет, сколько лет! Жизнь старую бросил, начал заново жить – вот сколько лет! Ой, непросто, непросто было оно, простое мое крестьянское бытие! Сколько написано о томлении влюбленных душ, муках голода, ужасе смерти, проклятии непосильного труда. А есть еще и трагедия мысли – змея, терзающая мозг, парализующая руки.

– Иначе говоря, ты разоружился?

– Словечко-то какое – разоружился!.. Не разоружился, а распался, изошел дымом. Трагедия, тебе говорю, не демобилизация – сдай наган, скинь гимнастерку... Я не марксист, во все ваши выдуманные социальные законы не верю, а в человека верю. Но умер он, ваш Владимир Ильич, не стало исполина-сверхчеловека, какого мы для себя искали, но не нашли – кончилась героическая эпоха... Читаю его сейчас том за томом – господи, мысли же, глубина!.. И вроде уже и не обидно за себя. Кто был я? Крохотулька человеческая, из серенькой массы...

– Не приписывай нам своего эсеровского деления людей на сверхчеловеков и тупую массу. Большевикам оно чуждо.

– Поэтому нового-то своего обряжаете чуть ли не в божество: и гений человечества, и отец родной, и спасибо за счастливую жизнь, и вождь народов всего мира... Нет, брат Виктор, если у кого и есть сейчас эсеровское понимание личности, так у вас. Взяли, взяли вы наш старый культ вождя, да в такую руководительскую религию раздули – даже мы руками разводим. А почему? Вот тут и подходит суть. Дело-то хотите продолжать героическое. Без героя, вождя по-вашему, вроде и неудобно, не пойдет дело-то! Ну и придумали замену. Не взяли гением, возьмем должностью. Не одолел умом, сокрушим кулаком. Зачем переубеждать? Можно отлупить! Посадим за решетку, отправим в ссылку – дальше поедешь, тише будешь. Короче, не спорить с противником, а заткнуть противнику рот – тоже форма победы. И условия наипрекраснейшие; великолепный аппарат, это самое ваше ГПУ, придуманное Владимиром Ильичем для классового врага, беляков, ну и таких, как я, раз уж вы меня в классовые враги заприходовали. Ну-с, дорогой мой Виктор, коли пошла такая пьянка, так режь последний огурец – поворачиваем это святое учреждение от классового врага на любого несогласного – дешево и сердито. Подписал бумажку – готово, в любом споре твоя наверху. А чтоб чего не вышло по части партийного и рабочего контроля, отделим аппаратик от масс, сделаем бесконтрольным – пустим, философски изъясняясь, в самодовлеющее существование. И пошел аппаратик самодовлеивать – косит направо и налево. И пошла, Виктор ты мой, дикая эпидемия массового производства врагов. И врагами объявлены все хоть немного самостоятельные умы. Левиафан жрет – все оттенки стерты в одном грозном шаблоне «враг народа», а в результате эсер и большевик, непримиримые идейные противники, попадают в одну тюремную камеру и мирно беседуют на одной койке, ибо они теперь нечто одинаковое: «Кто на „П“?» И получают, вероятно, одну и ту же десятку, если тебя не расстреляют, ты ведь ходил в близких, значит, тебя и судить строже... Нет, дружок, нет, не пересеклись случайно наши жизненные дороги, а неизбежно сошлись в одну, ибо гипертрофированное ваше государство пожирает в ярости собственные свои внутренности. Самоистребление – вот ваш сегодняшний путь, итог всех ваших побед! Виктор Семенович холодно сказал:

– Что ты еще добавишь к своей подлой клевете? Панкратов поднялся:

– Клевета, говоришь? В чем же клевета? В том, что чуть ли не весь народ объявили «врагом народа»? Или сам ты не пример самоистребления? Может, ты перестал быть большевиком и превратился в цепного пса Гитлеров и Чемберленов? Ты случайно не продавал Сибири японцам, а Украины немцам? Не слыхал, почему на рынке идет Кавказ и сколько марок платят за Крым?

У Виктора Семеновича было искажено лицо. Он держал руку на груди, вероятно, у него схватило сердце. Но говорил он по-прежнему спокойно – только большая ненависть дает силы быть таким спокойным:

– Ну что же, кажется, ты полностью высказался – теперь моя очередь. Садись, садись, нечего маячить перед глазами! Так вот – находимся мы с тобой, точно, в одной камере, от этого никуда не денешься.

– Хотелось бы деться – охрана не пустит!

– И это верно – охраняют нас бдительно. Но почему? Как случилось, что оба мы ввергнуты в тюрьму – я правительством, за которое сражался, ты – правительством, против которого боролся. Я – друзьями, ты – врагами...

– Что до меня, то более или менее ясно.

– Спасибо, что хоть о себе признаешь ясность. Значит, все дело во мне? Давай и со мной разберемся. И тут я тебе скажу такое, что обрадуешься, хоть и преждевременно. Я не знаю, почему меня арестовали. Больше того, я не понимаю, почему арестовывают таких, как я, почему все это приняло массовый характер, – хочу понять, бьюсь над этой мыслью, догадываюсь, но полностью, нет, еще не знаю!

– А чего проще? Самоистребление!

– Слыхал: Левиафан пожирает свои внутренности. Неумный, ограниченный ты человек! Разве это объяснение? Я спрошу тебя: почему дошло до самоистребления? Где причина такого чудовищного конца, о котором ты каркаешь? Ничего на это ты не ответишь, ибо не может быть ответа на то, чего и в помине не существует. В тебе просто ожили старые твои чаяния. Все эти годы ты об одном мечтал – чтобы мы рухнули.

– Но ты не отрицаешь, сам-то не отрицаешь же – странное и непонятное творится? Так ведь?

– Да. Так. Странное и непонятное. Пока еще странное, пока еще непонятное, завтра, может быть, все объяснится.

– Короче, самоистребление отрицаешь?

– А ты думал, признаю? Наивен ты, однако! Скажу тебе по-иному. В стране происходит что-то болезненное, какая-то хворь охватила могучий, растущий организм нашего молодого общества. Я еще не уверен, не ваша ли это работа, многочисленных врагов наших внутри и за границей? Зато я полностью уверен в другом – нет, не сломит нас временная хворь, перемучимся, воспрянем – будем еще здоровее прошлого.

– Хе-хе, и ты, это самое, – переболеешь и воспрянешь?..

– Стоит ли говорить обо мне? Завтра меня вызовут, узнаю, в чем меня обвиняют, кто меня оклеветал. Надеюсь, разберутся.

– Разберутся, после того как не разобрались с сотнями твоих товарищей, таких же большевиков? Ты, кажется, искренне веришь в такую глупость?

– Да, верю! Я верю в аппарат НКВД, я сам создавал его вместе с другими коммунистами, создавал для беспощадного истребления контрреволюции. Я допускаю, что отдельные ошибки... Но в целом, говорю тебе, в целом он идейный и крепкий!

– Хе-хе-хе, идейность – эсера в одну камеру с большевиком. «Все вы здесь контрики!» – ответ корпусного...

– Михаил, оставим этот спор – он плохо кончится... Панкратов снова встал. Он махал в воздухе кулаком и кричал испуганным, злым шепотом:

– Плохо, плохо – на хорошее не надеюсь... Но знаешь, для кого оно плохо кончится? Для вас, для ваших нынешних мудрых и великих, гениальных и родных – в первую голову для них, да, да! Близятся, близятся страшные годы. Все разумное, все талантливое уничтожается – лучшие головы летят по ветру. Где ваши испытанные вожди и руководители? Где ваши прославленные военачальники? Куда вы подевали знаменитых инженеров, хозяйственников и агрономов? Народ истекает кровью, вот ваша работа. А история не дремлет – скоро, скоро на обессиленную вами

Россию грянет Гитлер с Чемберленами и Даладьё. Что будет противопоставить нашествию врага? Какие силы схватятся с ним? И тогда наступит последний акт трагедии – гибель великих и мудрых, полный распад вашего государства, смерть и кости кругом, смерть и кости...

Он вдруг резко оборвал речь, повернулся и пошел к койке, упал на нее. Несколько времени я слышал лишь тишину – наполненную звоном крови, нестерпимо напряженную. Потом зазвучал задыхающийся, горячий голос Виктора Семеновича:

– Слушай ты, пророк всеобщей гибели! Ты слишком уж большие выводы произвел из того мелкого, в сущности, факта, что оба мы, идейные противники, попали в одну камеру. Нет, тысячу раз нет, дороги наши не сошлись и судьбы не одинаковы! Возможно, очень возможно – и я, и ты погибнем в тюрьме. Ну и что из того? Четверть века назад я тебя определил как мещанина. Ты был обывателем, обывателем остался. Из собственной неудачи ты заключаешь гибель народа. Нет, брат, нет – народ в миллионы раз шире нас с тобой. Враг ринется – он встретит железную армию, новых, еще талантливей, военачальников, умных инженеров, мужественных коммунистов. Слышишь ты, не всю жизнь мы унесем с собой в могилу, лишь крохотную ее частицу. Можешь ты это понять? Верю, слышишь, верю!

Я лежал не шевелясь. Я боялся, что они услышат, с каким тяжким гулом бьется мое сердце.

Я не знаю, сколько было времени, вероятно, около четырех, небо в щели над щитком у окна еще чернело, когда загремели засовы. В камеру вошло человек пять – стрелки, корпусной с бумагой в руке. Мы вскочили с коек и встали возле них, как требовали тюремные правила.

– Кто на «П»? – спросил корпусной.

– Панкратов, – первым сказал эсер.

– Нет, – сказал корпусной, сверяясь с бумагой. – Кто еще?

– Прокофьев, – проговорил новый арестант.

– Скажите инициалы полностью.

– Виктор Семенович.

– Следуйте за мной. Вещей не брать. Корпусной вышел первый, за ним Виктор Семенович, стрелки замыкали шествие.

– На допрос, – хмуро сказал Максименко, укладываясь на койку. – Допрос на рассвете-штука!.. Давайте спать, ребятки, пока нас не тревожат.

Он с Лукьяничем скоро захрапели. Панкратов тяжело ворочался на своей койке. Я тоже не мог заснуть. Где-то неподалеку, в комнате, выходящей окнами на московскую площадь, сейчас допрашивают старого большевика. Чего добиваются от него? Чего вообще добиваются? Где логика в том кровавом и мерзком действии, что разыгрывается в стране? Политика это или патология? Может, чтобы понять дух нашей эпохи, одних социальных законов, которые я с таким усердием штудировал, недостаточно и нужно привлечь врачей-психиатров? Кто в этом во всем виноват? И если виновные имеются, то нет ли среди них и меня? Я ведь тоже, по молодости, по любви к коммунизму, орал всюду: «Ура мудрому и родному!» Разве не смешал я великую идею с отдельным человеком, разве не обожествил идею в человеке, не поставил человека выше идеи? А он – человек этот – был недостойн идеи, которую мы слили с его именем – вот она, трагедия нашего времени! Там сейчас допрашивают Прокофьева. Я тоже виноват, что его допрашивают, – виноват, что его арестовали, виноват, что от него вымогают бессмысленные, лишь подлинным врагам, быть может, нужные поклепы на себя! Чем же мне искупить свою вину, чем?

Я также думал о том, что мне нету выхода. И мне, и Прокофьеву, и еще многим тысячам закрыты жизненные дороги.

И еще я думал о том, что, кажется, нашел объяснение мучившему меня удивительному явлению. Я досиживал шестой месяц на Лубянке, в самой грозной, в самой элитной тюрьме. Она, таково было ее назначение, таково, было о ней всеобщее мнение, предназначалась лишь для особо крупных, особо опасных государственных преступников, пребывание которых на воле подрывало сами устои спокойного государственного существования. И меня неделю за неделей, вот уже полгода допрашивал важный следователь в военной форме, с двумя ромбами в петлицах гимнастерки – генерал, по старому счету... И то, что он генерал, и то, что он так часто вызывает меня на допросы и так настойчиво допытывается от меня признаний в великих преступлениях, уже одно – свидетельство того, что я воистину безмерно опасен для основ государственного строя.

А он допытывается, верно ли, что я говорил об одном члене Политбюро, будто его лицо, после того как он сбрил бородку, стало одутловатым и некрасивым и мне теперь оно не нравится; и не высказывал ли я такого же клеветнического мнения о других членах правительства? И не таю ли я в своей голове еще более оскорбительных мыслей о Нем, о великом вожде нашей страны? А когда я отчаянно защищался от несправедливых обвинений и твердил, что не понимаю, почему в такой важной тюрьме занимаются такими пустяками – как, кто, о чем говорил, – мой следователь в генеральской форме внушительно разяснял, что ныне не существует политических пустяков, ибо страна достигла такого уровня развития и благоденствия, в ней так неоспоримо победил социализм, самый справедливый государственный строй, что только у наших заядлых врагов могут сохраняться нехорошие мысли. И потому каждое оскорбительное слово о нашем строе, тем более – о наших вождях, доказывает неистребленную внутреннюю враждебность и заслуживает самой суровой кары. Враги, чувствуя свою кончину, свирепеют, и усмирение их злобы, какой бы она внешне ни казалась крохотной, должно быть решительным и безжалостным.

– Наше общество стало бесклассовым, – сказал я однажды. – У нас уже нет классовых врагов и классовая злоба усмирена. Против кого вы боретесь?

– Правильно, бесклассовое, – согласился он. – Все одинаковы перед законом. Раньше красноармеец украл булку – ему порицание, нэпман или кулак украл булку – им два месяца заключения, потому что они – разных классов. Одни классовые враги, другие – классовые друзья. А сейчас все одинаковые: кто ни укради, каждому – три года. Ибо вредить бесклассовому обществу в тысячу раз преступней, чем преждему, где царствовал антагонизм.

Такие рассуждения меня не убеждали. Я возмущался и за себя, и за знаменитую тюрьму, где расследуют не важные преступления, а пустяки. И десятки арестованных, появлявшихся в нашей камере и вскоре исчезавших из нее, убеждали, что здесь, как на дурном театре, совершается какой-то бездарный фарс. Кроме одного проходимца, признававшегося, что он пытался шпионить в пользу любой державы, которая согласилась бы его услуги оплатить, но попавшегося на первой же попытке шпионажа, ни один не имел за собой настоящей – в моем понимании – вины. Все происходящее в нашей камере казалось мне несерьезным – во всяком случае, не отвечающим тому назначению, которым нам неизвестно почему и неизвестно зачем грозили следователи. Чудовищность происходящего была в безмерном, бессмысленном раздувании ничтожной мухи подозрений либо обмолвок в чудовищного слона государственных преступлений.

И только сегодня, только в споре двух старых противников, меня опалил жар подлинной, а не выдуманной трагедии. Вот они, два классовых противника, сидели на одной койке – нет классов в бесклассовом обществе, оба уравнены одной виной, противоестественно соединившей реальность и выдумку, действие и клевету. Я не мог этого понять, не мог этого принять, моя душа разрывалась от скорби.

Снова загрели засовы и в камере появился корпусной со стрелками. Двое стрелков вели под руки Прокофьева – бледного, в разорванной одежде. Мы стояли в молчании около своих коек. Стрелки посадили Прокофьева на матрац, он обессилено завалился головой на подушку. Корпусной отдал короткое приказание, и охрана ушла вместе с ним. Засовы зарычали и завизжали. Мы в оцепенении продолжали стоять у коек.

Я перевел глаза с тяжело дышащего Прокофьева на Панкраторова. И тут я увидел, как снова переменился Панкратов. Перед нами стоял не мужиковствующий, играющий – в дурачка крепыш, не разозленный яростный спорщик, каким я узнал его этой ночью, а старик с остекленевшими глазами, поседевшей бородой. Он шел к Прокофьеву как слепой, ощупывающий воздух.

Он наклонился над койкой Прокофьева, повернул к себе бледное, в кровоподтеках лицо. Прокофьев не открывал глаз, дышал с хрипом. Панкратов поднял его руку, отпустил ее – рука упала как неживая.

– Крепкий, крепкий аппарат! – не то натужно прохрипел, не то прокашлял Панкратов. Он вдруг с ненавистью посмотрел на нас и снова обернулся к Прокофьеву: – Ой, Виктор, крепкий!

Я повалился на матрац, в исступлении кусал подушку, трясясь всем телом.

## Слово есть дело

Кто-то нудно плакал надо мной молодым жалким голоском. Плач начался вчера вечером –

наверно, сразу как привезли из суда – и продолжался уже ровно двадцать часов; было по-человечески удивительно, откуда берется столько влаги на слезы. Чужое рыдание выводило меня из себя. Я метался по узкой камерке в Пугачевской башенке Бутырской тюрьмы и, задирая лицо в потолок, ругался, кричал и требовал перестать – нельзя же так по-бабьему распускаться! И мне нелегко, и я после суда, тоже выслушал чудовищно несправедливый приговор, ложь на лжи, а не суд, но ведь держусь же... Перестань, будь ты проклят, своим плачем ты сводишь с ума! Но парень, рыдавший в камере надо мной, не слышал ни моих просьб, ни проклятий. Он слышал только свое рыдание, он выплакивал свое горе – чужое горе, которое он усиливал своими слезами, до него не доходило, как громко я ни старался орать, что и у меня тоже несчастье – десять лет объявленного мне ни за что ни про что тюремного заключения.

– Лучше уж умереть, чем так надрывать горло, – сказал я себе в отчаянии. – И точно, почему бы не умереть, жизни больше не будет! Десять лет мне не вынести! А и вынес бы, так незачем.

Эта мысль – покончить расчеты с жизнью – явилась мне уже в тот момент, когда я закричал на своих судей: «Вы лжецы, ваш приговор – ложь, ложь, ложь!» – и рванулся к ним, а два бойца охраны завернули мне руки за спину и придавили голову к коленям, а потом вытащили из судейской камеры в коридор и еще долго волокли по бесконечному лефортовскому коридору, пока не бросили в одиночку – тут можешь разорваться, сколько хватит дурного голоса! Но там я уже не орал и не проклинал судей, а метался на койке и в бешенстве кусал подушку, чтобы дать какой-то выход душившему меня отчаянию. Вот тогда и появилась мысль, а не прервать ли так неудачно скривившуюся жизнь? Натянуть нос злобной судьбе – и полный расчет! Но в камере все было привинчено и туго закреплено – никакого способа самоумертвиться, да и времени не стало – вызвали, посадили в машину багровой окраски, грузовую, закрытую, с камуфлирующей – чтобы не смущать москвичей на улицах – надписью на боку «Мясо» и воротили в Бутырку, но не в старую камеру, а сюда, в одну из комнаток знаменитой Пугачевской башни – в ней, по слухам, сидел сам Пугачев. И под непрерывный плач верхнего соседа я с ожесточенной деловитостью стал выяснять в новой камере, годится ли она для окончательного решения жизненной проблемы. Камера была маленькая, на три койки, с высоким потолком, с окошком, защищенным наружным щитком-«намордником». Я подпрыгнул на койке, уцепился за решетку окна, прутья держали хорошо – каждый вполне годился послужить за классический «висельный крюк». Но веревки не было, простыни тоже отсутствовали, а из трухлявых одеял надежного жгута не скрутить, это понималось сразу. И тут я увидел длинное вафельное полотенце, брошенное на отведенную мне койку. Ощупав полотенце по всей длине я понял, что судьба наконец улыбнулась мне, правда, издевательски-злобной ухмылкой. Если ночью разорвать полотенце надвое, то из двух половинок можно скрутить прочный и длинный жгут, хватит завязать двойным узлом на решетке и смастерить просторную петлю, чтобы в нее пролезла голова, Я проверил, как полотенце обхватывает шею, оно обхватывало с избытком, на планируемую петлю можно было положиться. Теперь оставалось подвести мысленно итоги существования. Я забегал по камере, торопливо вызванивая в мозгу, под аккомпанемент чужого рыдания с потолка, нечто вроде поэтического завещания – прощальные стихи. Минут через десять я уже вслух перебивал мрачным и решительным пятистопным ямбом чужое рыдание:

Как бабочка на пламенные свечи,  
Летит неудержимо и нелепо  
И, обгорев, почти без крыл, навстречу  
Огню последнему вновь рвется слепо, –  
Так я, измученный и непокорный,  
Раздавленный судей-лжецов делами,  
Кружусь в бесчувствии вокруг мысли черной,  
Бросаясь в эту мысль как в пламя!

Закончив стих, я присел на койку. Меня затуманила безмерная усталость. Покончить с жизнью было, конечно, неплохо. Но ужасало, что для этого нужны энергичные действия – рвать на половинки крепкое полотенце, крутить жгут, лезть к оконной решетке, прилаживать к шее петлю... Смерть перестала привлекать меня. Я с ней как бы рассчитался прощальными стихами.

Смертно тянуло спать Я закрыл глаза и повалился головой на подушку.

Меня пробудил скрип двери. В камеру вошел мужчина с вещевым мешком в руках. Он остановился посередине камеры и хмуро уставился на меня. Он был среднего роста, средних лет, очень худ, очень темнокож лицом, с очень – до болезненного впечатления – запавшими глазами. Цвета их в яме глазниц ни тогда, ни после я разглядеть не мог, они, вероятно, не отличались цветом от кожи лица. Я глухо спросил: Вы кто?

– Дебрев, – ответил он и поправился: – Это фамилия – Дебрев. А вообще я арестант, как и вы, и осужден по той же статье, как ваша, и, не сомневаюсь, на тот же срок.

Он кинул мешок с вещами на свободную койку и присел. Я сказал:

– Меня осудили на десять лет тюрьмы, с последующим поражением в правах на пять лет. Осудили неправильно, несправедливо, весь приговор – клевета! Я так и крикнул моим судьям, что они лжецы.

– А они что?

– Скрылись в соседней комнате, а меня скрутила охрана.

– Естественно. В ярости еще могли кинуться на них, случаи бывали. Какому судье охота попадать под кулак осужденного? Правда, вы не из геркулесов, но все же... Кто вас судил?

– Главный судья – Никитченко, заседатели Горячих и Дмитриев.

– Серьезный народ. Военная коллегия Верховного суда СССР. Статья 58, пункты 8 через 17, да еще 10 и 11. Верно?

– Верно. А почему вы меня спрашиваете о статьях?

– О чем же нам еще разговаривать в камере? Закона от 1 декабря 1934 года не применили? Впрочем, раз вы тут, значит, нет.

В обвинительном заключении был закон от 1 декабря, а в приговоре не упоминалось.

– Пощадили вас. По молодости, очевидно. Вам сколько?

Он вдруг впал в раздражение:

– Не стройте из себя младенца! В двадцать шесть лет пора покончить с детской наивностью! Закон от первого декабря тридцать четвертого года принят после убийства Кирова и предусматривает только одно наказание – смертную казнь. Если бы он оставался в вашем приговоре, ваш прах уже везли бы в крематорий.

Землистое лицо Дебрева сердито дергалось. Мне показалось, что он беспричинно возненавидел меня. Я сказал сколько мог спокойней:

– Вы, очевидно, хорошо разбираетесь в уголовном кодексе?

– И не только в уголовном, – буркнул он. – Я по старой профессии – юрист. Правда, уже давно на партработе... А с вашими судьями когда-то приятельствовал. Что, впрочем, мне не помогло, скорей – наоборот.

Мы с минуту помолчали. Заключение наверху рыдал на той же надрывной ноте. Я попросил:

– Если вы юрист, то расскажите, что означают мои статьи. Мне объяснили, но не уверен, что правильно понял.

Он оживился:

– Надо понимать, надо! Теперь эти пункты пятьдесят восьмой статьи будут сопровождать вас всю дальнейшую жизнь, станут важнейшей вехой вашей биографии. Итак, пункт восьмой – террор. Но добавленный к нему пункт семнадцатый устанавливает, что лично вы ни пистолета, ни ножа, ни тем более бомбы в руки не брали, а только сочувствовали террористам, были, стало быть, их идейным соучастником, когда они готовили покушения на наших испытанных вождей...

– Не было этого! – крикнул я. – Никогда не было.

– Надо было судей убеждать в своей непричастности к террору, а не меня. Продолжаю. Пункт десятый гласит, что вы болтун и высказывали антисоветские мнения другим людям, а о наличии таких ваших слушателей категорически свидетельствует пункт одиннадцатый, утверждающий, что организация трепачей в количестве не менее двух человек вела рискованные разговоры, в смысле – занималась антисоветской агитацией. И один из этих трепачей были вы. Теперь ясно? Хороший это пункт – десятый в пятьдесят восьмой статье. За любое сомнительное словечко в любой болтовне – тюрьма, вот его смысл. А для крепости, чтоб не выбрались скоро на волю, еще пункт восьмой навесили – тяжкая гиря на шею.

– Вы издеваетесь надо мной, Дебрев.

– Не издеваюсь, а разъясняю реальное положение, – холодно отпарировал он. – Уж доложил вам, судьи ваши – народ серьезный и ответственный, знаю это по личному знакомству с ними. Уж если припечатают, так надолго... Не всем сносить такую печать... Вы, правда, по-современному, почти юноша. Хватит жизни и после заработанной десятки...

Я в ярости заметался по камере.

– Никакой десятки, слышите, Дебрев! Завтра напишу заявление и потребую немедленного пересмотра приговора. Меня освободят, вот увидите!

Он невесело покачал головой.

– Юноша, утешаете себя несбыточными мечтаниями. Заявление от вас примут только в том случае, если вы докажете, что вовсе не тот человек, которого судили, и фамилия ваша другая, и потому не хотите принимать незаслуженно чужой кары. Лишь в этом единственном случае вам дадут бумагу на заявление.

Я воротился на свою койку и, подавленный, некоторое время молчал. Дебрев показал рукой на потолок.

– И давно он?

– Когда меня привели сюда, он уже надрывался Почти сутки без перерыва.

Дебрев вслух размышлял:

– По голосу – молод. Ваших лет. Может, года на два-три постарше. Хорошо, что слезами дал выход душе, молчаливая ярость может подтолкнуть на неразумные поступки.

– Неразумные? – переспросил я горько. – Вообще имеется разум во всем, что совершается в тюрьмах? Безумие, массовое безумие, всеобщее политическое умопомешательство!..

– А вот этого говорить не надо. Не думайте, что у власти нет кары похуже десяти лет заключения. Говорю еще раз – вас пощадили, сняв закон от 1 декабря, а будете твердить насчет политического умопомешательства... В общем, держите себя в руках. И с незнакомыми не откровенничайте, а я ведь вам незнаком. Мы еще помолчали. Парень наверху сделал передых в плаче. Но, помолчав минут пять, снова ударился в слезы. Дебрев с тоской сказал:

– Господи, до чего тошно! Хоть бы скорей на этап. Юноша, расскажите о себе – кто, что, откуда и почему?

– Почему бы вам не рассказать о своей жизни? Вы больше прожили, ваша биография интересней.

Он хмуро усмехнулся:

– Сложней, а не интересней. Запутанная, неровная, полная неожиданностей... Столько неоправданных поступков, столько неразумного. В общем, типичная жизнь людей моего круга и моего поколения... Вам не все понять, у вас иная жизненная дорога – и проще, и справедливей. Говорите, я слушаю.

Я не был уверен, что моя жизнь проще чьей-либо иной, а недостаток справедливости ощущал в ней и до того, как очутился в тюрьме. Но чтобы хоть как-то заполнить томительное время в камере, рассказал, что жил в Ленинграде, работал инженером на приборостроительном заводе, летом прошлого года внезапно арестовали, несколько дней просидел в ленинградской тюрьме, потом привезли в Москву. Шесть месяцев на Лубянке допытывались, не говорил ли я чего плохого о вождях партии и правительства и не являюсь ли членом антисоветской молодежной группы в составе трех человек, и в ней я – руководитель. Потом – четыре месяца в Бутырке без единого допроса, потом неделя в Лефортово, потом суд, а после суда снова, в Бутырки. Было свидание с женой после окончания следствия. Жена сказала, что дело мое направлено в суд, но суд не принял его за недоказанность преступления – возможно, переследствие, но всего вероятней, скоро выпустят на волю. Новых допросов не было, я ожидал освобождения. Но что-то вдруг переменялось. Суд снова затребовал отклоненное дело и там, где в конце прошлого года не находил вины, вину внезапно обнаружил – лживую, неправдоподобную, недоказанную – и покарал за эту выдуманную вину, за несуществующее преступление самым тяжким наказанием, какое можно придумать...

– Все же не самым тяжким, закон от 1 декабря к вам не применили. А почему сегодня нашли вину там, где вчера ее не видели, могу объяснить. Произошло важное событие, о котором вы еще не знаете, В феврале и марте состоялся пленум Центрального Комитета, Сталин докладывал о

троцкистских двурушниках... И такие постановления!.. Все, что было до сих пор, все эти исключения из партии, проработки, осуждения, публичные покаяния, отмежевания... В общем, нынешний, 1937 год станет особенным в нашей истории, принимаются по-серьезному, самым жестоким способом за тех, кого понадобилось убирать... Железной метлой, ежовыми рукавицами, вилами и топором... Радуйтесь, юноша, говорю вам, радуйтесь, что отвели закон от 1 декабря! Ибо раз уж нашли вину там, где ее вчера не видели, то могли...

Он прервал свое желчное объяснение. Загремели засовы, отворилась дверь, в камеру ввели нового человека. Он был высок, толст, стар, передвигался прихрамывая – остановился у дверей, схватился рукой за сердце, тяжело задышал.

– Ты? – потрясение спросил Дебрев. – Тебя – сюда?

– Я вас не знаю, Дебрев, – придушенным голосом ответил новый заключенный. – Отныне и на всю остальную жизнь мы незнакомы. Не смейте говорить со мной, не смейте глядеть на меня! Я вам приказываю, слышите!

Новый заключенный тяжело опустился на свободную последнюю койку, бросил мешочек с вещами на пол, закрыл глаза – мерно покачивался всем туловищем, как бы в ритм неслышным мне звукам либо медленно бредущим мыслям. Я переводил взгляд с него на Дебрева. Дебрев при появлении нового арестанта вначале отшатнулся, потом весь сжался, теперь с ногами сидел на койке, прижимаясь спиной к железной спинке – поза, которую и ребенок долго не выдержит, – и не отрывал тусклых глаз в глубоких глазницах от согнувшегося нового соседа. Пожилой арестант внушал Дебреву ужас, это понимал даже я. И я ожидал драматического продолжения, когда оба соседа прервут затянувшееся молчание. У них, по всему, были свои вещи счеты – я даже догадывался какие.

Пожилой арестант, не раскрывая глаз, сказал:

– Молодой человек, сколько вам дали? Десять с последующим поражением в правах?

– Да, десять с поражением, – сказал я.

– Не предупреждали, когда на этап?

– Не предупреждали.

– Да, сейчас не предупреждают – берут и выводят. Берегут слова, слова стали дороги, а дела подешевели, делами не экономят. Давно, давно предвидели: слово станет плотью. Только думали, что слово воплощенное явится благодатью и истиной, а оно обернулось хвостатым страхом, двурогим ужасом, багровым призраком гибели...

– Не понимаю вас, – сказал я. Мне казалось, новый арестант не в своем уме.

Он поднял голову, резко повернулся ко мне, распахнул веки. Я и вообразить не мог, что так бывает: на морщинистом, старчески-сером лице светили очень яркие, очень голубые, очень живые глаза. Они разительно не совпадали со всем обликом этого пожилого человека. Он засмеялся так странно, словно не он, а я говорил что-то совсем уж несообразное. В отличие от молодых глаз голос у него отвечал облику – старчески-тусклый.

– Не понимаете, верно, – подтвердил он. – И не один вы. Миллионы людей растерялись и запутались. Ибо произошла самая неожиданная, самая невероятная революция в нашей стране – не классовая, не промышленная, а философская. В самом материалистическом государстве мира воспрянул и победил идеализм.

Он остановился, ожидал возражений. Дебрев не менял своей напряженной позы. Пожилой арестант продолжал:

– Да, торжество философии идеализма, иначе не определить. Мы в молодости учили: бытие определяет сознание, экономика порождает политику. И вообще – производственный базис, производственные отношения, право, идеология... И где-то там, на самом верху, на острие пирамиды – слово, как зеркало реальной жизни. А слово вдруг стало сильнее жизни, крепче экономики, оно не зеркало, а реальный властитель бытия – командует, решает, безмерно, яростно торжествует! Дикое царство слов, свирепая империя философского идеализма! Кто вы такой, молодой человек? Враг народа, так вас сформулировали. Всего два слова, а вся ваша жизнь отныне и навеки определена этими двумя словами – ваши поступки, ваши планы, ваши творческие возможности, даже любовь, даже семья. Троцкист, бухаринец, промпартиец, уклонист, вредитель, предельщик, кулак, подкулачник, двурушник, соглашатель... Боже мой, боже мой, всего десяток словечек, крохотный набор ярлычков, а бытие огромного государства пронизано ими, как

бетонный фундамент железной арматурой! Какое торжество слова, даже не слова – словечка! Мы боролись против философского идеализма, за грешную материю жизни, а нас сокрушил возродившийся идеализм – самая мерзкая форма идеализма, низменное, трусливое поклонение словечкам. Не упоение высоким словом, а власть слова лживого, тупого – куда нереальней того идеального, против которого мы, материалисты, восставали!

– Зачем вы мне это говорите? – спросил я.

– Да, зачем? – повторил он горько. – Впрочем, нет. Вы впервые судимы?

– Надеюсь, и в последний. А когда отменят несправедливый приговор, так стану опять несудимым.

– Дай вам бог! Только до этого не скоро. А пока вам предстоит этап в какую-нибудь далекую тюрьму, где будете отбывать заключение. Вы на этапах еще не бывали, а я их столько прошел! И сейчас с этапа – по доносу мерзавца, которого считал другом. Привезли, заклеямили новыми карающими словечками и опять увезут. Одно заключение сменяют на другое. Так вот – этап. На многих командуют блатные. Вы для них «пятьдесят восьмая», «враг народа», а они считают себя друзьями народа – аристократия по сравнению с вами. И с радостью при случае поиздеваются над вами, облагораживают себя тем злом, которое вам причинят, – отомстили, мол, врагу народа за то, что он народу вредил. Бойтесь уголовников, молодой человек. Мой вам душевный совет: заявитесь в камеру, где уголовников много, сейчас же вещевой мешок на стол: половину – вам, половину – мне. Все же гарантия, что не избыют и не прирежут. А теперь, простите, – спать. Трудный был день сегодня, завтра будет еще трудней.

Он повалился одетый на койку и почти сразу заснул. Дебрев осторожно опустил ноги на пол и принял нормальное сидячее положение. Арестант в верхней камере замолчал – вероятно, тоже заснул. Ни Дебрев, ни я не засыпали. Он сидел угрюмый, о чем-то молчаливо размышлял, а я думал о приговоре, о семье, оставленной на воле, о неведомой далекой тюрьме, где предстояло отбывать заключение. И еще я думал о всевластии слов, с такой горечью объявленной пожилым человеком, лежавшим на соседней койке. Я вспомнил, что Мопассан когда-то писал, будто вся человеческая история для него – это набор сменяющих одна другую хлестких фраз. «Я не мир к вам на землю принес, но меч», «Кто ударит тебя в левую щеку, подставь правую», «Пришел, увидел, победил», «Еще одна такая победа, и я потеряю все мое войско», «Мертвые сраму не имут», «Здесь я стою, я не могу иначе», «Если в этих книгах то, что в Коране, то они не нужны; а если то, чего в Коране нет, то они вредны», «Все погибло, государыня, кроме чести», «Париж стоит обедни», «Пусть гибнут люди, принципы остаются», «Государство – это я!»... Много, очень много фраз, ставших вехами истории, прав Мопассан. Но всевластие слова? Слово, из зеркала бытия ставшее организатором и командиром бытия? Не верю! Не могу, не должен поверить! Ибо страшно жить в мире, где жизнью командует слово, а не дело. Прав, тысячекратно прав Фауст, отвергнувший евангельское «Вначале было слово». Он сказал: «И вижу я – деяние в начале бытия». Да, именно так, деяние, а не слово! Слово как было, так и остается зеркалом совершившегося действия.

Понемногу от философских терзаний я обратился к ожидающей меня реальной действительности. Уже не первый этот пожилой сокамерник предупреждал меня об опасностях встреч с уголовниками. Другие расписывали их зверства даже конкретней и страшней. Я ничего не мог с собой поделать, я содрогался при мысли о встрече с ними. Нет, я боялся не их! Я боялся себя. Боялся, что унижу себя слабостью, опозорюсь пресмыкательством перед грубой силой. За шесть месяцев на Лубянке, четыре месяца в Бутырках я так много открыл лжи и трусости у самых, казалось, уважаемых людей, так часто и беспощадно узнавал, что деятели, испытавшие царские кнуты и тюрьмы, прошедшие с честью гражданскую войну, вдруг превращались в отвратительных слизняков, чуть на них замахивался кулак следователя-сопляка, что авансом потерял доверие и к себе. Вокруг меня все извивалось, клеветало, писало доносы, судорожно цеплялось за жизнь – откуда было мне взять уверенности, что и я в трудную минуту не окажусь таким же?

Нет, думал я, нет, в одном он прав: глупо вступать в борьбу с бандитами, если нет уверенности, что не струсишь и не покоришься их изымательству. Он советует откупиться и отстраниться от них. Тоже трусость, лишь маскирующаяся под благоразумие, но хоть избежишь издевательств над собой, хоть видимость достоинства сохранишь. В моем нынешнем положении и это благо.

В камеру вошел корпусной с двумя охранниками. Корпусной ткнул в мою сторону пальцем.

– С вещами на выход! Быстро!

Дебрев вскочил с койки и подошел к корпусному. Лицо его исказилось от волнения, голос дрожал:

– Прошу вас, переведите, меня в другую камеру. Я не могу здесь оставаться.

Корпусной, пропуская меня вперед, оглушил голосом, как дубиной:

– Где посадили, там и сидеть! Здесь тюрьма, а не гостиница!

Я снова сидел в крохотной кабинке красного фургона с надписью «Мясо» на бортах. В фургоне таких кабин было, наверное, с десятков – и каждая глухо отгорожена от других. Фургон мчался долго по ночным улицам Москвы – пересыльная тюрьма находилась, по всему, далеко от Бутырок. Потом дверка кабины раскрылась и охранник закричал:

– Скорей! Ноги в руки, живо!

Я пробежал по тюремному дворику, потом по длинному коридору. Другой охранник открыл дверь в новую камеру и, не дожидаясь, пока я пройду, с силой толкнул меня в нее – очевидно, надо было срочно разгружать фургон с арестантами и сделать это так, чтобы один арестант не увидел другого, – размещали по разным камерам.

Я споткнулся, мешок мой полетел на пол. Я ползал по заплеванным доскам, собирая свое рассыпавшееся нищее богатство, потом выпрямился и оглянулся. Камера была велика и плотно населена, но лишена порядка. Собственно, порядок в ней был, но тот, о котором еще Руссо говорил, что он проистекает из права сильнейшего. Левый угол камеры, добрую ее треть, занимали четыре человека, на остальной площади умещалось сорок. Один из четырех вонзил в меня крохотные, тусклые, как у свиньи, глаза и непререкаемо прохрипел:

– Пятьдесят восьмая, десятка и пять по рогам! Другой поддержал:

– Точно, фрайер! Густо сопля на этап пошла.

Я понимал, что я – в самом деле фрайер, то есть честный, работающий, полезный обществу человек – гусь, назначенный к тому, чтоб его облапошивали умелые и наглые люди. Но легче от понимания мне не стало. Исчерпывающая оценка уголовного придала мне как приговор. Я пригнул голову и протиснулся в гущину людей. Мне нехотя очистили узкую полоску, одну доску нары. Я сунул под голову мешок, вытянулся на боку и унесся в мир фантазий. Две недели назад, еще до суда, я стал переделывать вселенную по новому, более совершенному плану, чем ее наспех создавал самоучка-господь. Это был кропотливый труд, приходилось от всего другого отвлекаться, чтоб дело шло. И самое главное – надо было не думать о несправедном суде, о жестоком приговоре, о загубленной жизни, даже о том, как разберутся Дебрев с философствующим стариком...

Двери камеры отворялись, к нам впахивали все новых людей, по телам, простертым по сплошным нарам, пробегала судорога – новеньким очищалось жизненное пространство под тусклой тюремной лампочкой. Было жарко и душно, грязные тела заливал пот. Кто-то громко чесался, кто-то с визгом зевал, кто-то шепотом матерился, кто-то со змеиным шипом отравлял воздух – все было, как и должно быть в этапной камере.

Потом два арестанта из тюремной службы внесли дымящееся ведро пшенной баланды – густого, невкусного, желанного супа. Никто около меня не шевельнулся на нарах. Четыре блатных лениво подошли к ведру, понюхали струящиеся из него пары, поболтали в ведре черпаком.

– Локш!-изрек один.

– Баланда, как баланда! – подтвердил другой.

– Оставим на после? – предложил третий.

– Порубаем! – решил четвертый.

Они не торопясь вылавливали в пшенной болтушке следы картошки, мясные прожилки и что-то еще, чего я не разобрал. И когда они удалились к себе с полными мисками, мне показалось, что жидкий мясной запах, исходивший от ведра, стал еще жиже и приглушенней.

– Лопай, пятьдесят восьмая! – великодушно разрешил один из уголовников.

Очевидно, только этого разрешения и ожидали – камера с грохотом поднялась на ноги. К ведру пробивались, ведро захватывали друг у друга. Костлявый, страшноватый человек, выкатывая полубезумные глаза, надрывно орал:

– Товарищи! Что же получается? Давайте же порядок установим.

Он так увлекся криком, что, как и я, не добыл себе супа. Грустный, я стоял перед опустевшим ведром и смотрел на висевший сбоку черпак. Суп, вероятно, был вкусен. Я поплелся на свою доску и пожаловался соседу – пожилому, усталому человеку, так и не поднявшемуся с нар:

– Почему столько беспорядка? В других камерах имеются старосты, люди получают еду по очереди.

Он равнодушно ответил:

– И у нас староста – вон тот высокий. Только что он может? Распоряжаются блатные, его никто не слушает.

Я посмотрел на уголовников. Четыре человека – почтительная пустота отделяла их от нас – отставили чуть тронутые миски и уплетали свежий хлеб, мясо и масло. На всю камеру шелестела жестяным шумом сдираемая с колбас кожура, глухо всхлипывали всасываемые одним вдохом яйца, сухо трещало печенье. Потом они завалились на спину – махорочный дух заволок их, как маскировочная завеса. С тяжелым сердцем я отвел от них глаза. Это была мучительная загадка, я не мог ее решить. Их было вдесятеро меньше, чем нас, мы могли, навалившись, мгновенно растереть их в пятно – как же они захватили над нами власть? Неужели тот старик прав и все мы стали реально ничтожествами, чуть нас заклеямили лживыми названиями? Неужели клеймо, несколько словечек – так всевластны?

Я высказал соседу свои сомнения. Он испугался:

– Что ты! Что ты! Даже не думай об этом. Знаешь, что нам грозит, если мы возьмемся за них? Тюремное начальство не помилует.

Я возразил с тяжелым недоумением:

– Нас ни за что покарали самым тяжким наказанием, какое знает кодекс. Чем еще могут нам пригрозить?

Он горячо зашептал:

– Не говори так, не говори! Нас осудили неправильно, и мы должны так держаться, чтоб нам поверили. А кто поверит, что мы невинны, если мы что-то в тюрьме организуем?

Я не стал спорить. Мысли мои путались. Мир двигался мимо меня на голове, и я терзался, стараясь уловить в его движении хоть какой-нибудь смысл. Я был горячий сторонник нашей власти, а моя власть кричала мне в лицо: «Гад!» Бездействие перед подлостью и лицемерием возводилось в достоинство. Этого достоинства – молчать, терпеть, трястись, примиряться с любой мерзостью – почему-то требовали от нас, чтоб признать нас снова хорошими. Я не понимал; кому это надо? Зачем это надо?

Я расстелил на доске полотенце и выставил на него полученные перед этапом дары с воли – ветчину, сыр, сладкие сухари. Я знал, что это – последняя вкусная еда в моей жизни, десять лет тюремного заключения не поездка в дом отдыха. Отныне будут заботиться не о процветании моем, а, может, только о том, чтоб я не зажился на свете.

– Ешьте, – сказал я соседу. Мы запивали еду холодным кипятком. И вдруг кусок стал у меня комом – что-то зловещее надвинулось из-за спины. Я испуганно обернулся. Все тот же осипший уголовник, раз уже обративший на меня внимание, стоял у наших нар, широко расставив ноги и засунув руки в прорези брюк, где нормально полагалось быть карманам.

– Жуешь? – осведомился он мрачно. – Жую, – признался я, оробев от неожиданности.

– Не вижу заботы о живом человеке, – заметил он внушительно. – Порядок знаешь? Долю надо выделить. Другие учитывают – видал, сколько навалили нам на ужин?

– Я не возражаю, садитесь, пожалуйста, – сказал я поспешно.

– А я сыт, – ответил он равнодушно. – Значит, так – тащи свою съестную лавку к нам, там разберемся. И барахлишко прихвати – посмотрим, чего тебе оставить.

Я понимал, что надо поступить именно так, как он приказывал. Этого требовали, по разъяснению того старика, – моя безопасность, достоинство покорности, воспитываемое во мне палкой. Но меня охватило отвращение к себе, к камере, ко всему свету. Я только начинал жить и уже ненавидел жизнь. Если бы вчера попало не полотенце, а настоящая веревка, с каким облегчением я бы покончил все счета с жизнью! Нет, почему я с таким ужасом думал о грозящем мне ноже? Сейчас я жаждал его.

– Не дам! – сказал я злобно.

– Не дашь? – изумился он. – Ты в своем уме, фрайерок?

– Не дам! – повторил я, задыхаясь от ненависти. Он овладел собой. Колено его вызывающе подрагивало, но голос был спокоен.

– Лады. Даю десять минут. Все притащишь без остатка. Просрочишь – после отбоя придем беседовать.

И, отходя, он бросил с грозной усмешкой:

– Шанец у тебя есть – просись в другую камеру. Сосед смотрел на меня со страхом и жалостью.

Он положил руку на мое плечо, взволнованно шепнул:

– Сейчас же неси, парень. Эти шуток не понимают.

– Ладно, – сказал я. – Никуда не пойду! Ешьте, пожалуйста.

Он с трепетом отодвинулся.

– Боже сохрани! Еще ко мне придерутся. Говорю тебе, тащи им все скорее, Жизнь стоит куска сыра.

Я молча заворачивал еду в полотенце. Новая моя жизнь не стоила куска сыра, это я знал твердо. Я готов был с радостью отдать этот проклятый кусок каждому, кто попросил бы поесть и намеревался кровью своей защищать его – в нем, как в фокусе, собралось вдруг все, что я еще уважал в себе. Теперь и между мною и остальными жителями камеры образовалось крохотное, полное молчаливого осуждения и страха пространство.

Когда прошли дарованные мне десять минут, сосед зашептал, страдая за меня:

– Слушай, постучи в дверь и вызови корпусного. Объяснишь положение... Может, переведут в другую камеру.

– Не переведут. Что им до наших нелад? Не хочу унижаться понапрасну.

– Не храбрись! – шепнул он. – Ой не храбрись! Нет, я не храбрился. Трусость снова одолевала меня, подступала тошнотой к горлу. Борьба одного против четырех была неравна. Она могла иметь только один конец. Но зато я знал окончательно – еду и вещи я не понесу. Это было сильнее страха, сильнее всех разумных рассуждений. Со смутным удивлением я всматривался в себя – я был иной, чем думал о себе.

До отбоя было еще далеко, и нервы мои стихали, как море, которое перестал трепать ветер. У меня появился план спасения. Когда они подойдут, я взбудоражу всю тюрьму. Меня выручит корпусная охрана. Только не молчать, молчаливого они прикончат в минуту – после всех обысков вряд ли у них остались ножи, видимо, они кинутся меня душировать. Я вскочу на нары, спиной к стене, буду отбиваться ногами, буду вопить, вопить, вопить!..

Вся камера понимала, что готовится наказание глупца, осмелившегося прошибать лбом стену. Угрюмое молчание повисло над нарами как полог. Люди задыхались в молчании, но не нарушали его – изредка шепотом сказанное слово лишь подчеркивало физически плотную тишину. Тишина наступала на меня, осуждала, приговаривала к гибели – я слышал в ней то самое, что говорил старик, – никто не придет на помощь. Люди будут лежать, закрыв глаза, мерно дыша, ни один не вскочит, не протянет мне руки. И я восстал против этой ненавистной тишины, которая билась мне в виски учащенными ударами крови.

Я попросил соседа:

– Расскажите что-нибудь интересное, что-то сон нейдет. Он ответил неохотно и боязливо:

– Что я знаю? В наших камерах книг не давали. Лучше сам расскажи, что помнишь. Какую-нибудь повесть... Я стал рассказывать, понемногу увлекаясь рассказом. Не знаю, почему мне вспомнилась эта удивительная история, странная повесть о Повелителе блох и парне, чем-то похожем на меня самого. Меня окружили видения – очаровательная принцесса, бестолковый крылатый гений, толстый принц пиявок, блохи, тени, тайные советники. Я видел жестокую дуэль призраков Свамердама и Левенгука – они ловили один другого в подозрительные трубы, прыгали, обожженные беспощадными взглядами, накаленными волшебными стеклами, вскрикивали, снова хватались за убийственные трубы. Я сидел лицом к соседу, но не видел его – крохотный Повелитель блох шептал мне о своих несчастьях, я до слез жалел его. И, погруженный в иной, великолепный мир, я не понял ужаса, вдруг выросшего на лице соседа. Потом я обернулся. Четверо уголовников молча стояли у моих нар.

– Давай кончай это дело! – внятно сказал сильный, что уже говорил со мной.

– Дело иде к концу. Смелая блоха, Повелитель блох всего мира, бросился на поиски похищенной принцессы, – ответил я, вызывающе не поняв, о каком конце он говорит, и вонзая в него взгляд, который и без хитрых луп мог бы его испепелить. – Это было нелегкое дело – за бедным королем блох самим охотились со всех сторон, как за редкостной добычей...

И не торопясь я закончил повесть. Я довел ее до апофеоза. Прекрасная принцесса из Фамагусты соединилась с нищим студентом, внезапно превратившимся в пылающее сердце мира. Четверо уголовников, не спуская с меня глаз, слушали описание фантастической свадьбы. Горечь охватила меня, звенела в моем голосе. Теперь я знал, чем сказка отличается от жизни. Сказка завершается счастливым концом, в жизни нет счастья. Остывший, на мгновение потерявший волю к сопротивлению, я ждал...

– Здорово! – сказал один из блатных. – Туго роман тискаешь!

– Давай еще! – потребовал другой.

И тогда меня охватило вдохновение. Теперь я рассказывал о собаке Баскервилей. Мой голос один распространялся по камере, наступал на людей, требовал уважения и молчания. Ничто не шевелилось, не шептало, не поднималось. Четыре уродливых диких лица распахивали на меня горящие глаза, десятки невидимых в полумраке ушей ловили слова. У сиплого отвисла нижняя губа, слюна текла на подбородок, он ничего не замечал, он бродил по туманной пустоши, спасался от чудовищной, светящейся во тьме собаки, падал под ее зубами. Он был покорен и опьянен.

И тогда я понял с ликованием, что здесь, на этапе, в вонючей камере, совсем по-иному осуществилось то, о чем недавно философствовал старик. Можно, можно властвовать словами над душами людей – радовать, а не клеймить, возвышать, а не губить. И это пустяки что не я придумал ночную пустошь, затянутую туманом, что не мое воображение породило ужасную собаку. Десять лет тюремного заключения еще не граница жизни. Он придет, этот час, – страстное, негодующее, влюбленное слово поднимется надо всем. Нет, не четыре тупых уголовника – весь мир, опутанный, как сетями, магией слов, ставших плотью и действием, будет вслушиваться, будет страдать от их силы, возмущаться и ликовать...

Со звоном распахнулось дверное окошко. Грозная рожа коридорного вертухая просунулась в отверстие.

– А ну кончай базар! – крикнула рожа. Уголовники заторопились на свои места.

– Завтра даванешь дальше! – прошептал сиплый. – Как у тебя насчет жратвы? Все достанем!

С нами не пропадешь, понял!

– А у меня все есть, – ответил я с горькой гордостью. – Что мне еще надо в жизни?

## У синего Белого моря

Я назову его Журбендой. Это был коротконогий, короткопалый, круглоголовый, рыжеватый человечико с некрасивым, но живым лицом, до того густо усыпанным веснушками, что щеки и лоб отливали золотом. И у него была странная борода – клочковатая, неистовая, как и он сам. В день выхода из тюрьмы Журбенда сбрил ее, но она вырвалась наружу уже на второй день и за неделю отросла на пол пальца. Я и не подозревал до Журбенды, что на свете существуют такие жизнебуйные бороды. Ненавидевший его Иоганн Витос хмуро бубнил при встрече: «До чего же хорошо растет сорная трава на навозе!» Иоганн Карлович нарывался на ссору. Журбенду ссоры не привлекали он ухмылялся и отходил подальше от Витоса.

Еще я знал о Журбенде, что он до ареста работал в историческом архиве и написал столько книг и статей, что их не уместить и в чемодане. Об этой поре своей жизни Журбенда обычно умалчивал. Зато он с охотой распространялся о мировой и гражданской войнах, о созданном им, первом на их фронте, Совете солдатских депутатов, о том, как он провозглашал в местечках советскую власть, арестовывал помещиков и буржуазию, давал отпор белополякам и рубил под комель контрреволюцию! А годы, когда партию трясла жестокая лихорадка дискуссий, вставали в его рассказах так ярко и образно, что я мог слушать его часами. Его тронуло мое внимание. Он развлекал и просвещал меня. Он вдалбливал в меня свое понимание мира, оттачивал на мне искусство доказательств и умолчаний, опровержений и издевательств «Какой он ученый? ворчал Витос, – Трепло, вот он кто!»

Журбенда вторгнулся в мою жизнь в день, когда нам объявили, что переводят из тюрьмы в

лагерь. Нас вызывали одного за другим на комиссию и спрашивали, хотим ли мы работать. Мы ни о чем так не мечтали, как о работе. Исправительно-трудовой лагерь представлялся нам чуть ли не земным раем в сравнении с тюрьмой, разумеется. Мы бредили вольным хождением по зоне, с клубами, кухнями, где сам берешь еду, репродукторами, которые гремят в каждом бараке, свободно получаемыми газетами... Лагерь приближал нас к стране, в нем было что-то от воли. Мы все стремились в лагерь. Я поспешно ответил «Очень хочу работать!» – когда меня спросили, как я отношусь к труду, тюремный врач с сомнением посмотрела на мои пожелтевшие от цинги ноги и сказала «Годен!». Мне пообещали, что отныне я на недостаток работы жаловаться не буду.

А когда я возвратился в камеру, в ней оказалось двое новеньких: Иоганн Карлович Витос, седой латыш, в прошлом, при Дзержинском, один из руководящих работников ВЧК, в последние годы секретарствовавший в каком-то московском райкоме, и этот рыжеватый Журбенда. Витос и Журбенда сидели на нарах спинами один к другому – они познакомились с час назад и успели поссориться. Не знаю, бывает ли столько раз описанная любовь с первого взгляда, но ненависть с первого слова встречалась мне часто. Именно такое чувство охватило Витоса. Крепкая ненависть соединяет прочнее пылкой любви. Отныне Витос, где бы ни был, думал о Журбенде и стремился к нему, чтобы вылить на него яд. Он охотно добавил бы и удар, но, как я уже упоминал, Журбенда считал кулак аргументом увесистым, но не веским. Этот человек жил среди слов и для слова. Он пробовал слова на вкус, дышал ими, как воздухом, дрался словом, как ножом; погружался с головой в его диковинную магию – не уставал, никогда не уставал наслаждаться его волшебством!

– Приберите камеру, – приказал нам дежурный надзиратель. – Скоро переведем вас в другой корпус.

Нам было не до уборки. Мы обсуждали предстоящий выход в лагерь. Уже было известно, что нас отправят из Соловков в Норильск, на строительство металлургического завода. Жизнь делала очередной крутой поворот. На этот раз это был поворот к лучшему. Кончилась кампания истребления, где-то наверху наконец схватились за голову. Да, теперь становилось ясно, что подведена черта не только под Ежовым, но и под ежовщиной, ветерок воли пахнул нам в лицо. Шло лето тридцать девятого года.

Во время нашего восторженного разговора загремели засовы. В камеру вошли начальник тюрьмы Скачков, человек с аскетическим лицом и горящими глазами, его помощник майор – толстячок Владимиров, корпусной надзиратель и коридорный «попка». Капитан госбезопасности Скачков в прошлом командовал на Лубянке. К нам на Соловки его послали за какое-то прегрешение, ходили слухи, что к нему уже «подбирают ключи» Умный, желчный, жестокий, он пока был еще всевластен на острове. Охрана бегом кидалась исполнять любой его приказ. Мы боялись и смотреть на него.

– Вот как – посиделочки устроили? – недобро поинтересовался он. – И не скучно? А не передавали вам, что эта камера нужна мне к вечеру? Может, все-таки утрудите себя небольшой работенкой?

Мы схватились за тряпки и веник. Журбенда засуетился, покрикивая на нас:

– Товарищи, поживее, что же это такое? Разве вы не слышали – эта камера для гражданина начальника нужна! Мы же должны сделать все, чтоб гражданину начальнику было в ней удобно!

Скачков гневно повернулся к Журбенде. У того на лице была такая угодливость, такое горячее стремление услужить начальству, что даже скорый на расправу Скачков не нашел, что сказать. Он выругался и направился к двери. Снова загремели засовы. У Журбенды сияли лукавые глаза, золотистые, как его веснушки.

В ожидании парохода, который должен был отвезти нас в Норильск, тюремное начальство решило использовать нас на местных работах. Нас вывели на строительство аэродрома.

В нашем корпусе уже на рассвете загрохотали замки и засовы, закрипели двери, затопали ноги по деревянным полам и лестницам. Это был хороший дом, бывшая гостиница для богомольцев. Комнаты в нем были как комнаты, не угрюмые кельи со сводчатыми потолками, как в других зданиях монастыря. Мы потом не раз поминали добрым словом этот тюремный корпус, где пришлось выхлебать не одну миску горя. На нем, кстати, была воодушевляющая надпись: «Придите ко мне все страждущие и я упокою вас».

На широкую площадь перед собором, из всех строений, протянувшихся вдоль крепостных стен, текли человеческие ручейки. Они перемешивались, сливались в колонну – голова ее

подпирала к воротам, туловище удлинялось и удлинялось, делало изгибы и повороты, понемногу заполняло каждый квадратный метр, оставаясь все той же четко очерченной линией. Я когда-то учил любопытную теорему Пеано, о том, что линией, если ее бесконечно выкручивать, можно заполнить любую плоскость и объем. Наши конвоиры, не утруждая мозгов высшей математикой, легко проделывали это на практике. А когда площадь была полностью запрессована и новых людей, по-прежнему выходявших из тюремных дверей, оставалось разместить разве что во втором слое (над нашими головами), раздалась команда, тяжело захрипели и завизжали ворота, и мы, по пять в ряд, хлынули на волю.

Я шел между Журбендой и Анучиным. С добряком Анучиным, преподавателем физики и поэтом, я познакомился два года назад, когда в осеннюю бурю нас привезли в Соловки из Вологды. Мы стояли молчаливой толпой у крепостных стен, а за ними бушевало море. Море накатывалось на дикий камень, с грохотом карабкалось на башни, осатанело грызло залитой пеной пастью отвесные стены и, отраженное, глухо ревело и топотало тысячами ног в отдалении. Анучин, высокий, пожилой, держал меня под руку и, подняв вверх голову, внюхивался в морские запахи, вслушивался в грохот. Тогда же, у ворот тюрьмы, он сочинил стихи и прочитал их мне. Я запомнил эти восемь строчек и часто повторял их, когда в непогоду к нам доносился в форточку голос мятущейся воды:

Я помню моря шум глухой ночной порою,  
Когда стояли мы в молчанье возле стен –  
Он тешил мысль мою зловещею игрою,  
Священным символом, сулящим вечный плен!

Да, да! Не широту, где воздух, а границы,  
Пределы тесные кладет моей судьбе,  
Где только он да крик пролетной птицы  
Принадлежат, свободные, себе.

Нас рассадили по разным камерам, и я уже не надеялся, что увижусь с Анучиным. Здоровье его было из неважных, а тюремный режим не способствует выздоровлению. Встретившись на крепостном дворе, мы на радостях обнялись, хоть и могли попасть в карцер, если бы наши излияния обнаружила охрана. Тут же мы постановили идти вместе. Журбенда, не отстававший от меня, составил нам компанию.

И вот мы вышли в лес, соловецкий северный лес, вплотную подступивший к морю, неразрезанный лес молодых, бурно вытянувшихся крепких деревьев. Я не люблю перестоявшихся чащоб с их трухлявыми надменными великанами, подавляющим и молодую поросль, поваленными стволами, болотами, папоротниками, вечным молчанием под кронами, шумящими изредка одними вершинами. Лишь буря способна заставить такие замшелые леса раскачаться и завопить. Но эти ясные боры и березнячки, откликающиеся на любой порыв ветра, весело шумящие при тихой погоде, радующиеся воздуху и солнцу, сводят меня с ума, как великая музыка или стихи. В старых лесах все отдано могучим стволам и ветвям, в молодых царствует зеленая листва, ветвей не видно из-за облепивших их жадной к свету хвои и листа. Великолепный лес, зеленый с желтизной и кровью, раскинулся по обе стороны дороги – он шумел, качался, источал запахи...

Я три года не вылезал из разного сорта камер – следственных, пересыльных, этапных, срочных, маленьких, больших, каменных, деревянных, гранитных – но всегда одинаково вонючих. Я успел позабыть, что в мире существуют иные запахи, чем испарения грязного белья и пота. Даже камень в наших камерах, даже полы и нары были пропитаны зловонием наших тел. А когда нам разрешали открывать форточки в окнах и ветер, запутавшийся в двориках-гробах, вбивал к нам порцию воздуха, мы ловили в свежем воздухе все те же знакомые ароматы сотен одновременно проветривавшихся тюремных камер и отхожих мест. Я воспринимал окружающее раньше носом, потом лишь глазами и ушами – уже три года мир пахнул мне тлением и неволей. А сейчас он несся ко мне навстречу тысячами дурманящих ум, хватающих за сердце запахов!

В этот первый день выхода на вольный свет после долгого заключения я непредвиденно

испытал диковинное счастье – каждая травинка, цветок, листочек и ствол дышали на меня своим особым, непохожим на других дыханием. Аромат леса, обычно спутанный и сумбурный, сейчас рассыпался на множество отдельных, самостоятельно кричащих о себе благовоний – он менялся с каждым моим шагом, с каждым поворотом головы! Вот тут терпко несло сырой березовой корой, а сверху низвергались горьковатые запахи березовых листьев, а на этом месте к ним прибавлялся, не забывая, пряный дух смородиновых кустов и земляничных листьев. А еще через два шага дорогу пересекала нагловатая вонь сыроежек, подвальные испарения боровиков, суховатые – моховиков. Где-то в глубине, невидимая за березнячком, притаилась купка сосен, от них понеслись смоляные ароматы корья и желтеющей хвои, рядом с ними вдруг поднялись запахи, тоже невидимых, елей. А когда грядка елей потеснила березнячок и сбежала к дороге, все вокруг было подавлено их холодным, пронзительно-резким дыханием. И почти везде, на любом повороте пути, от земли поднимался пьяный, насмешливый, угрожающий дурман болиголова, он словно был почвой, на которой расцветали отдельные запахи.

Маяковский утверждал, что все мы немного лошади. Во мне всегда было что-то собачье. Собаки влюблялись в меня с первого взгляда. Мать уверяла, что незнакомые злые псы, рычащие направо и налево, ластятся ко мне потому, что угадывают во мне родство. В этот удивительный в моей жизни день я полностью понял, до чего же хоть в одном отношении собаки одарены богаче нашего – каждая вещь мира пахнет им по-своему. Ни до того, ни после мне не удавалось испытать такого чувства. Уже на другой день лес пахнул лесом – суммарным и сумбурным, всегда одинаково приятным дыханием всех своих растений, тварей и вод.

Я шел, беззвучно повторяя любимые строфы:

«И старик лицом суровым посветлел опять,  
по нутру ему здоровым воздухом дышать,  
снова веет волей дикой на него простор,  
и смолой и земляникой пахнет старый бор».

Я и раньше не раз упивался чудесными звуками этих строк; но сейчас меня охватило возмущение на Илью Муромца. До чего же мало старик открыл благовоний в темном бору – только смолу и землянику! Я так расстроился, что всхлипнул от огорчения. Если бы меня не окружали люди, я бы расплакался. Я не был легок на слезы, ни арест, ни допросы не выдавили из моих глаз воды. Лишь после приговора я рыдал, но и в том припадке было больше яростной брани, ударов кулаками в дверь и скрежетания зубов, чем водянистых слез. А сейчас мне непременно надо было поплакать, до того оказалось чудесно в этом чудесном северном лесу!

Анучин поддержал меня:

– Что с вами, Сережа? Как бы вы не упали?

Я повернул к нему сияющие, я знал, что они сияют, полные слез глаза.

– Со мной – ничего! Боже, как хорошо на воле! Как хорошо!

Голова колонны повернулась налево. Разнеслась повторяемая голосами всех конвоиров команда. Лес расступился. Перед нами раскинулся на три стороны водный простор – море, синее море!

Нам разъяснили, что на этом месте устраивается гидропорт, нужно отеснить лес от берега. За колонной людей двигалась колонна телег, на телегах везли топоры, лопаты, ломы. Конвоиры, чтоб не оказаться в гуще заключенных, вскоре отошли в лес, где начали устраивать свои засады и посты. Мы принялись за работу. Над нами светило смирное небо, позади шумел и дышал лес, впереди рокотало море. Чайки носились с воплями над водой, крики их до того напоминали плач ребенка, что первые минуты было не по себе. А мы, рассредоточась, усаживались орлами на траве. Мы опраивались, наслаждаясь природой и волей. Это было первое, чем мы занялись, после того как исчезли конвоиры.

Нет, в бессвязном моем рассказе я должен поговорить и об этом! Человеку дано спотыкаться на ровной дороге, он всего о двух ногах. И уж, во всяком случае, он способен выдумать страдание на совершенно пустом месте. Как известно, американский какаду опраивается на ходу, но человеку для этой операции требуется время, уединение и сосредоточенность. Уберите уединение, ограничьте время, не давайте сосредоточиться – и естественное отправление превратится в муку.

Умники из тюремного начальства додумались и до этого. Нам каждый день меняли часы оправки, мы часто уходили в отхожее место, как выражались с грустью, «не созрев». Молодой мой желудок сравнительно легко справлялся с хитро придуманным ограничением, но пожилым приходилось туго. В камере оправка служила, вероятно, самой важной темой наших разговоров. Машинист Иван Васильевич, когда я спросил, чего он крепче всего желает, ответил со вздохом: «П...ть бы по воле!» И вот сейчас мы могли совершить это по воле и вволю! Даже те, которым не было нужды, присаживались, чтоб не лишиться удовольствия свободной оправки. Я сидел недалеко от своих и сочинял стихи. Обстановка и занятие располагали к поэзии. Море подкатывалось к ногам, ветви березы били по голове, трава тонко пела и качалась. В результате усердного труда получился классический четырехстопный ямб:

О голос волн, которым я  
Так мучился в моей камере!  
О это вольное, у моря,  
Священнодействие!..

Здесь над моею головой  
Листва и чайки в общем скопе,  
И пахнет тинной и травой,  
И так светло душе и!..

Когда я покончил со стихами, ко мне подошел Анучин.

– Надо работать, – сказал он. – Хорошо сиделось, но надо работать.

Я торжественно продекламировал наскоро срубленный стих. Анучину понравилось, что занятие наше названо священнодействием, он нашел, что слово это выражает суть. В признательность он прочитал мне свое стихотворение, написанное еще в 1920 году. Оно нравилось Есенину, в те годы они дружили. Стихотворение и вправду было отличным.

Мы взвалили на плечи по лому и топору и полезли на обрыв бережка, чтобы быть подальше от других. Вскоре к нам присоединился Журбенда с лопатой, а за ним появились Витос и Хандомиров, быстрый веселый инженер средних лет. Он хорошо знал лагерные порядки и ни при каком повороте событий не впадал в уныние. Кроме того, он блестяще производил в уме арифметические вычисления.

Объединенными усилиями мы кое-как срубили негодующе застонавшую березку и сели отдыхать. После небольшого физического усилия мы вдруг изнемогли. Три года тюремного режима настолько ослабили нас, что сил хватало лишь на то, чтобы стоять не падая. Я страстно хотел трудиться, с грохотом валить деревья. Вместо этого, покончив с березкой, я со стоном сам повалился на землю. Даже крепыш Витос прилег на траву и закрыл глаза.

В это время на берегу показался толстый майор Владимиров. Он расхаживал с двумя стрелками и грубыми окриками поднимал отдыхающих. Линию его блужданий в приморском леске отмечали торопливо застучавшие топоры, глухое трепетанье валящихся березок и сосенок. Мы с тревогой следили, пойдет ли он к нам. Владимиров поднял голову и прислушался. От нас не доносилось звуков, свидетельствующих о труде. Тогда он стал карабкаться по уклону. Мы с Анучиным и Журбендой схватились за ломы и топоры, Витос открыл глаза, Хандомиров не пошевелился.

– Сейчас я его отгоню! – сказал он равнодушно и, все так же спокойно сидя, вдруг завопил диким голосом: – А ну давай, давай! Раз, два – взяли! Еще чуток, крепче, ну! Раз, два, по новой – взяли!

Он закончил свой рев визгом, словно человек, повалившийся вместе с обрушенным стволом. Владимиров остановился. Когда Журбенда для убедительности стукнул обухом по соседнему дереву, Владимиров показал нам покатую, как у старухи, спину – наверху работали с таким старанием, что подгонять не имело смысла.

– До вечера можно не усердствовать, – сказал Витос, зевая, – Разбудите меня, когда прикажут строиться. Один день отдыха после двух лет заключения я себе разрешаю. Вот уж посплю на воздухе!

Спать ему довелось недолго. Владимиров, слоняясь по берегу, вскоре удивился, что на верхнем участке замолчали. Он зашел с другой стороны обрыва и разразился над нами, как гром с ясного неба. Опустив головы, мы слушали его выговор. Даже находчивый Журбенда растерялся. Когда Владимиров пригрозил, что заморит нас в карцере, если не перестанем волынить, Журбенда начал оправдываться:

– Обещаем, товарищ начальник...

– Гусь свинье не товарищ! – оборвал Владимиров, – Запомните и это на будущее.

– Правильно, гражданин начальник! – смиренно поправился Журбенда. – Приложим все усилия, чтоб вы нас не ругали гусями.

Владимиров отошел, остановился, подумал и возвратился назад.

– То есть как это «ругали гусями»? – переспросил он грозно. – Выходит, я – свинья? Вы эти штучки бросьте, понятно? Я запрещаю считать меня дураком!

Журбенда униженно склонился перед разъяренным майором.

– Слушаюсь, гражданин начальник! Впредь не буду считать вас дураком.

Владимиров еще с полминуты пронзал его взглядом, потом, переваливаясь с боку на бок, заковылял по песку. Хандомиров завалился на спину и хохотал, от восторга выбрасывая в воздух длинные худые ноги. Даже хмурый Витос засмеялся. По морю шел прилив – волны все выше накатывались на берег.

Так мы с неделю трудились у синего Белого моря, под белесоватым небом, среди зеленого леса. Начальство, радуясь, что пароход задерживается, стремилось выжать из нас побольше. Непрерывная, по десять часов в день, физическая работа была нам не по плечу. Не одного меня, почти всех нас шатало от ветерка, пьянило от солнца, мутило от каждого физического усилия. Некоторые, выкорчевав из песка пенек, отходили в сторону и выташнивались. Расчищенное от деревьев пространство расширялось, но так медленно, что начальство теряло терпение. Уже не только Владимиров, но и сам Скачков подгонял нас. Под его пылающим взглядом мы трудились с иступлением, но наворачивали не больше, чем тринадцатилетние подростки. На большее нас не хватало.

Однажды нас подняли в середине ночи. Колонну человек в пятьсот привели на полянку, освобожденную от леса. В центре ее торчал валун – глыба гранита метров семь в длину, метров пять в ширину, метра четыре в высоту. Неподалеку зиял котлован. Владимиров объяснил, что предстоит протащить валун по земле, пока он не свалится в уготованную ему яму. Для этой цели предоставлен прочный морской канат – нам остается дружно приналечь на него и совершить несколько мощных рывков. После этого нам выдадут по черпаку чечевицы и отведут в камеры досыпать. Мы повеселели, услышав о роскошном дополнительном пайке – чечевица любимое блюдо в тюрьме.

Владимиров сам проверил, хорошо ли подкопан валун, не сидит ли глубоко в земле. Глыба упиралась в грунт плоской стороной, земля нигде ее не цепляла. К котловану еще до нас была проделана аккуратная дорожка, на дорожку положены бревна, а поверх них – доски. Валуну оставалось лишь взобраться на доски и, подталкиваемому с боков, покатиться на бревнах, как на роликах, – так это рисовалось Владимирову. На глыбу набросили канат, двести пятьдесят человек выстроились с одного конца, вторая четверть тысячи с другого.

К концу приготовлений на площадке появился Скачков. Он прохаживался в стороне, не вмешиваясь в распоряжение помощника. Тот себя не жалел – шумел на весь лес, метался вдоль цепи, дознаваясь, правильно ли мы отставили ногу, крепко ли вцепились в канат. Потом Владимиров налился темной кровью и натужно заревел: «Готовсь! Раз, два – взяли!» Мы изо всех сил потянули вперед, канат напрягся струной, затем, спружинив, рванул назад – многие из нас, не устояв на ногах, полетели на землю. Глыба не шелохнулась.

Сконфуженный неудачей на глазах у начальника, Владимиров сызнова проделал операцию. Он повторял ее раз за разом, мы периодически бросали тела вперед, нас тут же, словно за шиворот, оттаскивало назад, а валун безмятежно стоял на том же месте, где покоился, вероятно, не одно тысячелетие.

И опять, как в первый день выхода на работу, ничего я так жарко не хотел, как выложить себя в мощном усилии. Соседи старались еще усердней моего, но всех наших соединенных сил было недостаточно для крепкого рывка. А вскоре, исчерпав свои скудные физические ресурсы, мы

стали изнемогать. С каждым рывком канат напрягался слабее. Воодушевление дружного труда, охватившее было нас, превратилось в вялость. У Владимирова упорства было больше, чем соображения. Он мучил бы нас до утра, если бы не вмешался Скачков.

– Инженеры! – сказал Скачков с презрением. – Чему учились в институтах? С простым камешком не справляетесь!

Хандомиров негромко сказал, чтоб слышали одни соседи:

– Не очень-то он простой, этот камешек. Я подсчитал: объем около ста кубических метров, вес почти семьсот тонн. Полторы тонны на брата! Я и в лучшие времена не потащил бы полторы тонны, а сейчас к тому же не в форме.

По цепи пронесся смех. Я не вслушивался в расчеты Хандомирова. Я потерял интерес к камню! В мире совершалась удивительная ночь, я еще не видал таких ночей – не белых, а розовых, как заря. Солнце на часок опустилось в море, над головой стояли тучи, как пылающие снопы, плыли красные полосы – небо от горизонта до леса охватило пожаром. Отблеск этого горного пожара падал на море и лес, на землю и водоросли, прибившиеся к берегам, на наши унылые лица и невозмутимые бока валуна. Тонкий ветерок бежал над водой, и вслед ему вздымались синие волны с красными гребнями и с тихим грохотом разбивались на багровых скалах, с шипением терялись в розовом песке.

Владимиров, растеряв бравый вид, уговаривал нас:

– Надо что-нибудь придумать! Неужто же ничего не придумаем?

И тут мы услышали быстрый голос Журбенды:

– Разрешите, гражданин начальник, внести рационализаторское предложение?

Владимиров зашагал на голос.

– Мне кажется, у нас маловато техники, – продолжал Журбенда.

– На Хеопстрое, например, применялись тали, полиспасты и рычаги. Почему бы не воспользоваться опытом этого передового строительства?

Обрадованный Владимиром направился к Скачкову. На полянке стало вдруг так тихо, что мы слышали от слова до слова разговор помощника с начальником.

– Разрешите доложить, товарищ капитан госбезопасности, – молодежато отрапортовал Владимир. – Тут один инженер из Хеопслага. Так он говорит, что у них почище насчет техники...

– Дурак! – гневно сказал Скачков и, уходя, бросил, как выстрелил:

– Уводить!

Владимиров не стал допытываться, кто дурак, он или подведший его «инженер», но тут же отдал конвоирам команду строить нас. Минут через десять мы уже двигались в крепость. Кто-то заикнулся о чечевице, но в ответ услышал брань. По дороге я спросил довольного Журбенду:

– Что вам за наслаждение дразнить надзирателей?

Он злорадно ухмыльнулся:

– Ну, в двух словах этого не расскажешь.

– Расскажите в трех. Не хватит трех, добавьте еще сотню. Я не ограничиваю вас.

Он стал очень серьезным. Его пивные глаза потемнели. Он поглядел на меня испытующе и отвернулся. После этого он помолчал еще с минуту.

– Ладно, как-нибудь поговорим. У волн, на бережку, за скалами – подальше от глаз и ушей...

На другой день после неудачной борьбы с валуном стояла теплая и ясная погода. В северном лете, когда оно не дождливо, всегда есть что-то ласковое, как в южной ранней осени. Оно нежно, а не жестоко, усыпляет, а не иссушает, как на юге. Я сидел у воды, в каждой клетке моего тела таилась истома. Я с удовольствием бы заплатил тремя сутками карцера за три часа сна на песке под солнцем. Сон на глазах бдительных конвоиров с лужеными глотками был неосуществим.

Деревья на участке к этому времени были вырублены и выкорчеваны, оставалось засыпать ямы и подровнять поверхность. Мы перетаскивали с места на место носилки с песком, после каждой носки отдыхая по получасу. Чтоб приободрить нас, Владимир бросил боевой клич: «Носилки не столб, стоять не должны!» Он, впрочем, выразился немного иначе, но самая снисходительная цензура не пропустит точного текста его остроты. Наслаждаясь своим остроумием, он всюду оглашал придуманную хлесткую формулу. Мы заверяли, что сделаем все возможное, суетились, покрикивали друг на друга, с рвением перебрасывали лопатами песок.

Когда Владимиров удалялся, мы в изнеможении валились на землю, сраженные бессилием, как обухом.

Журбенда, лежавший рядом со мной, сказал: Так поговорим, что ли?

– Поговорим, – согласился я, не пошевелившись.

– Надо отойти куда-нибудь.

Я осмотрелся. Море было гладко и пустынно. Чайки надрывно кричали над головой. Пологий берег открыто спускался к воде. Не то что скалы, за которой можно было укрыться, даже камешка нигде не было видно. Я снова опустился на песок и закрыл глаза.

– Некуда идти.

– Поднимемся в лес, вроде для оправки.

Я подсадовал, что вызвал Журбенду на разговор. Временами он бывал утомительно настойчив. Я поплелся наверх, спотыкаясь от безразличия ко всему. Меня не интересовало уже, почему Журбенда разговаривает с начальством так, словно сам нарывается на карцер. Журбенда уселся на чуть прикрытом мхом «бараньем лбу», окруженном высокими молодыми березами. Нам отсюда был виден и берег с работающими и конвоирами на концах площадки, и море, набегавшее на песок, и похожее на грязноватую парусину небо. Мы же никому не были заметны, кроме чаек, все так же монотонно вопивших в вышине. Журбенда выглядел подавленным, ничего в нем не оставалось от обычного лукавого выражения, только ему свойственной «ехидинки» как называл ее Анучин. Даже золотые его веснушки посерели, округлое лицо осунулось. Он был словно после долгой болезни.

– Все дело в том, – сумрачно сказал он, отвечая на мои удивленный взгляд, – что наша великая революция величайшая из революций в истории, погибает если уже не погибла!

Я, разумеется, с возмущением потребовал объяснений. Меня ошарашило его неожиданное заявление. В первую секунду я даже хотел сбежать от дальнейшего разговора, все это смахивало на провокацию. Но, еще раз всмотревшись в Журбенду, я понял, что он не собирается подводить меня. Если я хоть немного разбирался в лицах, то этот странный человек глубоко страдал. Он заговорил со мной не для того, чтобы выпытать что-то у меня, а чтобы выговориться самому. Его душило горе, он надумал ослабить его отчаянным признанием, чтоб не задохнуться в своем одиноком самоиступлении. Мне не надо спорить, только слушать, ему станет легче – так я решил, ожидая разъяснений.

Он не спешил с разъяснениями. Он молчал, уставя побелевшие глаза на синее море. Он покачивал головой в ритм шумевшим над нами березкам. Потом он заговорил – сперва тихо и сбивчиво, с каждой новой фразой – все страстней и громче. Под конец захлебывался словами, не успевал выбрасывать наружу, как их уже теснили новые – он не держал речи, его захлестывало речью, как прибоем. Если бы я даже захотел, я не сумел бы вставить словечка в этот неистово ринувшийся словесный поток. Я, как и задумал, только слушал, с напряжением, с гневом, с глухим протестом слушал.

Я уже не помню, с чего он начал. Кажется, с того, какие ожидания связывал с революцией. Она представлялась ему половодьем, сметающим зимние снега, радостной весной, распутывающей пути, расковыривающей узы. Он описывал свои недоумения, свои колебания. – наконец, свое негодование, когда революция пошла не по его пути. Нэп он еще принял, это было, конечно, поражение, ничего не поделаешь, в борьбе бывают не одни победы. Но все остальное он отвергал. Его ужасали трудности коллективизации, он не хотел оправдать жертвы, на которые шли ради индустриализации, он возмущался международной политикой – его все возмущало в нашей жизни, он не видел в ней ничего хорошего! Гитлер, несомненно, сговорился с французами и англичанами, японцами и итальянцами, турками и поляками – не дальше как следующей весной на нас со всех сторон обрушатся. А в партии происходит бонапартистский переворот, реставрация разновидностей царизма – вот как он расценивает наше время. О, эти хитро прикрытые революционными фразами обманутые массы и не подозревают, куда их поворачивают, но его, Журбенду, не провести! Когда война разразится, сбросят маски и скажут: сила ломит и соломинку, надо уступать. И все раскрутится назад: заводы – капиталистам, земля – помещикам, а императорские регалии – владыке. И будем, будем называть «ваше величество» того, кто сегодня объявляется товарищем, совершится это, ибо непрерывно подготавливается, все катится в эту сторону!..

Он замолчал, устрешенный нарисованной им жуткой картиной.

– Чепуха! – сказал я, воспользовавшись передышкой. – Не верю ни единому вашему слову. Вы клеветаете на наше время!

– Вы считаете, что все нормально в стране? – спросил он со злой иронией. – По-вашему, в датском королевстве нет ничего подгнившего?

Нет, я не считал, что все нормально. Если я, воспитанник советской власти, даже не представлявший, что можно существовать вне ее, сидел в советской тюрьме и вместе со мной сидели десятки тысяч таких, как я, значит, не все было нормально в стране. И я отлично видел, что диктатура рабочего класса, созданная революцией, понемногу превращается в личную диктатуру. Но для меня это было болезненным извращением исторического процесса, злой хворью развития, не поворотом вспять, как померещилось Журбенде. Земля оставалась в руках народа, созданную промышленность просто технически невозможно было уже передать в частные руки, классовые различия стирались с каждым годом, дорога к образованию была равно открыта всем, стремящимся к нему, страна богатела, наливалась производительными силами, совершенствовала культуру. Нет, завоевания революции не пропали, они поднимались ввысь, развивались, уходили в глубину. Да, конечно, в организм нашей страны-подростка проникла какая-то зараза, скоро с ней справятся, не может быть, чтобы не справились. Но подросток, и болея, продолжает расти, он постепенно превращается в могучего мужчину, он осуществляет то, что изначально заложила породившая его революция, – нет, она не погибла, она продолжается!

Журбенда, похоже, и не слушал моих возражений. Для него они означали не больше чем сотрясение воздуха.

– Гибнет революция, – повторил он с отчаянием. – И есть лишь один способ ее спасти – ужасный способ... У меня леденеет сердце, когда я думаю о нем, но другого не дано...

– Не понимаю вас, – сказал я.

– Знаете, почему революция погибает? – спросил он, обращая ко мне горячее побагровевшее лицо. Нет, вы не можете знать, вы не задумывались так долго и так мучительно, как я. Откуда вам знать? Я сейчас потрясу вас до глубины души. Ужасная диалектика играет нашим существованием, невыносимая диалектика – революция должна погибнуть оттого, что мы слишком уверовали в нее! О, если бы мы меньше отдавали ей сил, как бы она развивалась!

– Это не диалектика, а софистика! Вы играете неумными парадоксами.

Он нетерпеливо махнул рукой. Он по-прежнему не хотел слушать моих возражений. Он следил лишь за бешено несущейся своей мыслью. Слепая вера, ничего серьезного, кроме веры. Так некогда царизм тупо верил, что шапками закидает японцев, и ведь мог закидать, надо было лишь как следует подготовиться, реальных силенок хватало – нет, ограничился одной верой, ему и всыпали по шее!

– К чему вы клоните? – сказал я, теряя терпение. – Нельзя ли покороче.

Он схватил меня за руку, снова умолял не перебивать. Он будет короток, он будет предельно короток. Итак, вера! Вера в мощь революции порождает ужаснейшее бездействие, непростительное легкомыслие. Вера в то, что нынешний НКВД ни в чем не отличается от старой ВЧК, превращает злодеяния в достойные поступки. Вот корень зла – вера, фанатическая вера! Этот корень надо выдрать из недр души, иначе гибель! Пусть лучше кровь сомнения, боль прозрения, чем сломанные кости при падении в пропасть! Страна неотвратимо катится под уклон, но никто не верит, что под уклон. Все так постепенно, к тому же – пышные фразы о полете вверх! Выход один – надать скольжению вниз такого толчка, чтоб люди в страхе схватились за тормоза! НКВД истребляет революционеров, а страна верит, что идет выкорчевывание гнильи. Так помочь, помочь НКВД, заставить его совершить такие деяния, чтоб усомнились дураки, в ужасе отпрянули умные! Тебя арестовали по подозрению? Немедленно признавайся во всем, в чем заподозрили, навали на себя еще, обвини своих знакомых в чудовищных преступлениях, клеветы направо и налево, пусть разят направо и налево! А если следователи усомнятся, обвини и их в пособничестве врагам, истошно ори, что они в душе предатели. Внеси ужас безысходности и в сердце судей, чтоб они не смели не поверить тебе, не смели тебя оправдать. И пусть этот ужасный процесс как пожар охватит всю страну, тогда кинутся его тушить. На снедающий туберкулезный жар обычно не обращают внимания, пока не становится слишком поздно, но на открытый огонь несутся отовсюду. Ни перед чем не останавливаться, меньше всего заботиться об логике, любой абсурд

годится, чем абсурднее, тем сильнее! Обвини в агитации немого, безрукого в диверсии, безногого в терроре, слепого в писании листовок, мать десятерых детей в шпионаже. Героя Социалистического Труда в саботаже, Героя Советского Союза в измене – это да! Говорю вам: чем нелепее, тем сильнее! Чем хуже, тем лучше! Иного пути спасения нет!

Он уже не говорил, а кричал, закатывая глаза. Когда он на несколько секунд замолк, измученный собственным криком, я отстранился от всего, что он сказал, первым попавшимся возражением:

– Безумец! Да понимаете ли вы, чем это лично вам грозит? Вас расстреляют после первого же подобного донесения!

– Да! – снова закричал он. Лицо его озарилось дикой восторженностью, он поднял вверх глаза, словно молясь: – Да! Меня расстреляют первого, я это знаю. А я потяну с собой в могилу еще сотню невинных, чтоб тысяча оставшихся живых взялась за ум! Теперь вы понимаете, почему я стараюсь раздражать тюремное начальство? Пусть оно присматривается ко мне, пусть записывает, что я не разоружился, что враждебность моя выпирает наружу – все это пригодится! Все это пригодится, говорю вам! Когда простачок, свой человек заговорит о страшных свершенных им делах, ему могут и не поверить, с этим приходится считаться. Но человеку, о котором точно знают, что он непримиримый враг, такому человеку верят во всем плохом, такому верят!

Я поднялся. Он тоже встал. Минуту мы всматривались друг в друга с ненавистью.

– Вы самый опасный преступник из всех, каких я знаю, – сказал я. – Вы концентрированный сгусток того зла, от которого будто бы хотите нас избавить. Я не желаю вас больше знать. Не смейте подходить ко мне, разговаривать со мною!

– Уж не собираетесь ли выдать меня энкаведистскому правосудию? – спросил он, зловеще посмеиваясь, – Валяйте! Надо же когда-нибудь начать, вот и начнем с наших с вами очных ставок распутывать сеть, в которой, надеюсь, откроется богатейший улов...

– Я выдал бы вас только психиатру! – сказал я. – Но психиатры пока, к сожалению, не интересуются такими, как вы!

Я побежал вниз. У меня дрожали руки, тряслись ноги. На краю полузасыпанной ямки, сидя, дремали Анучин и Витос. Я схватил лопату и с ожесточением набрасывал песок на носилки. Вдали показался Владимир. Анучин тоже взялся за лопату. Витос, зевая, подошел ко мне.

– Что с вами? На вас лица нет.

– Нет, ничего! – сказал я. – Пospорил с Журбендой. Он объяснял, почему острит при разговоре с начальством.

У Витоса засверкали глаза.

– С Журбендой спорить бесполезно. Таких надо бить палкой по голове. Говорю вам, он – гад!

Нас уводили в крепость, когда солнце, покружившись над лесом, повисло над морем. Вечер весь был напоен глубоким, радостным сверканием синей воды. Мы вышли на лесную дорожку, разморенные от теплоты и свежего воздуха, сонные, как удавы. С краю в нашем ряду шагал Журбенда, я иногда взглядывал на него. Он двигался спотыкаясь, жалко улыбался, что-то шептал себе под нос. Я знал, что он шепчет то самое, о чем недавно кричал: «Революция погибает! Революция погибает!»

В 1941 году, вскоре после начала войны, уже в Норильске, Журбенду перевели из лагеря в тюрьму. Провокатор Кордубайло, о котором я еще поговорю в другом рассказе, только что окончил свою доносительскую деятельность. Журбенда подхватил его страшную эстафету. По оговорам Журбенды осудили человек двадцать. До сих пор не могу понять, почему он пощадил меня.

## **На Секирной горе в скиту Савватия Соловецкого**

Мы изнемогали. Свежий воздух переставал радовать, в нем дыхание моря и леса заглушалось едким потом наших обессиленных лет. Многие, добредя до площадки будущего аэродрома, сразу валились на песок – только брань майора Владимирова и угроза монастырского карцера заставляли подниматься на ноги. Некоторых на обратном пути в соловецкий кремль

тащили соседи по ряду, без помощи они не могли передвигаться. Как-то вечером старый большевик Ян Витос присел ко мне на нары и пожаловался:

– Знаете, Сережа, раньше было изречение: отдать богу душу. И вот мне кажется, я душу кому-то отдал, возможно, правда, не богу, а дьяволу. Дьявол сегодня пересилил бога. И, уже лишенный души, еще ползаю по земле – не знаю, не понимаю, не чувствую, кто я, куда иду, почему стою, зачем стараюсь ковырять лопатой песок... Я еще живой, но уже умер, такое странное состояние, когда без души...

Я не знал, что отвечать на горестное признание Яна Витоса, ему недавно перевалило за пятьдесят, он виделся мне старцем. И хоть сам я был измучен до того, что после работы даже громко говорить не мог, только шептал, я страдал за Витоса, он был вдвое старше меня, наверно, ему доставалось больше моего.

А мой новый сосед с другой стороны нар, мужиковатый по виду Роцин, до революции учитель латыни в гимназии, совмещавший эту профессию с подпольной революционной работой, утешал Яна Витоса таким мрачным утешением, что слышалось оно хуже приговора:

– Не дрейфь, Ян! Помни – нет такого положения, чтобы хуже его не было. Наверх высоко не взобраться, наверху пустота, вакуум, в общем, ничто. А бездна безгранична. Мы все сегодня доплыли до камеры. Не уверен, что завтра удастся. Зачем же мне терзаться сегодня, если завтра будет хуже? Я поберегу огорчение на завтра. Из тебя не душа ушла, а дух ослабел, Ян. Чтобы поднять твой поникший дух, прочту тебе и Сергею одну из эклог Вергилия, очень толковая вещичка – действует лучше лекарства.

И, откинув голову на вонючую соломенную подушку, Роцин звучно скандировал древнего поэта, то возвышая, то утишая голос. И хотя я не понимал ни слова, чтение было так выразительно, что я примысливал себе яркие картины встреч и разлук, страстей и печалей, признаний в любви и проклятий.

– Роцин в нескольких предварительных фразах известил нас, о чем трактует эклога. Витос знал латынь еще меньше моего, он пришел в революцию крестьянским парнем, служил в отрядах чека, дослужился до сотрудника самого Дзержинского, исправно искореняя контрреволюцию, не нашел времени хотя бы на нынешнее среднее образование, не говоря о классическом. Зато он говорил «интеллигентней» латиниста Роцина, тот, озорник и любитель хлесткого словечка, матерился столь изощренно, что меня подмывало записать и запомнить удивительные выражения, только ни карандаша, ни бумаги не было, а голова не вмещала всего, на что горазд был бывший учитель гимназии, подпольщик-большевик, ныне террорист и шпион, продавший по случаю японцам Сибирь за тысячу иен, а Россию с Украиной немцам за пару сотен марок – что-то вроде этих цифр Роцин хладнокровно называл, когда спрашивали о его преступлениях.

Страстные буколики Вергилия и на меня, и на Витоса, хоть мы не поняли в них ни слова, произвели то самое действие, какое пообещал Роцин, – мы отходили душой и телом.

– Ты ученый, – с уважением сказал Витос. – Верно, что ты самому Бухарину ставил плохую оценку по латинскому?

Роцин смеялся. Нет, оценок не было. Бухарин у него не учился. Но как-то они сидели в президиуме одного собрания и Николай Иванович написал реплику по-латыни в ответ на чье-то выступление и переслал ее Роцину. Реплика была остроумная, но две ошибки в латыни пришлось подчеркнуть, Бухарин потом сокрушенно качал головой.

– Значит, завтра может быть хуже? – сказал я, – Что будет хуже?

Роцин сказал, что нас куда-то отправляют, ждут пароходов из Архангельска, так ему объяснили знакомые из Соловецкого лагеря. Лагерь в стороне от тюрьмы, но лагерные работают и в тюрьме на подсобках, он уже встречался со многими. Соловки очищаются от заключенных, здесь планируют военное поселение. Администрация, пока нас не увезли, торопится закончить аэродром, но строительство еле идет. Ходит слух среди лагерников: Скачков, комендант тюрьмы и лагеря, сказал, что виной тайный саботаж части заключенных, их надо выискать и наказать.

– А как наказать? – допытывался я. – И разве не ясно, что мы после трех лет тюрьмы вконец обессилели?

– Все ясно, – Роцин равнодушно зевнул, – Но ведь и аэродром надо закончить, пока мы еще здесь. Думаю, часть заключенных для одушевления остальных срочно подведут под новый срок, саботаж легко навесить каждому доходяге, а кое-кому влепят и вышку – как было в прошлом году

на Секирке. Скит святого Савватия, зачинателя Соловецкого монастыря, отлично приспособлен для расстрелов – без суда и следствия, просто ткнут в тебя пальцем – и приговор! Я оборотился к Витосу:

– Ян Карлович, вы старый чекист, возможны ли такие дела?

Он пожал плечами:

– Крайности... Но с другой стороны... Роцин правильно припомнил Секирку. Вы ведь слышали, что там.

– Да, я слышал о расстрелах на Секирной горе. Лагерники рассказали нам, тюремным зекам, когда мы вышли из камер на строительство аэродрома, что происходило в ските Савватия. Весной прошлого года в Соловках появилась комиссия, затребовала личные дела заключенных в тюрьме и лагере, отобрала больше четырехсот человек. И однажды утром всех отобранных вывели на площадь, построили, пересчитали, посадили на машины и повезли на Секирную гору. А там всех расстреляли. Лагерники копали могилу, они многих расстрелянных знали, и потом удивлялись, по каким признакам отбирали на казнь: больше всего, конечно, было политической «пятьдесят восьмой», но и бандитов из «пятьдесят девятой» прихватили, попадались и бытовики-малосрочники, которым до воли оставалось всего ничего. «Для счета брали, привезла комиссия контрольную цифру в командировку на тот свет, и хватали, чья фамилия приглянулась, выполняли план». Об одном лагернике говорили, что его тоже отобрали на Секирку, но по ошибке «замели» однофамильца, когда дознались, что расстреляли другого, махнули рукой – живи, парень, раз пощастило, операция закончилась.

...Должен отвлечься. Впоследствии я узнал, что комиссии по расстрелу заключенных весной 1938 года появлялись во всех лагерях и, наверно, во всех тюрьмах. И везде квота расстрелов фиксировалась заранее – видимо, из центра, а для выполнения «плана» выбили, бывших оппозиционеров, и обвиненных в терроре, шпионаже и уголовников, и даже бытовиков и священников, и просто ослабевших, и «отказчиков» от работы – этих комиссии подсовывала администрация, чтобы избавиться от нежеланного контингента. «Пятьдесят восьмой» все же даровалась особая привилегия на расстрел, их было всего больше. В Норильске, где я прожил 18 лет, весной 1938 года было расстреляно около 500 лагерников, в основном – политические. Один из попавших в списки на расстрел, Мурахтанов, рассказывал мне, как избежал казни:

– Расстрелы уже шли по сотне, по полторы в сутки, ну, мы, натурально, тревожились в бараках – кого завтра вызовут? Я-то не психовал, всего пять лет дали, уже три отсидел, да и геолог, нужная специальность, зачем им я? А вечером нарядчик говорит: «Я сегодня – приказали – твое дело отобрал, так что завтра тебе на луну – готовься». В эту же ночь, в ранний развод я дернул из Норильска. Тундру я знаю хорошо, из припасов взял только сухари и сахар, и алло на восток. А в горах Путорана запутался среди болот и снежников. Дней через десять меня отыскала погоня с собачками. Ну, навесили тумачков, рожу раскровенили и притащили назад. А здесь уже никаких казней, расстрельная комиссия улетела обратно, только суд за бегство восстановил уже отсиженный срок – снова пять лет вместо оставшихся двух. Так я спас себе жизнь за небольшую плату – три дополнительных лагерных года.

Я впоследствии прикидывал, сколько же казней без суда и следствия совершилось среди отбывавших срок заключения в ту страшную весну 1938 года, вскоре после суда над «правотроцкистским блоком» Бухарина, Рыкова и других. Если сохранить всюду то же соотношение, что в Соловках и Норильске, между числом заключенных, оставшихся в тюрьмах и лагерях, и выдернутых из них на казнь, то получается, что около 500-700 тысяч заключенных в течение одного-двух месяцев, без нового суда, без официального приговора, без права обжалования, даже без предварительного извещения, были внезапно выведены из мест заключения и расстреляны. Раньше говорили, что политика – искусство мыслить миллионами. Для Сталина казни меньше миллиона людей казались недостойными его размаха Знаменитая пирамида из черепов, наваленных Тамерланом, предстает крохотной кучкой костей рядом с горами голов, вознесенных сталинскими палачами по его приказу.

...Слухи о том, что готовится наказание нерадивым, быстро обрастали убедительными подробностями. Лагерники передавали нам, что из Кеми на пароходе (Соловецкий лагерь особого назначения) прибыло новое подразделение стрелков с оружием – к чему бы? И своих вохровцев на Соловках хватало, не иначе особое задание, что-то вроде спецотряда. Эти терзали нас, мы лезли из

кожи, чтобы выполнять производственную норму, но прыгнуть выше головы не могли. Как-то я с ужасом убедился, что поднять лом еще способен и держу его не роняя, но бить им по каменистому грунту, чтобы выковырять оттуда небольшой валун, уже не в состоянии. «Дохожу», – с горестью подумал я о себе. Всего несколько лет назад, до ареста, я встречал жену на улице и нес ее на руках на третий этаж, перепрыгивая через две ступеньки – а она все же весила больше десятка ломов, – куда же подевалась сила, которой я гордился? Может быть, это тюремное словечко «дохожу» математически точно формулирует оставшийся отрезок жизненного пути? Но мне еще нет тридцати, разве это конец жизни? И я пересиливал себя, остервенело бил и ломом, и киркой вокруг валуна, но все же не высвобождал его из гнезда, в коем он покоился ровно десять тысяч лет, с последнего оледенения, так разъяснил мне знавший все на свете Хандомиров. Мы с ним изнемогали на пару вокруг этого треклятого валуна.

А затем произошло то, чего с таким страхом ожидали. Утром никого не вызвали на развод на монастырскую площадь. В камерах скрипели двери, лязгали запорные железные полосы и замки. Тюремные надзиратели со списками в руках отбирали из камер внесенных в списки и переводили в другие камеры. Из нашей вывели троих – Рощина, Витоса и меня. Новая камера, бывшее монастырское служебное помещение, вмещала человек двадцать. Рощин вытянулся на койке и бодро объявил:

– Итак, на работу сегодня не пойдем. Люблю понежить косточки перед новым этапом.

– Даже если этап на луну? – съязвил Витос.

– На луне, Ян, еще не бывал, но надежды не теряю, – отозвался Рощин.

– И думаю, даже в небытие лучше проникать отдохнувшим, а не обессиленным. Недаром Ювенал умолял, чтобы *mens sana in corpore sano*, то есть чтобы в здоровом теле оставался здоровый дух.

Лишь в полдень начался вывод заключенных на стройплощадку. Нас, отобранных, не вызывали из камер. И мы, не видя – на окнах висели щиты-«намордники» – слышали гул развода: полторы тысячи человек шумели на площади – наверно, допытывались один у другого, куда подевались отобранные. Зато после обеда нас повели на прогулку. Всего, так я прикинул, отобрали человек сто. Прогулка была необыкновенной – не пять или десять минут, как все месяцы до того, а минут тридцать, у меня замлели ноги от долгого хождения по монастырской площади. И хоть шли мы строем по четыре в ряд, два стрелка, конвоировавшие нас, не кричали, чтобы не сбивали шаг, не нарушали равнения, не переговаривались. И мы, шагая вдоль угрюмых стен Преображенского собора, понемногу из строя превратились в толпу и уже не приглушали голосов, а свободно перекрикивались из конца в конец. А два наших стрелка соединились с третьим чужим и мирно курили, поглядывая, не пытается ли кто слишком близко подобраться к запретным воротам наружу. Но мы к ним не приближались, ворота открывались только во время развода.

Скоро мы поняли, откуда взялся третий стрелок. У стены впереди нас прогуливался одинокий заключенный, его опекал этот третий стрелок. Заключенный хромал, еле плелся. Наш превратившийся в кучку строй догнал его и на время прикрыл – стрелка это не волновало, он понимал, что «спецзаключенный», так мы мигом окрестили его, никуда не денется. Рощин быстро сказал мне и Витосу:

– Я знаю его. Прикройте меня, хочу с ним поговорить.

Мы сбавили шаг, другие тоже замедлили движение. Несколько минут Рощин беседовал со «спецзаключенным», потом мы снова разошлись – он остался позади, мы вышли вперед.

– Я с ним встречался на воле, – сказал нам Рощин в камере. – На одном из московских открытых процессов он показал, что, работая в торгпредстве в Берлине, устроил тайную встречу Троцкого с Пятаковым в маленьком курортном городке. А Троцкий на параллельном процессе за рубежом предъявил документы, что в это время находился на пароходе, отвозившем его в Мексику, и, стало быть, тайные его свидания с Пятаковым в Европе – враки. Моего приятеля, – Рощин назвал известную фамилию, после процесса в Москве дополнительно к сроку физически обработали – был красавец, здоровяк, стал инвалидом. А чем он виноват? Свидание надо было приурочить к заграничной командировке Пятакова, а эксперты НКВД не позаботились точно выяснить, где тогда находился сам Троцкий. Одно хорошо – не расстреляли его, как Пятакова и других. Хоть и инвалид, но живой.

Вероятно, этот разговор Рощина со своим знакомым был первым известием для нас,

сидевших в закрытых тюрьмах с 1936 года, что московские процессы вызывают за рубежом сомнения и противодействие. Впрочем, на нашей судьбе это отразиться не могло, после самого крупного из процессов – 1938 года – и последовавших за ним расстрелов в тюрьмах и лагерях наступило некоторое послабление. Даже кормить стали если не лучше, то чуть больше. Гнев тюремного начальства, на наш неэффективный труд был важнее, чем промахи прокуроров на недавних процессах. Что нас ждет завтра? Зачем нас сконцентрировали в отдельных камерах? Почему не отправили на работы, как всю остальную тюрьму? Ответ на эти вопросы тревожил даже ироника Рощина, взволнованного неожиданной встречей со старым знакомым.

Следующее утро дало ответ.

И в это утро все камеры оставались закрытыми, ни из одной не вывели на работу. На площади перед Преображенским собором вдруг раздались голоса охраны, грохот машин и лай собак. Во всех камерах заключенные кинулись к окнам. Деревянные «намордники» снаружи решеток закрывали видимость, но все знали, как в экстремальных случаях преодолеть это затруднение: двое заключенных склонялись в пояс у стены, самый высокий камерник вскакивал на их спины – какой-то клочок двора всегда удавалось разглядеть, если охранник с вышки не грозил выстрелами тому, кто чуть выше «намордника» показывал лицо. В это утро на вышках каменело спокойствие, стрелков не волновало, что в камерах нарушается режим. Будь день обычным, уже гремели бы выстрелы по окнам, и не один «намордник» продырявили бы пули, и не одно стекло разлетелось вдребезги. Необычность дня, мы это сразу поняли, заключалась не в том, что на площади шумела охрана, гудели машины и заливались псы, все это, хоть и не такое грохотное, совершалось и раньше. Необычным было то, что нам не мешали увидеть совершавшееся на площади. Во всех камерах поверх щитов появлялись лица заключенных – с площади и с вышек ни одному не командовали убраться, выглядывание над щитами заранее программировалось важной частью разыгрываемой сцены. Начальник тюрьмы, капитан госбезопасности Скачков, переведенный недавно из Москвы на Соловки, был мастер ставить впечатляющие спектакли (по слухам, какой-то спектакль ему не удался, почему его и убрали из элитной Лубянки в провинциальный, хоть по-своему и знаменитый Соловецкий лагерь особого назначения).

В нашей камере дылда «впередсмотрящий» только взволнованно оповестил нас, что на дворе «тьма попок и машин, псов тоже хватает», как двери распахнулись и дежурные велели собираться с вещами. Мы торопливо хватали свой тюремный скарб, напяливали зимнюю одежду – летней не выдавали, – совали в мешки, что не надевалось и не запихивалось в карманы, и становились у двери, готовые на выход – не на работу, на работу с вещами не вызывают, а в новое существование или несуществование, как кому воображалась обстановка.

– По двое! – приказал выводящий, и мы зашагали по длинному монастырскому коридору.

На площади уже стояли человек двадцать, вызванных раньше нас, мы построились за ними. За нами становились другие заключенные, все, как и мы, с вещами – на этап, а не на работу, это было уже несомненно. Нам не объявляли куда, а спрашивать было бесполезно, вопросы на разводах не только воспрещались, но и наказывались.

Мы сами, по признакам, видим каждому опытному заключенному, старались установить, куда же нас увозят. Признаки складывались в нехорошую картину Монастырскую площадь оставили грузовики, я насчитал их с десяток. Грузовики вытягивались в линию – на первом, на последнем и двух средних сидела на скамьях охрана с винтовками, человек по десяти в каждом, а на переднем и последнем еще стояло по пулемету, на переднем дулом назад, на заднем дулом вперед. В каждой машине с охраной бесновались псы – рослые, рыже-черные немецкие овчарки, их еще не переименовали в среднерусскую породу. Но характер был тот же – хорошей выучки злоба, готовность каждого, на кого укажут, валить на землю, впиваться в горло, молчаливо, самозабвенно калечить. Псы нервничали, они предчувствовали важное дело и терзались от нетерпения показать, как прекрасно обучены. Их яростный лай, который не могли либо не хотели запретить поводыри, разносился по замершей в ожидании площади.

Между машинами с охраной размещались по два пустых грузовика. Мы знали, что они предназначены для нас, и ждали приказа садиться. Приказа долго не поступало. В тюрьме, над «намордниками», в нас впивались десятки глаз оставшихся в камерах товарищей. Рошин громко проговорил:

– А вот у Данте в адских картинах собачки не использованы, а ведь как усиливают пейзаж!

Стоны мучеников, по-моему, не так впечатляют, как страстный лай этих добрых хвостатых созданий, готовых каждого растерзать.

Я пробормотал, что у чертей тоже хвосты, а мстительно вопить, терзая грешников, они умеют не хуже псов. Роцин вытянул шею, осмотрелся и уверенно предсказал:

– Первое действие идет к концу, скоро опустится занавес. Я вижу его благородие капитана Скачкова, а рядом, естественно, бравого майора Владимирова. Майор уже натуживается, наливается кровью, сейчас завопит: «Все на машины! Шаг вправо, шаг влево, пеняй на родную мать, что родила!»

Но я не видел ни Скачкова, ни Владимирова. Приказ на машины отдал начальник конвоя, он был из незнакомых. Машины заполнялись не сразу, а поочередно. Я полез во вторую, Роцин был вдвое старше меня, но расторопней, он успел в первую. Я подсобил Витосу, он – уже из машины – помог вскарабкаться мне. Когда грузовики набились, тот же незнакомый начальник скомандовал: «Всем садиться на пол!» Это было еще трудней, чем лезть с земли на высокую платформу – скамей в наших машинах не было. Я как-то ухитрился положить под себя мешок с вещами и вжаться спиной в угол платформы, но ноги убирать было некуда и на них уселся бывший экономист Ян Ходзинский, он был, по его же определению, «мелкого тела» и соответственно веса. Другой Ян – Витос – мощно жал спиной мое плечо, но я не огрызался, ему было хуже, на нем чуть не лежал здоровый верзила.

Когда последнюю машину заполнили и на площади не осталось заключенных, раздалась новая команда и стрелки на своих машинах торопливо сняли с плеч винтовки и наставили их на наши грузовики. Щелканье затворов добрую минуту поглощало все иные шумы на площади, его не могли не слышать и в камерах, где жадно ловили все звуки за окнами. Ворота раскрылись, и первая машина с пулеметом дулом на нас пошла наружу. Колонна грузовиков за воротами на какую-то минуту замерла. Оставшиеся на земле охранники суетились, проверяя напоследок запоры платформ и все ли сидят как приказано – на задах, а не на корточках, охрана не терпела «корточкового» сидения, оно давало лишь видимость неподвижности, оставляя нехорошую возможность мгновенно вскочить и броситься в бег. Витос с тоской сказал мне и Ходзинскому:

– Теперь – куда повернут? Если направо, то в порт грузиться на пароход. Если налево, то Секирная гора – и шансов никаких!

Ходзинский резонно возразил:

– Если бы в порт, то везли бы без пулеметов и без большой охраны.

Передняя машина повернула налево, за ней все остальные, кто-то горестно вздохнул на платформе:

– Секирка!

Я хорошо понимал, что у всех заключенных – и на нашей машине и на той, что шла впереди, и на тех, что, следовали позади, – возникла одна мысль: нас везут на расстрел, как всего лишь год назад повезли и расстреляли на Секирной вчетверо больше, чем нас сегодня, таких же заключенных тюрьмы и лагеря. И я допускал даже, что оснований расправиться с нами больше, чем с теми, прошлогодними. Тех вытаскивали из камер, где они сидели смиренные, бессловесные, покорно выполняющие все предписания сурового режима, их карали без новой тюремной вины. А нас объединили общей виной, мы плохо работали, нам легко предьявить саботаж. Как опровергнуть его? Заявить, что обессилели? Но тюремные врачи установили, что мы здоровы и трудоспособны, кому поверят – им, своим, или нам? Обвинение всегда сильнее оправдания, каждый из нас это знал.

И я, как все в грузовике, понимал, что занавес опускается, нет больше шансов на спасение. Но если покорной мыслью я постигал, что рок сильнее меня и обстоятельства складываются трагически, то всеми чувствами, всеми клеточками тела, всей своей молодостью протестовал против того, что предвещала мысль, все во мне безмолвно надрывалось – не за что, невозможно, не будет! Я даже почувствовал досаду от того, что не верю грозной очевидности и не впадаю в отчаяние, как надо бы по логике. Чтобы убедить самого себя, что логика и надо мной властна, я сосредоточенно, сочинял предсмертные стихи, твердо зная, что если кто из соседей от меня их и услышит, то никто не прочтет, меня они не переживут. Стихи получились плохие, сразу забылись, только две последние строчки остались в памяти, в них было какое-то утешительное самообещание:

Я плохо жил, но я умру достойно –  
Без плача, без проклятий, без мольбы.

Закончив со стихами, я стал разглядывать товарищей в машине и обнаружил, что, хотя все думали об одном, внешне вели себя очень по-разному. Один пожилой мужчина, я его лица не видел, прислонил голову к кабине водителя, плечи его тряслись, – наверно, беззвучно плакал. Трое его соседей тихо переговаривались, один из них улыбался – правда, довольно хмуро. Большинство просто молчало, двое заснули, приткнувшись к соседям. Ян Ходзинский фальшиво напевал «У самовара я и моя Маша». Я и на воле не выносил оскорбительно-примитивного мотивчика и бездарного текста этой самой популярной песенки середины тридцатых годов и попросил Яна «сменить пластинку». Он охотно затянул что-то другое, в заунывном пении повторялся рефрен: «Я наелся, как бык, сам не знаю, как быть». Мрачней всех выглядел Ян Витос. Я что-то ему сказал, он не ответил. Я оставил его в покое и стал разглядывать дорогу.

Мы мчались в великолепном лесу. Он каждые полсотни метров преображался – купки берез сменялись соснами, в сосны вторгались дубы и ясени, мрачная ольха переходила в мрачные ельники, и снова возникали сияющие березняки. Весна на соловецком севере очень долгая, еще не полностью перешла в лето, и лес – молодые нарядные деревья – и смотрелся, и шумел на ветру по-весеннему. Я дышал жадно и полно, все было хорошо в этом лесу – и облик его, и источаемый им аромат. Грудь не могла насытиться, глаза не могли насмотреться. Зосима и Савватий, отцы соловецкие, понимали Бога. Великий Пан, лохматый дух земли и травы, воздуха и небес, безраздельно царствовал в местечке, какое они выбрали для скита.

А затем показался и сам скит. Меньше всего он походил на те убогие строения, какими рисовались древние монашеские скиты во многочисленных пустынях. На холме высилось здание маяка, неподалеку жилой дом, по виду – возведенная еще в прошлом веке монастырская гостиница, ныне переоборудованная в тюрьму. Грузовики с заключенными въезжали внутрь ограды, машины с вооруженной охраной оставались снаружи. Только бесившиеся собаки – им приказали спрыгнуть на землю – нарушали торжественный покой ампиричного монастырского убежища. Мы выстроились во дворике, нас разбивали на мелкие группы, разводили группы по камерам. Здесь не было огромных помещений, как в главных корпусах монастыря, одиночные комнатки бывшей гостиницы вмещали не больше трех-пяти нар. В камере, куда я попал, из знакомых был только Витос, даже лиц двоих других не помню. Витос невесело сказал мне:

– Отдохнем перед последним этапом, – и растянулся на нарах.

– Ужасно есть хочется, – пожаловался я.

Мне всегда хотелось есть, а в это утро нам к тому же не выдали завтрака. Даже грозное упоминание о последнем этапе не утишило голода. Я тоже лег на нары и попытался уснуть, сон в какой-то мере компенсировал нехватку еды. В тюрьме нам не разрешалось спать днем, за непослушание могли и прогулки лишить, и отправить в карцер. Там, в моей ставшей чуть ли не любимой камере № 254, я приучился спать, демонстрируя усердное чтение: лежа на нарах – это разрешалось, – водружал на грудь книжку и, прикрывая ею лицо, мирно дремал. Здесь книг не было, но и не прозвучало запрета спать. Я заснул, только опустил голову на соломенную подушку.

Меня разбудил толчок в плечо. Надо мной стоял дежурный вохровец.

– Бери еду! – приказал он и протянул железную миску таких огромных размеров, что в ней могли поместиться пять полных супных тарелок.

Я жадно схватил миску. В огромную миску плеснули на доньшко черпачок каши, зато это было наше любимое тюремное блюдо – чечевица. Я чуть не проскреб доньшко, отдирая от эмали коричневые следы проглоченных зернышек. Лучше было бы вылизать миску, но на это я не осмелился и только со вздохом сказал Витосу:

– Некогда праотец наш косматый зверолов Исав продал свое право первородца брату-близнецу Иакову. Исав все кляли за этот легкомысленный поступок. Но я поступил бы как он. Чечевица лучше, чем первородство, если ее наложат в миску вдоволь.

– Плохой признак – много еды, – ответил Витос. – Такие привилегии даются знаете кому?

– Знаю, Ян Карлович. Возможно, вы правы. Но я не доспал. После еды хорошо вздремнуть.

Спать, однако, не пришлось. Снова отворились двери – и дежурный вызвал на прогулку. Все

камеры были растворены, отовсюду выходили на дворик. Он был гораздо меньше монастырского, не для прогулки сразу ста человек, мы построились в колонну и зашагали вдоль стен. Два стрелочника – по обычаю, впереди и позади колонны – сперва следили за порядком, потом порядок им надоел, они отошли от нас. Мы еще пошагали без команды, стали останавливаться, сбиваться в кучки, прислоняться к стенам. Такой прогулки мы еще не знали – вольной толкотни, вольной болтовни, возможности безмятежно постоять, даже прикрыть глаза, наслаждаясь глубоким вдохом и выдохом.

На Савватии, видимо, у стрелков отсутствовали часы – и двадцать законных прогулочных минут прошли, и полчаса, и к часу, по ощущению, приближалась необыкновенная прогулка, а потом пошло и на второй час. Нас стала тревожить такая вольность, мы переглядывались – что случилось? Не готовят ли нам сюрпризы в камерах и потому задерживают во дворе? Стрелки подали команду уходить. Мы повалили в тюрьму, радуясь благополучному возвращению с прогулки не меньше, чем радовались самой прогулке. Витос шел подавленный и молчаливый, я догадывался, что неожиданные послабления режима его пугают. Я привык верить его объяснениям, но в меня все больше внедрялось сомнение – не слишком ли он все рисует черной краской? Почему людей, с которыми хотят ни за что ни про что расправиться, надо предварительно ублажить едой посытней и дать подышать свежим воздухом подольше? Витос говорил, что такова тюремная практика во всем мире. Практика была нелогична, я отказывался ее понимать.

Вечером нам внесли ужин – все ту же благословенную чечевицу, правда, пожиже, чем в обед. У меня и у двух наших соседей поднялось настроение. Сытным ужином нас еще никогда не радовали, обычно хватало кружки подслащенного чая и хлеба, сэкономленного в обед.

– Мне кажется, нас не будут наказывать, Ян Карлович, – высказал я свои сомнения. – Зачем тогда большая прогулка и усиленное питание? И, наверно, объявили бы заранее приговор.

– Зато Секирная гора, – возразил он. – Местечко известное. А приговор объявляется, если суд. В прошлом году ничего не объявляли тем, кого привезли сюда. Вывели в лес – и пули в голову у выкопанной канавы. Это известно от лагерников, которые рыли и заваливали канавы. Суда не было, Сережа, была расправа. И вина у нас есть, не стройте себе иллюзий – работали мы плохо, норм не выполняли...

Я все же продолжал тешить себя иллюзиями. Впервые за несколько лет мой желудок не напоминал о себе голодным бурчанием, не ныл о пище. Меня потянуло в сон, я вытянулся рядом с Витосом. Не знаю, сколько я проспал, но пробудился сразу и вскочил. Произошло что-то ужасное, оттого так внезапно прервался сон. В камере надрывно храпели двое соседей, Витос сидел на корточках у двери, вдавливая ухо в замочную скважину. Я кинулся к нему, он сделал знак молчать. Я воротился на нары, у меня кружилась голова, сердце гулко било в ребра, вдруг стало тошнить. Витос отошел от двери. Он успел привязаться ко мне и понял, что мне плохо.

– Выпейте, Сережа, – сказал он, протягивая кружку, он всегда запасал в ней на ночь немного воды.

– Что случилось? Неужели выводят? – Я говорил с трудом, зубы стучали о кружку.

– Не знаю. Из соседней камеры кого-то позвали.

– В самом деле позвали?

– Плохо слышно... Мне не понравился разговор дежурных. Их двое, один настаивал, что с этим делом надо кончать, а с каким делом – не разобрал. Они о нехорошем говорили...

– Ян Карлович! – горячо сказал я. Дрожь оставила меня, испуг прошел – я снова владел голосом, – Дорогой Ян Карлович, вы же старый чекист! Вы же знали самого Дзержинского! Для вас нет тайн в вашем бывшем учреждении, вы и сейчас в нем, хоть и не в кабинете, а в камере. Почему же вы дали себе так распуститься? Почему такие страхи? Я столько читал о благородстве руководителей Чека... А у вас получается – банда, у которой одни преступления...

Негасимая тюремная лампочка хорошо освещала его лицо. Он жалел меня. Он готов был посмеяться над моей наивностью, но не хотел чрезмерно пугать. На лице его появилась вымученная улыбка.

– Сережа, вы правы, старые чекисты были благородны, я знал их, сам был таким. Но ведь как мы понимали это слово – благородство? Защита революции – вот было наше благородство. И ради защиты ее готовы были на все, вы понимаете – на все!.. Вы даже представить себе не можете, что

мы могли совершить, если того требовала революция! Ничто не останавливало!.. Победа революции – высшее благо, смысл той нашей жизни!

– Но ведь есть и правда, и справедливость, и совесть, – разве они...

Он презрительно махнул рукой, отбрасывая мои слова, как пущенные в него игрушечные шары.

– Интересы дела – вот единственная правда. Целесообразность, а не какие-то там... Вам этого не понять, вы другое поколение. Вас удивляет мой страх! Он оттого, что я запутался, в чем сегодня интерес и целесообразность. И я лучше вас понимаю, где мы находимся. Здесь все возможно! И все заранее оправданно. Спите, спите, Сережа! Возможно, выживем – и тогда впереди у вас целая жизнь, незачем ее заранее портить трудными мыслями. А мне пора собирать камни, столько их набросал в прошлой жизни! Хватит завалить большую общую могилу, не только мой личный маленький холмик. Выпейте еще воды, Сережа, вы очень бледны – и на нары!

Он тоже лег и больше не ходил выслушивать шумы за дверь. Я думал о нем и о себе, и о том, что это за философская категория «целесообразность», так властно отменившая выстраданные историей правду, совесть и справедливость. Целесообразность – для чего? Для кого? Почему моя маленькая жизнь стала кому-то нецелесообразной? Я никому не делал зла. Почему же кто-то мстит мне, творит мне зло, только зло, одно зло? Древний, всегда печальный, мудрый Екклесиаст, ты говорил, что есть пора разбрасывать и пора собирать камни. Угораздило же меня попасть в пору жестокого камнепада! Ох, сколько их набросали, с каким рвением продолжают бросать! Один камешек швырнул меня наземь. Может, прав Витос – и уже летит второй, потяжелее, – и прямо в голову!

Утром завтрак был так же обилен, как и в первый день. Застарелой жажды есть он полностью не утолил, но и не раздражил аппетита, я даже оставил на потом не четвертушку дневной пайки хлеба, а больше половины.

А после завтрака в коридоре послышались команды, лязгали замки. Из соседних камер выводили заключенных. Шум продолжался недолго, выведенные ушли. Мертвая тишина окостенила тюрьму.

– Первую партию увели, – скорбно сказал Витос, – Следующие – мы.

Прошло минут десять, и раскрылась наша дверь. Вошел корпусной с двумя дежурными.

– Собирайтесь на прогулку, – сказал корпусной.

– С вещами? – спросил я.

– На прогулку, я сказал.

Он нехорошо улыбнулся. Я понял значение его ухмылки. Один за другим мы выходили из камеры. В коридоре присоединялись к нам другие заключенные. На площади нас построили по четыре – человек двадцать, незначительная часть того этапа, что прибыл из монастыря. Кто-то вслух сообщил, что всех сразу вести опасно, может вспыхнуть бунт, а по частям, небольшими партиями – целесообразней. Проклятое это словечко «целесообразность» набрасывалось на меня как взбесившийся пес. Я знал бешеных собак, одна покусала меня в детстве, месяц потом меня ежедневно кололи. От слова «целесообразность» брызгала вонючая пена, как из пасти того пса, что повалил меня на землю и загрыз бы, если бы подбежавший красноармейский командир не выпустил в него всю обойму своего маузера. Витос был прав, он томил себя не пустыми страхами, а предвидел грозное будущее. Сегодня это будущее станет настоящим. Лишь одно смутно удивило меня. Конвой был маловат для двадцати человек, собранных на последний этап: два стрелка с винтовками, третий с револьвером и собакой. Собака злобно оглядывала нас, но агрессивности не показывала, на это, видимо, не было ей приказа.

– Передний, шагом! – приказал старший конвоир. Мы выбрались из ограды, зашагали по лесной дороге. Кто-то горестно прошептал:

– На то самое место!

Мы и без расспросов понимали, какое место подразумевалось. Теперь я всерьез уверился, что иду последнюю в жизни прогулку. Это надо было отметить чем-нибудь, схожим с завещанием. Я оглядывался. Мир был хмур и неприветлив. Солнце пряталось за кронами берез и сосен, вплотную окаймлявшими дорогу. Ветер слегка покачивал листву, деревья шумели протяжно и невесело. В стороне свинцово блеснуло озерко, на холмиках зло алели факелы кипрея. Во мне складывалось торжественное прощание с миром, печальное предвосхищение неотвратимых

событий. Я тихо бормотал новосотворенные строки:

Я жду несчастья. Дни мои пусты.  
Мне жизнь несла кнуты, а не приветы.  
И вот опять – земля, вода, листы  
Слагаются в зловещие приметы.

Стихи мне понравились. Это было неожиданно. Я не любил своих стихов. Созданные, они были всегда хуже тех, какие задумывались. Я временами приходил в отчаяние от неумения ярко выразить на бумаге – или в устном чтении – то, что бурлило, звенело, надрывалось и пело во мне. Несвершенность была главным, что я ощущал в себе. Сегодня свершилось – строчки точно описывали мою последнюю прогулку. Мне даже стало легче на душе, хотя ничего хорошего впереди не открывалось.

Открылась обширная полянка. Старший конвоир скомандовал:

– Привал! Полчаса отдохните. Можно гулять по опушке. В лес уходить запрещаю.

Мы дружно повалились на землю. Я уткнулся лицом в пожухлую траву. От нее исходил томный аромат, я не дышал им, а глотал его. Ко мне подошел Ян Ходзинский с двумя роскошными стеблями кипрея.

– Зачем рвал? Ведь заберут! – сказал я с упреком. Мне стало жаль двух сияющих розовых пирамидок, на земле они были красивей, чем в руках.

– Может, не заберут. Ты заметил? В Савватии другой режим, чем в Соловецком монастыре. Между прочим, в лесу масса голубики. Я уже поел и хочу опять. Пойдем.

– В лес ведь запрещено, – сказал я с опаской.

– Да ведь около опушки, не в глубине. И стрелки не смотрят за нами. Один вообще заснул.

Двое стрелков мирно курили в стороне, у ног одного дремала собака. Третий завалился в траву. Мы с Яном пошли в лес. Голубики и вправду было много. Попадалась и брусника, и даже морошка, но за ними надо было идти подальше – я побоялся. Мы набрали на холмик, синий от ягод. Я рвал и поглощал сочную, немного терпкую голубику, пока не стало невозможно. Ходзинский ушел раньше и лежал в траве. Я искал глазами Витоса, он сидел на другой стороне полянки, там светило солнце. Пересекать всю полянку было лень, я выбрал место помягче, снова воткнулся в траву и задремал. Меня пробудила команда конвоира:

– Строиться по четыре! Быстро, быстро!

Мы строились вяло. Не я один успел поспать, после сна нас разморило. С момента как мы вышли на поляну, солнце пересекло дорогу и теперь садилось в противоположной стороне леса. Не меньше трех часов провели в лесу, прикинул я.

– У тебя вся рожа синяя от ягод, – со смехом сказал Ходзинский, пристраиваясь ко мне в ряд.

У него тоже синели губы. Он к тому же набрал ягод в карманы бушлата, а за пазуху сунул, чтобы не отобрали, и увядающие стебли кипрея. Стрелки видели, что он прячет, но промолчали. Мы тронулись в обратный путь «шажком и перевалочкой». Стрелки и сами не торопились и не понукали нас: передний, задававший шаг, словно забыл, что за ним колонна заключенных, и остановился, закуривая папиросу. Мы тоже с охотой постояли. Рядом со вторым стрелком бежала собака, она не помахивала хвостом, это ей было запрещено по службе, но и не оскаливалась на нас. Третий стрелок пропал где-то позади и не подавал голоса, потом в камере я вспомнил об этом и запоздало удивился – задние стрелки всего больше кричали и грозно командовали не отставать, не оглядываться, не нарушать равнение в ряду.

– Какая прогулка! – восторженно сказал я Витосу, усевшись на нары. – И ведь не было, чего мы боялись!

Витос выглядел озадаченным. Я рассердился. Неужели его не радует, что день прошел хорошо? Нам разрешили поваляться в траве, а не поставили к стенке. Как можно в такой день быть недовольным?

Он улыбнулся. Он был доволен.

– Все же я не понимаю, зачем нас привезли сюда. И это меня продолжает тревожить. Подождем, что будет завтра.

Завтра было то же, что в этот день. Был поздний подъем, была отменная чечевичная

похлебка с куском вонючей соленой трески, была прогулка в лес, где мы снова нажрались голубики – слова «поели до отвала» и «накушались всласть», тем более невыразительное «угостились» решительно не подходило. И надышались вкусного воздуха, и подставляли бледные лица северному нежаркому солнцу, а ночью не по-тюремному крепко спали. И даже Ян Витос перестал вставать с нар и выслушивать у дверей по разговорам охраны в коридорах, что ждет нас впереди.

Так продолжалось дней десять, а потом прибыли пустые грузовики, мы погрузились в кузова и воротились в монастырь. И везли нас обратно без пулеметов, с обычной охраной в десяток стрелков, даже одной машины они не заполнили. И оравы собак, готовых ринуться и терзать, уже не было – так, две-три собачки, больше для видимости охраны.

В монастыре к нам кинулись изумленные товарищи. Меня крепко обнял Хандомиров.

– Черти полосатые, как нас надули!-восторженно кричал он. – Нам же говорили, что вы в штрафных изоляторах и еще неизвестно, выйдете ли оттуда. И сидите на гарантийном пайке – кус хлеба и кружка кипятка в сутки! И грозили, что и нас туда же, если завольним. Ох, как мы вкалывали, как надрывались! Секирная же гора – скорей повалиться замертво, чем туда! А вы там щеки набирали, брюхо отращивали! Дом отдыха вам устроили!

Дома отдыха на Секирной горе нам, конечно, не устроили, щек мы не набрали, брюха не отрастили. Но уже и не шатались от изнеможения. И лом для моих рук снова стал железной рабочей палкой, а не неподъемной тяжестью. И, наверно, рядом с теми, кто оставался в монастыре, выглядели если и не упитанней, то, по крайней мере, не столь бледными и истощенными.

Хандомиров в прежней нашей камере, куда меня и Витоса вернули, дал рациональное объяснение происшествию на Секирной горе.

– Скачков, ребята, устроил блестящий спектакль. Собрал сотню доходяг и отправил вас на поправку, а нам растолковали, что вы ждете суда за саботаж и нам такой же суд грозит, если не выложимся. И две тысячи зеков вкалывали до опупения! А что вас подкормили, а не расстреляли, хоть это было бы еще проще Скачкову, так причиной тому великие «преимущества» нашего социалистического строя. Все у нас совершается по плану, имеется план и в тюрьме. В прошлом году в Соловки спустили контрольные цифры на отстрел – выполнили, получили благодарность и премию. В этом году надо направить на строительство столько-то голов – попробуй Скачков недосчитаться сотни, нагоняй за срыв плана! Мы теперь числимся в программе выдачи, он плановую цифру блюдет. А куда плановая выдача налево или в руки другого конвоя, ему безразлично. Им командует целесообразность, а не мораль. Знает, знает за что сегодня получать премию!

Опять прозвучала эта формула «целесообразность»! Даже Витос согласился, что искал целесообразности на Секирной горе не там, где она таилась.

## **Что такое туфта и как ее заряжают**

В середине июля 1939 года неунывающий Хандомиров дознался, что нас – всю Соловецкую тюрьму и весь примыкающий к ней ИТЛ (Исправительно-трудовой лагерь) – отправляют на большую стройку в каком-то сибирском городке Норильске. Никто не слышал о Норильске, за исключением, естественно, самого Хандомирова. Этот средних лет, подвижный жилистый инженер-механик знал все обо всем, а если чего и не знал, то никогда не признавался в незнании и фантазировал о том, чего не знал, так вдохновенно и так правдоподобно, что ему верили больше, чем любому справочнику.

– Норильск – это новый мировой центр драгоценных металлов, объявил он, – жуткое заполярье, вечные снега, морозы даже летом... в общем, и ворон туда не залетает, и раки там не зимуют, нежный рак предпочитает юг. И Макар телят туда не гонял, это точно известно. А золота и алмазов навалом – наклоняйся, бери и суй в карман. Всего же больше платины, ну и меди, разумеется. Короче, будем нашими испытанными зековскими руками укреплять валютный фундамент страны.

– Вот же врет, бестия! – восхищенно высказался мой новый приятель Саша Прохоров, московский энергетик, года два назад вернувшийся из командировки в Америку и без

промедления арестованный, как шпион и враг народа. – И ведь сам знает, что врет! Конечно, половина вранья – правда. По статистике, у каждого выдумщика вероятность, что в любой его выдумке половина – истина. Математический факт – Хандомиров на этом играет.

Вскоре нам приказали готовиться на этап в Норильск. Нашлись люди, знавшие Норильск больше, чем Хандомиров. Снега и холод они подтверждали, о платине и цветных металлах тоже слышали, но золото и алмазы, валяющиеся под ногами, высмеяли. Мы с нетерпением и надеждой ждали формирования этапа. Два месяца земляных работ у Белого моря вымотали самых стойких. Многие, добредя до площадки будущего аэродрома, валились на песок, и даже мат Владимирова и угрозы охраны не могли поднять их. Тюремные врачи, называвшие симулянтами и умиравших, стали массами оставлять заключенных внутри тюремной ограды. Соловецкое начальство поняло, что хозяйственной пользы из нас уже не выжать, и сотне особо истощенных – мне в том числе – дало двухнедельный отдых перед этапом.

5 августа – радостная отметка дня моего рождения – пароход «Семен Буденный» подошел к причалу, и к вечеру почти две тысячи соловецких заключенных влились в его грузовые трюмы. По случаю перевозки «живого товара» – видимо, новой специализации сухогруза – трюмы были заполнены в три этажа деревянными нарами. Мне досталась нижняя нара, комендант из уголовников решил, что я два раза подохну, прежде чем взберусь на третий этаж, о чем – для воодушевления – и поведал мне. Впрочем, к концу десятидневного перехода по Баренцеву и Карскому морям, а потом по Енисею, я уже с натугой взбирался на вторые нары – поболтать то с одним, то с другим соседом «из наших». На нижних нарах «гужевались» преимущественно «свои в доску», я был среди нижненарных исключением.

В середине августа «Семен Буденный» прибыл в Дудинку – поселок и порт на Енисее. Ночь мы провели в трюме, а ранним утром зашагали колонной на вокзал – крохотное деревянное зданье, от него шла узкоколейка на восток. У деревянного домика стоял поезд – паровозик «из прошлого столетия», окрестил его Хандомиров, и десятка полтора открытых платформ. Мы удивленно переглядывались и перешептывались – подошедшая к вокзалу колонна заключенных была вдесятеро длиннее линии платформ.

– Сегодня узнаем, как чувствуют себя сельди в бочке, – почти радостно объявил Хандомиров, – И в самом деле, чем мы хуже сельдей?

Я так и не узнал, как чувствуют себя сельди в бочке, но что человек может сидеть на человеке – на коленях, на плечах, даже на голове – узнать пришлось. Конвоиры орали, толкали руками и прикладами в спины, для устрашения щелкали затворами винтовок, овчарки рычали и норовили схватить за ноги тех, кто вываливался из пружей толпы, а мы мощно натискивались в платформы: первые старались рассесться поудобней, а когда следующие валились на них, платформа превращалась в подобие живого бугра – вершиной на середине, пониже к краям. Я часто встречал на товарных вагонах надписи «Восемь лошадей или сорок человек». Все в мое время совершенствовалось, устаревали и железнодорожные нормы. Но что на платформу, где и сорока человек не разместить, можно впихнуть их почти двести, узнал впервые в Дудинке.

Конвой занял последнюю платформу – целый лес винтовок топорщился над головами. В середине ее разместили станковый пулемет, он покачивался, наставя на нас вороненое дуло.

Уже шло к полудню, когда состав тронулся на восток. Деревянный домик вокзала скрылся за холмиком. Мимо нас проплывала унылая низина, заросшая багрово-синими травками и белым мхом... По небу рваными перинами тащились тучи, иногда они просеивались мелким дождем. Платформы трясло, колеса визжали на поворотах и сужениях: я сидел с краю и видел непостижимую колею – рельсы не вытягивались ровной нитью, а то сморщивались, образуя что-то вроде стальной гармошки, то мелко петляли, один рельс вправо, другой влево. Я не понимал, как вообще поезд может двигаться по такой изломанной колее, и, толкнув Хандомирова, привалившегося – вернее навалившегося – на меня всем телом, обратил его внимание на техническое чудо двух линий рельсов. Он зевнул:

– Нормальная зековская работа. Зарядили могучую туфту. Запомните, дорогой, вся лагерная империя НКВД держится на трех китах: мате, блате и туфте. В Заполярье, я вижу, туфту заряжают мастерски. Понятно?

Мне, однако, понятно было не все. Мат окружал меня с детства. Блат только начинал свое победное шествие по стране, хоть о нем уже и тогда говорили: «Маршалы носят по четыре ромба,

а блат удостоен пяти». Но что такое туфта и как ее нужно заряжать, а ее почему-то всегда заряжали, я слышал не только от Хандомирова, – я не имел точного понятия.

Поезд вдруг остановился, потом дернулся – колеса зло завизжали – снова остановился. И мы увидели забавную картину: состав из полутора десятков платформ стоял, а паровоз с двумя платформами бодро уходил вперед. «Стой! Стой!» – заорали на паровоз. Охрана соскочила наземь и с винтовками наперевес окружила покинутый паровозом состав – похоже, страшилась, что заключенные бросятся наутек по дикой тундре. Яростно рычали псы. Ни один заключенный не спустил ног на траву. Паровоз медленно пятился обратно, но не дошел, а замер метрах в двадцати от состава. Раздалась команда: «Все слезай!» – и мы попрыгали на землю.

Ноги по щиколотку увязали в топкой земле. Колеса платформ ушли в грязь и воду, это и было причиной остановки. Я поворачивался то вперед, то назад – на добрые сотню-две метров железная дорога вся провалилась в топкую трясину. Начальник конвоя заорал:

– Есть кто железнодорожники? Выходи, кто кумекает!

Из толпы выдвинулся один заключенный. Я стоял неподалеку и слышал его разговор с начальником конвоя.

– Я инженер-путеец. Фамилия Потапов. Занимался эксплуатацией железных дорог.

– Статья, срок?

– Пятьдесят восьмая, пункт седьмой – вредительство. Срок – десять лет.

– Подойдет, – радостно сказал начальник конвоя. – Что предлагаете, Потапов?

К ним подошел машинист паровоза. Потапов объяснил, что колея проложена по вечной мерзлоте неряшливо. Лето, по-видимому, было из теплых, мерзлота подтаяла и в этом месте превратилась в болото, рельсы ушли в жижу. Паровоз не сумел вытащить провалившийся выше осей состав, сильно дернул и разорвал сцепку между платформами. Поднимать шпалы и подбивать землю – дело не одного дня. Лучше вытащить колею и перенести ее в сторонку, на место посуше. Правда, путь удлинится, может не хватить рельсов...

– Рельсы есть, – сказал машинист. – Везу на ремонтные работы десятка два, еще несколько сотен шпал, всякий строительный инструмент.

Они разговаривали, а я рассматривал Потапова. Он был высок, строен, незаурядно красив сильной мужской красотой – четко очерченное лицо, чуть седеющие усики, пронизательный взгляд. И говорил он ясно, кратко, точно. Приняв командование ремонтом пути, он распорядился столь же ясно и деловито – «не агитационно, а профессионально», сказал о нем Хандомиров и добавил:

– Мы с Потаповым сидели в одной камере. Сильный изобретатель, даже к ордену хотели представить за рационализации. Но одно не удалось. Естественно, пришили вредительство. Не орден вытянул, а ордер. Мы тысячеголовой массой выстроились с обеих сторон платформ и потащили состав назад. Это оказалось совсем не тяжким делом. Хандомиров не преминул подсчитать, что в целом мы составили механическую мощность в триста лошадиных сил – много больше того, что мог развить старенький паровоз. Зато вытягивать колею и передвигать ее на место посуше было гораздо трудней. Мешали и бугорки на новом месте, их кайлили и срезали лопатами – у машиниста нашелся и такой инструмент. Потапов ходил вдоль переносимой колеи и, проверяя укладку шпал, строго покрикивал: – Только без туфты, товарищи! Предупреждаю: туфты не заряжать!

Новая колея за полдень была состыкована со старой – использовали запасные шпалы и рельсы. Мы снова вмялись в платформы, состав покатило дальше.

Вечерело, когда поезд прибыл в Норильск. Снова первыми соскочили со своей платформы конвойные и псы. Пулемет с глаз удалили, но винтовки угрожающе нацеливались на этап. Спрыгивая на землю, я упал и пожаловался, что предзнаменование зловещее – падать на новом месте. Ян Ходзинский не признавал суеверий и посмеялся надо мной, а Хандомиров заверил, что начинать с падения новую жизнь на новом месте не так уж плохо, хуже кончать падением. И вообще, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мне было не до смеха, болело правое колено – недавняя цинга, покрывшая черными пятнами сильно опухшую ногу, еще не была преодолена, каждое прикосновение вызывало боль. А падал я на проклятое правое колено. Хромая и ругаясь, я приплелся в строй. Хаотичный этап понемногу превращался в колонну, по пять голов в ряду. Над заключенными возносились команды и руготня стрелков, их сопровождал визг и лай собак, псы

рвались с поводков, чуя непорядок и горя желанием клыками восстановить его. Наконец раздалась впереди команда: «По пяти шагом марш!» – и колонна двинулась.

– Так, где же обещанный город? – сказал Прохоров шагавшему рядом Хандомирову. – И следов города не вижу.

Города и вправду не было. Была короткая улица из десятка деревянных домов, а от нее отпочковывалась другая, и, по всему, последняя – улица, тоже домов на десяток: среди тех домов виднелись и каменные на два этажа. Я поворачивал голову вправо и влево, старался запомнить облик каждого дома.

...Мне в будущем предстояло дважды в день в течение многих лет шагать по этим двум улицам, каждый дом стал до оскомины знаком. И хоть уже десятилетия прошли с той поры, когда впервые шагало вдоль тех деревянных и каменных домиков, я вижу каждый, словно снова неторопливо иду мимо них. Улица, начинавшаяся от станции, называлась Горной, и открывал ее одноэтажный бревенчатый дом, первая стационарная норильская постройка, возведенная геологом Николаем Николаевичем Урванцевым, еще в двадцатые годы детально разведавшим Норильское оруденение и открывшим здесь, на клочке ледяной тундры, минералогические богатства мирового значения. Урванцев руководил тремя экспедициями в район Норильска, а в тот день, когда я с товарищами по беде шагал по сотворенной им улице, он тоже находился в Норильске и был в такой же беде, как мы. Из первооткрывателя заполярных богатств превращен в обычного заключенного – впрочем, освобожденного от тяжелых «общих» работ: он продолжал в новом социальном качестве прежние свои геологические изыскания. Мне предстояло вскорости с ним познакомиться – и много лет потом поддерживать добрые отношения. Большинства увиденных нами домов теперь уже нет на той первой норильской улице, а дом Урванцева стоит – и в нем музей его имени, мемориальное доказательство его геологического подвига. А рядом с музеем торжественная могила – в ней прах самого Николая Николаевича Урванцева и его жены Елизаветы Ивановны» часто сопровождавшей мужа в его северных экспедициях и приезжавшей, к нему, заключенному. А на бронзовой стеле простая надпись: «Первые норильчане» и дата их жизненных дорог: 1893-1985 гг. Оба родились в один год и умерли почти одновременно в Ленинграде, прожив каждый девяносто три года. Прах обоих перевезли на вечное упокоение в город, созданный трудом самого Урванцева, город, где он проработал потом пять лет в заключении и где теперь, кроме музея его имени, есть и набережная Урванцева. Потомки хоть таким уважением к памяти отблагодарили его и за выдающиеся труды, и за незаслуженное страдание. Древность сохранила легенду о супружеской паре Филимоне и Бавкиде, которых боги за чистоту души одарили долголетием, правом умереть одновременно и вечной памятью потомков. К древним богам двадцатый век не сохранил почтения, но благодарность за благородную жизнь неистребима в человеческой природе – супружеская чета Урванцевых тому возвышающий душу пример...

Но все это было в далеком «впоследствии», а в тот день, проходя мимо домика Урванцева, я лишь бросил на него невнимательный взгляд. Вряд ли и моих товарищей он тогда заинтересовал. Зато все мы дружно заметили двухэтажное строение на той же стороне Горной улицы. Мы еще не знали, что оно называется «Хитрым домом», а правильной должно бы называться «Страшным домом», – в нем помещались Управление внутренних дел и местная «внутренняя» тюрьма. Зловещая архитектура – решетки на наружных окнах, «намордники» на окнах во дворе да охрана у входа – все это было каждому горько знакомо и у каждого порождало все те же, еще не ослабевшие воспоминания: по колонне пробегал шепоток, когда ее ряды шествовали мимо его дома».

А на другой стороне улицы красовался деревянный домина с прикрепленными к фасаду кривоватыми колоннами – архитектурное свидетельство, что здание – культурного назначения.

– Театр, – безошибочно установил Хандомиров. – Что я вам говорил? Город! Улиц, правда, не густо, да и домов неубедительно, но зато – культура!

– Культура, да не для нас, а для вольняшек, – огрызнулся Прохоров.

– Вряд ли местные вольняшки взыскуют культуры, – заметил наш сосед по ряду, пожилой, высокий, очень худой – его звали Анучиным, мы с ним дружили.

Впоследствии мы узнали, что все трое спорщиков оказались правы: деревянное здание служило театром (играли в нем, естественно, заключенные), пускали в него только вольных, но

вольные театр не жаловали, зал заполнялся от силы на четверть – существенное отличие от клубов в лагере, где те же артисты собирали зрителей и «всидяк, и встояк», как выражались иные, покультурней, коменданты из «своих в доску».

За театром показались сторожевые вышки, вахта, мощная стена из колючей проволоки, необозримо протянувшаяся вправо и влево. Уже стемнело, с вышек лилось прожекторное сияние. Плотные ряды охраны образовали живой желоб, по нему в лагерь одна за другой вливались пятерки заключенных. Начальник конвоя громко отсчитывал: «Сто шестая! Сто седьмая! Сто восьмая, шире шаг! Сто девятая! Сто десятая, приставить ногу! Кончай базар, разберись по пяти! Сто одиннадцатая, повеселей!»

Мы с Хандомировым, Прохоровым, Ходзинским и Анучиным проскользнули через вахту без особых замечаний. За воротами нас перехватил комендант – заключенный не то из уголовников, не то из бытовиков – и яростно заорал, словно мы в чем-то уже провинились.

– Куда прете? Сохраняй порядок! Организовано в семнадцатый барак. Номер на стене, баланда на столе. Направо!

Семнадцатый барак был далеко от вахты, мы не торопились, нас обгоняли пятерки пошустрей. Но они спешили в другие бараки, в семнадцатом мы были из первых. На столе стоял бачок с супом, горка аккуратно – трехсотграммовые пайки – нарезанного хлеба. Дневальный из бытовиков наливал каждому полную миску. Мы бросили свои вещевые мешки на нары – я облюбовал нижнюю, из уважения к одолевшей меня цинге ее не оспаривали, – жадно опорожнили миски и «умяли пайки». От сытной еды потянуло в сон. Хандомиров, оглушительно зевнув, объявил, что и на воле утро всегда мудреней, а в лагере дрыхнуть – главная привилегия добропорядочного заключенного. Спустя десяток минут мы все спали тем сном, который именуется мертвым.

Видимо, я спал дольше всех. Вскочив, я обнаружил в бараке одного дневального, последнюю хлебную пайку на столе и остатки супа в бачке, до того густого, что в нем не тонула ложка.

– Остатки сладки, – попотчевал меня дневальный. – Специально для тебя не расходовал гущины. Гужуйся от пуза – пока разрешаю. Пойдете на работы, суп станет поживе – по выработке. И носить будете сами из раздаточной.

– Как называется наше местожительство? – спросил я.

– Не местожительство, а второе лаготделение. – Дневальный подмигнул:– А не местожительство потому, что в дым доходное. Жутко вашего народа загибается. От первого этапа, за месяц до вас, сколько уже натянули на плечи деревянный бушлат. Не вынесли свежего воздуха и сытой жратвы. Учти это на будущее. Чего хромаешь?

– Цинга, ноги опухли.

– С ног и начинается! Деньги имеются?

– Зачем тебе мои деньги?

– Не мне, а тебе. В лавочке за наличные можно купить съестного. А пуст лицевой счет, загоняй барахлишко, покупатели найдутся. Попросишь, так и помогу продать стоящую вещицу. Само собой, учтешь одолжение.

Я вышел наружу. Если Норильск и был городом, а не населенным пунктом или поселком – так он тогда, мы это скоро узнали, значился официально, – то во втором лагерном отделении городского имелось много больше, чем на тех единственных двух улицах, которые его составляли. Куда я ни поворачивал голову, везде тянулись деревянные побеленные бараки, они вытягивались в прямые улицы, образовывали площади, сбегали от площадей переулочками вниз, в долинку ворчливого Угольного ручья. А по барачным улицам слонялись заключенные, кто уже в лагерной одежде, кто еще в гражданском. В основной массе это были мужчины, но я увидел и женщин. Женщины различались по виду сильней, большинство сразу выдавали себя – хрипыми голосами, подведенными глазами, вызывающим взглядом, – но попадалась и явная «пятьдесят восьмая»: интеллигентные лица, городская одежда, еще не смененная на лагерную. Я искал знакомых, переходя от барака к бараку, но они либо терялись в толпе, либо куда-то зашли. Я читал надписи на бараках: «Амбулатория», «Культурно-воспитательная часть – КВЧ», «Учетно-распределительный отдел – УРО», «Канцелярия», «Вещевая каптерка», «Ларек», «Штрафной изолятор – ШИЗО». Надписи свидетельствовали, что во втором лаготделении царствует не хаос, а дисциплина и режим. Наконец я встретил двух знакомых. Хандомиров с Прохоровым несли в

руках консервные банки и папиросы.

– Роскошь! – объявил сияющий Хандомиров. – Не ларек, а подлинный магазин. Любой товар за наличные. Купил три банки варенья из лепестков розы, пачку галет. Есть и твердая колбаса, и сливочное масло по шестнадцати рубчиков кило.

– Почему же не купили масла и колбасы? – Я заметил, что съестные припасы у обоих ограничиваются вареньем из лепестков розы и галетами.

Хандомиров вздохнул, а Прохоров рассмеялся.

– Жирно – сразу и масло, и колбасу. Во-первых, бумажек нехватка. А во-вторых, надо где-то какое-то занять разрешение на ларек, если захотелось колбаски. Как у тебя с рублями, Сергей?

– Никак. Ни единой копейки в кармане.

– Бери займы банку варенья, потом вернешь – и не сладкими лепестками, а чем-нибудь посуше. Идем пить кипяток с изысканными сладостями. Мы воротились в барак и истребили все сладостные банки. Два дня после роскошного угощения от нас подозрительно пахло розами – отнюдь не лагерный аромат, – а я приобрел устойчивое, на всю дальнейшую жизнь – отвращение к консервированным в сахаре розовым лепесткам.

– Теперь основная задача – обследоваться, – сказал Хандомиров. – Я все узнал. Организована бригада врачей из наших, под командованием вольных фельдшеров, свыше назначенных в лагерные доктора. Заключенные врачи именуются лекарскими помощниками, сокращенно лекпомами, а по-лагерному, лепкомами, – видимо, от слова – лепить диагноз. Среди лепкомов я нашел профессоров Никишева, патологоанатома, докторов Кремлевской больницы Родионова и Кузнецова, оба хирурги, еще увидел Розенблюма и усатого Аграновского – оказывается, и он по профессии врач, а я его знал как украинского фельетониста, после Сосновского, Зорича и Кольцова следующего по славе. Работа у них простая – кого в работяги, кого в доходяги, а кого в больницу – готовить этап на тот свет. В общем, пошли.

Перед медицинским баракком вытягивалась стоголовая очередь. Я увидел в ней Яна Витоса. Старый чекист, работавший еще при Дзержинском, сильно сдал за последний месяц в Соловках и особенно в морском переходе. Он хмуро улыбнулся.

– Ваш дружок Журбенда тоже определился во врачи. Называл себя историком, республиканским академиком, а по образованию, оказывается, медик. Жулик во всем. Нарочно пойду к нему.

– Не ходите, Ян Карлович, – попросил я. – Журбенда ваш личный враг. Он вам поставит лживый диагноз.

– Сколько ни придумает лжи, а в больницу положит. Плохо мне, Сережа. Не вытяну зимы в Заполярье.

Ян Витос и правда после первого же осмотра был направлен в больницу. Таких как он в нашем соловецком этапе обнаружили десятки – немолодые люди, жестоко ослабевшие от непосильного двухмесячного труда на земляных работах после нескольких лет тюрьмы, а потом и тяжелого плавания в океане. Витос не вытянул даже осени. Я ходил к нему в больницу, он быстро угасал. Когда повалил первый снег, Витоса увезли на лагерное кладбище. В те октябрьские дни ежедневно умирали люди из нашего этапа. Соловки поставили в Норильск «очень ослабленный контингент», так это формулировалось лагерной медициной.

Я попал к Захару Ильичу Розенблюму. Он посмотрел на мои распухшие, покрытые черными пятнами ноги и покачал головой.

– Не только цинга, но и сильный белковый авитаминоз. Типичное белковое голодание. Советую продать все что можете и подкрепить себя мясными продуктами.

Я продал что-то из белья, выпросил десяток рублей с лицевого счета и набрал в лавке мясных консервов. Молодой организм знал, как повести себя в лагере, пятна бледнели чуть ли не по часам, опухоль спадала. Спустя неделю ничто, кроме прожорливого аппетита – не напоминало о недавнем белковом авитаминозе.

В эти первые свободные от работы дни я часами слонялся один и с товарищами по обширному второму лаготделению. Лагерь меня интересовал меньше, чем окрестный пейзаж, но все же я с удовлетворением узнал что имеется клуб и там бесплатно показываются кинофильмы, а самодеятельный ансамбль из заключенных еженедельно дает спектакли. В этом «самодеятельном ансамбле» были почти исключительно профессионалы, я узнал среди них известные мне и на воле

фамилии. Неутомимый Хандомиров вытащил в клуб нашу «бригаду приятелей» и пообещал, что останемся довольны.

– Любительская самодеятельность хороша только в том случае, если выполняется профессионалами. На воле это парадоксальное требование практически не выполняется. Но Исправительно-трудовой лагерь, по природе своей, учреждение парадоксальное, только здесь и можно увидеть профессиональное совершенство в заурядном любительстве.

Больше всего меня захватывал открывавшийся глазу грозный мир горного Заполярья. Август еще не кончился, а осень шла полная. По небу ползли глухие тучи, временами они разрывались, и тогда непривычно низкое солнце заливало горы и долины нежарким и неярким сиянием. С юга Норильск ограничивали овалом три горы – с одного края угрюмая, вся в снежниках Шмидтиха, в середине невысокая – метров на четыреста – Рудная, а дальше – Барьерная. За ней простиралась лесотундра, мы видели там настоящий лес, только – издали – совершенно черный. Север замыкала совершенно голая, лишь с редкими ледничками, рыжая гряда Хараелах, тогда это было совсем неживое местечко, типичная горная пустыня: нынче там сорокатысячный Талнах, строящийся город-спутник Оганер – по плану на 70 – 100 тысяч жителей. Я сейчас закрываю глаза и вижу северные горы в Норильской долинке – и только мыслью, не чувством, способен осознать, что эти безжизненные, абсолютно голые желто-серые склоны и плато – ныне площадка великого строительства – кладовая новооткрытых рудных богатств, которым, возможно, нет равных на всей планете.

А на запад от нашего второго лаготделения, самого населенного места в Норильске, простиралась великая – до Урала – тундра, настоящая тундра, безлесая, болотистая, плоская, до спазмы в горле унылая и безрадостная – мы недавно ехали по ней, вдавливая железнодорожную колею в болото. И в тундру неподалеку от наших барачков врезался Зуб – невысокий горный барьерчик, выброшенный каким-то сейсмическим спазмом из Шмидтихи на север, странное название точно отвечало облику.

Когда, прислонившись к стене нашего барака, я озираю угрюмые горы, закрывавшие весь юг, ко мне подошел Саша Прохоров.

– Нашел чем любоваться!

– Страхуюсь, а не люблюсь. Неужели придется прожить здесь и год, и два?

...Я и не подозревал тогда, что проживу в Норильске не год и не два, а ровно восемнадцать лет...

Всему соловецкому этапу дали несколько дней отдыха. А затем УРО – Учетно-распределительный отдел сформировал рабочие бригады. В одну из них определили и меня. В УРО служили, мне кажется, шутники, они составляли рабочие бригады по образовательному цензу и званиям. Если бы среди нас было много академиков, то, вероятно, появилась бы и строительная бригада академиков-штукатуров или академиков-землекопов. Но в тот год академик нашлся только один, и с него сыпался такой обильный песочек, что этого не могли не заметить и подслеповатые инспектора УРО – дальше дневального или писаря продвигать его по службе не имело смысла.

Наша бригада называлась внушительно: «бригада инженеров». В ней и вправду были одни инженеры – человек сорок или пятьдесят. Все остальные бригады комплектовались смешанно – в них трудились учителя, музыканты, агрономы. В смешанные бригады кроме «пятьдесят восьмой» вводили и бытовиков, и уголовников: и тех и других хватало в соловецком этапе, а еще больше прибывало в этапах с «материка», пливших не по морю, а по Енисею от Красноярска. Новоорганизованные бригады отправлялись на земляные работы – готовить у подножия горы Барьерной площадку под будущий Большой металлургический завод.

Бригадиром инженерной бригады вначале определили Александра Ивановича Эйсмонта, в прошлом главного инженера МОГЭС, правительственного эксперта по электрооборудованию, не раз для покупки его выезжавшего во Францию, Германию и Англию, а ныне премилого и предоброго старичка, которого ставил в тупик любой пройдоха нарядчик. Особых подвигов в тундровом строительстве он совершить не успел, его к исходу первой недели начальник строительства Завенягин перебрал «в тепло» – комплектовать в Норильскнабе прибывающее электрооборудование. Потом я с удивлением узнал от самого Эйсмонта, что он был не только видным инженером, но и настоящим – а не про-изведенным на следствии в таковые –

сторонником Троцкого, встречался и с Лениным, писал разные политические заявления, подписывал какие-то «платформы» и потом не отрекался от них, как большинство его товарищей. В общем, он решительно не походил на нас, тоже для чего-то объявленных троцкистами либо бухаринцами, но в подавляющей массе не имевших даже представления о троцкизме и бухаринстве. Долго в Норильске Эйсмонт жить не пришлось. Уже в следующем году его похоронили на зековском кладбище. А там, на нашем безымянном «упокоище в мире», ему оказали честь, какой ни один зек еще не удостоивался: поставили на могиле шест, а на нем укрепили дощечку с надписью «А. И. Эйсмонт». Уж не знаю, сами ли местные руководители решились на такой рискованный поступок или получили на то предписание свыше.

Эйсмонта заменил высокий путеец Михаил Георгиевич Потапов. Я уже говорил, как в пути из Дудинки в Норильск он быстро и квалифицированно перенес провалившуюся в болото колею. Хандомиров назвал его выдающимся изобретателем. Забегая вперед, скажу, что самое выдающееся свое изобретение он совершил в Норильске спустя год после приезда. Зимой Норильскую долину заметали пурги: у домов вздымались десятиметровые сугробы, все железнодорожные выемки заваливало, улицы становились непроезжими, почти непроходимыми. Потапов сконструировал совершенно новую защиту дорог от снежных заносов – деревянные щиты «активного действия». Если раньше старались прикрывать дороги от несущегося снега глухими заборами – и снег вырастал около них стенами и холмами, то Потапов наставил щиты со щелями у земли: ветер с такой силой врывается в эти щели, что не наваливал снег на дорогу, а сметал его с дороги, как железной метлой. Когда Потапов освободился, его изобретение, спасшее Норильск от недельных остановок на железной и шоссейных дорогах, выдвинули на Сталинскую премию. Но самолюбивый, хорошо знающий цену своему таланту изобретатель не пожелал привлечь в премиальную долю кого-либо из своих начальников, как то обычно делалось. И большому начальству показалось зазорным отмечать высшей наградой недавнего заключенного, отказавшегося разбавить ее розовой водицей соавторства с чистым «вольняшкой».

Эйсмонт начал свое бригадирство с того, что вывел нас на прокладку дороги от поселка к подножию Рудной. На «промплощадке» еще до нас возвели кое-какие сооружения: обнесли обширную производственную «зону» – километров на пять или шесть в квадрате – колючим забором, построили деревянную обогатительную фабричку с настоящим, впрочем, оборудованием, кирпичный Малый металлургический завод – ММЗ, проложили узкоколейку в зоне, несколько подсобных сооружений... Все эти строения, выполненные в 1938-39 годах – тоже руками заключенных, – были лишь подходом к большому строительству на склонах горы Рудной. И для такого большого строительства в Норильск в лето и осень 1939 года гнали и гнали многотысячные этапы заключенных. Наш соловецкий этап был не первым и даже не самым многочисленным. Зато он, это скоро выяснилось, был наименее работоспособным.

Не один я запомнил на всю жизнь первый наш производственный день на «общих работах» – так назывались все виды неквалифицированного труда. Мы разравнивали почву для новой узкоколейки от вахты до Рудной. Рядом с инженерной бригадой трудились смешанные. И сразу стало ясно, что из нас, инженеров, землекопы – как из хворостины оглобли. И не потому, что отлынивали, что не хватало усердия, что не обладали землекопным умением. Не было самого простого и самого нужного – физической силы. Мы четверо, я, Хандомиров, Прохоров и Анучин, лезли из кожи, выламывая из мерзлой почвы небольшой валун и лишь после мучительных усилий, обливаясь потом под холодным ветром, все снова хватаясь за проклятый валун, кое-как вытащили его наружу. И еще потратили час и столько же сил, чтобы приподнять валун, и взвалить на тележку, – тащить его на носилках, как приказывали, никто и подумать не мог. А возле нас двое уголовников, командуя самим себе: «Раз, два, взяли!» – легко поднимали такой же валун, валили его на носилки и спокойно тащили к телеге, увозившей камни куда-то в овраги. А потом демонстративно минут по пять отдыхали, насмешливо поглядывая на нас, и обменивались обычными шуточками насчет важных Укус Помидорычей и бравых Сидоров Поликарповичей. Мы тратили физических усилий, той самой механической работы, которая в средней школе называется «произведением из силы на путь», вдесятеро больше их. Но нам не хватало физической малости, что у них была в избытке, – потратить разом, в одном рывке это единственно нужное и трижды клятвое «произведение из силы на путь». В барак на отдых мы в этот день не шли, а еле плелись. Нас не могли подогнать даже злые окрики конвойных, принявших нас у вахты,

– в «зоне» конвоев не было, там мы становились как бы на время свободными.

– Бригада инженеров, шире шаг! – орали конвойные и для остротки щелкали затворами и науськивали, не спуская их с поводков, охранных собак. Собаки рычали и лаяли, мы судорожно ускоряли шаг, но спустя минуту ослабевали – и снова слышались угрозы, команды и лай собак.

В бараке нас ожидала горбушка хлеба и миска супа, но и того и другого было слишком мало, чтобы надежно подготовиться к завтрашнему «вкalyванию»: никто и наполовину не утолил аппетит.

На мои нары уселся Прохоров – он обитал на втором этаже, но так обессилел, что не торопился лезть вверх.

– Сережка, дойдем, – сказал он. – Ситуация такая: нас хватит недели на две. А за две недели шоссе не выстроить. Наша пайка не восстанавливает силы, чую это каждой клеточкой.

К нам подсел Хандомиров и придал беседе иное направление.

– И такой пайки скоро не будет, – предсказал он. – Она ж полная, поймите. Мы же не вытянули нормы, и завтра не вытянем, и послезавтра. И нас посадят на гарантию, никакой горбушки, никакой полной миски дважды в день! Триста граммов хлеба утром, триста вечером, а баланда – только утром. Полной пайки не хватает, а если половинная?

– Что же делать? – спросил я.

– Выход один – зарядить туфту! И не кусочничать! Туфту такую внушительную, чтобы минус превратился в плюс. Без туфты погибнем.

– Мысль хорошая, – одобрил Прохоров. – Одно плохо: не вижу, как реально зарядить туфту.

– Будем думать. Все вместе и каждый в отдельности. Что-нибудь придумается.

Ничего не придумалось ни на другой день, ни в последующие. О выполнении землекопной нормы не приходилось и думать. Зловещее пророчество Хандомирова осуществилось: на третий день бригаду посадили на уменьшенную продовольственную норму. Несколько человек пошли в медицинский барак выпрашивать освобождение от земляных работ. Им отказали, но было ясно, что скоро многие свалятся – и лепкомам самим тащить их в больницу. В лагерной рукописной газете, вывешенной на стене клуба, клеймили позором инженеров – симулянтов и саботажников, проваливающих легкие нормы, с которыми справляются все землекопы. Мы пошли к новому бригадиру и пригрозили, что вскоре ему некого будет выводить на работу.

– Товарищи, положение отчаяннейшее, – согласился Потапов, – мне еще трудней, чем вам, я ведь рослый, а продовольственная норма одинаковая. Сегодня я говорил с начальником Metallургстроя Семеном Михайловичем Ениным. Видный строитель, орденосец... Обещал перевести на новый объект – зачищать площадку под большой завод. Снимать дерн будет легче, чем выкорчевывать валуны из вечной мерзлоты.

Утром, прошагав в сторону от дороги, которая так не давалась, мы появились на унылом плато, где запроектировали воздвигнуть самый северный в мире металлургический завод. С плато открывался превосходный вид на Норильскую долинку. Но все смотрели на бревенчатый домик о двух окошках, в нем размещалась контора Metallургстроя. Из домика вышел плотный мужчина средних лет, в распахнутом брезентовом плаще, открывавшем орден Трудового Красного Знамени на пиджаке, – начальник Metallургстроя Семен Енин. Его сопровождала группа прорабов и мастеров. Он молча посмотрел на нас. Вряд ли ему понравился внешний вид инженеров, превращенных в землекопов.

– Все это теперь ваше, – сказал он, размахнувшись рукой от вершины Барьерной к горизонту – над ним, словно из провала, вздымалась угрюмая горная цепь Хараелаха. – Вы должны показать на этом клочке земли, чего стоите. Уверен, что боевая бригада инженерно-технических работников, с киркой и лопатой в руках, высоко поднимет над тундрой флажок рабочего первенства! Жду перевыполнения норм.

Возможно, он сказал это деловитой и суше, но за смысл ручаюсь. Разумеется, мы не кричали в ответ «ура». Нам не понравилось его напутствие, оно слишком уж разнилось от тех радужных обещаний, какими вчера успокаивал Потапов. В нашей бригаде я был самым молодым, но и мне подваливало к тридцати. Пожилых инженеров – многие в недавнем прошлом руководили крупными заводами – не загла перспектива рвать рекорды земляных выемок. Со счетной линейкой мы все справлялись легче, чем с кувалдой и ломом. На плато вдруг полился дождь. Низкое небо спустилось с гор и потащилось над лиственницами, оседая на нас, как прогнившее

ватное одеяло. Енин и прорабы запахнулись в брезентовые плащи, мы ежились и совали руки в рукава. Любая мокрая курица могла бы пристыдить нас своим бравым видом.

И тут вперед выдвинулся Потапов. Он молодецкато распахнул воротник своей железнодорожной шинели – лагерное обмундирование еще не было выдано – и лихо отпартовал:

– Премного благодарны за доверие, гражданин начальник! Бригада инженеров-заключенных берет обязательство держать первенство по всему строительному объекту. Можете не сомневаться, не подкачаем!

Стоявший около меня Мирон Альшиц, коксохимик, руководивший монтажом многих коксовых заводов, громко сказал, не постеснявшись высоких лиц и ушей:

– Он, кажется, сошел с ума!

Мне тоже думалось, что если наш бригадир и не сошел с ума, то, во всяком случае, не в своем уме. Я высказал ему это сейчас же, как только блестящий начальственный отряд удрал от дождя в контору, подобрав свои извозчичьи брезентовые плащи, как иные дамы подбирают платья из атласа и парчи. Потапов любил меня. Не знаю, почему он так привязался ко мне, но его расположение замечали и посторонние. Все эти первые трудные дни на промплощадке он отыскивал для меня работу полегче, рассказывал о бедовавших без него на воле двух дочерях, доверительно делился идеями еще не совершенных изобретений. Возможно, это происходило оттого, что он был старше меня на двадцать лет. Он не рассердился от дерзкого моего замечания, а положил руку мне на плечо и с улыбкой заглянул в лицо.

– Сережа, – сказал он ласково, – как все-таки обманчива внешность: мне ведь казалось, что вы умный человек.

Меня удовлетворил такой честный ответ. Мне тоже иногда казалось, что я умный человек. Но я не мог этого доказать ни одним своим поступком, ибо все, что ни делал, было как на подбор глупостью – по крайней мере по нормам и морали мира, в котором я ныне жил и задыхался.

– И почему вы жалуетесь? – продолжал Потапов. – На прокладке шоссе нас давили общесоюзные нормы на земляные работы, а для планировки площадки таких норм пока нет. Разве это не облегчение? Получим полную пайку, именно это я и обещал.

Он отошел, а я со вздохом взялся за кайло. Планировать площадку было не легче, чем прокладывать шоссе, – и там, и здесь надо было долбить землю. Я любил землю – как, впрочем, и воздух, и небо, и море – и поминал ее добрым словом в каждом стихотворении, а их писал в тюрьме по штуке на день. Но она не отвечала мне взаимностью, она была неподатлива и холодна. Она лежала под моими ногами скованная вечной мерзлотой. Лом высекал из нее искры, лопата звенела и гнулась, а я обливался потом. Я только скользил по поверхности этой дьявольски трудной земли, не углубляясь ни на вершок. Глубина мне не давалась Временами – от отчаяния и усталости – мне хотелось пробивать землю лбом, как стену. Я тогда еще тешил себя иллюзиями, что лоб у меня справится с любой стеной.

На площадку привезли лес. Потапов поставил меня в паре с Альшицем ковырять землю. Хандомиров, Прохоров и другие мои товарищи работали в отдалении, они устраивали дощатые трапы к обрыву, где планировался отвал. Никто и там не развивал энтузиазма – всех возмутило, что Потапов изменил своему слову и не подумал искать работы полегче. Моя схватка с промерзшим еще тысячелетия назад грунтом казалась, наверно, очень забавной.

– Зачем такое усердие? – насмешливо поинтересовался Альшиц. – Не думаете ли вы, что заключенных награждают орденами за производственный героизм?

– Боюсь, вы мечтаете лишь о том, чтоб избежать производственного травматизма, – ответил я, уязвленный. – Неприятно смотреть, как вы чухаетесь. Словно уже три дня не ели!

– Работаем валиком, – согласился Альшиц. А зачем по-другому? Разве вы не понимаете, что вся эта затея – переквалифицировать нас в землекопов – не только неосуществима и потому бессмысленна, но и вредна? Государству нужны не моя мизерная физическая сила, а мои специальные знания и опыт, если оно не вовсе сдурило, это наше государство, в чем я не уверен!

Он с осуждением и гневом глядел на меня. Не очень рослый, прямой, с тонким красивым лицом, он готовился спорить и доказывать, кричать и браниться. Он схватился не со мной – со всем тем нелепым и непостижимым, что творилось уже несколько лет. Государство остервенело било дубиной по самому себе. Альшиц и здесь, как, вероятно, и на допросах на Лубянке или в

Лефортово, готов был одинаково горячо доказывать, что конец будет один, если вовремя не спохватиться...

Меня не очень интересовала его аргументация. Я, в общем, держался того же взгляда. Я любовался его одеждой, он был забавно экипирован. Драповое пальто с шалевым бобровым воротником, привезенное из Дюссельдорфа, где Альшиц закупал у Круппа оборудование коксохимических заводов, было опоясано грязной веревкой, как у францисканского монаха. А на шее, удобно заменяя кашне, болталось серое лагерное полотенце. Высокую – тоже бобровую – шапку Альшиц пронес через этапные мытарства, но ботинки «увели» – ноги его шлепали в каких-то неандертальских ичигах, скрепленных такими же веревками, как и пальто. И в довершение всего он держал в руке лом как посох – уткнув острием в землю.

– С вас надо писать картину, Мирон Исаакович, – ответил я на его тираду. – Вот бы смеялись!

Он повернулся лицом к тундре. Хараелах давно пропал в унылой мгле дождя, но метрах в четырехстах внизу смутно проступали два здания: деревянная обогатительная фабрика и Малый металлургический завод – скромненькие предприятия, пущенные, как я уже писал, незадолго до нашего приезда в Норильск, чтобы отработать на практике технологическую схему того большого завода, который нам предстояло строить. Альшиц протянул руку к Малому заводу:

– Поймите, он уже работает! Он потребляет кокс, который выжигают в кучах, как тысячу лет назад. Страна ежедневно теряет в этих варварских кучах тысячи рублей, бесценный уголь, добываемый с таким трудом в здешней проклятой Арктике! А я, единственный, кто может среди нас положить этому конец, долблю землю ломом, который мне даже поднять трудно. Где логика, я вас спрашиваю? Неужели она такая богатая, моя страна, что может позволить себе эту безумную расточительность – Мирона Альшица послали в землекопы!

Он закашлялся и замолчал. В его глазах стояли слезы. Он отвернулся от меня, чтобы я их не видел. Я опустил голову, подавленный тяжестью его обвинений. Никто не смел потребовать с меня формальной ответственности за то, что с нами совершилось. Крыша упала на голову, внезапно попал под поезд, свалился в малярийном приступе – короче, несчастье, не зависящее от твоей воли, так я объяснял себе события этих лет. Меня не успокаивало подобное объяснение, оно было поверхностно и лживо, а я допытывался правды, лежащей где-то в недоступной мне глубине. Я нес свою особую, внутреннюю, мучительно чувствуемую мною ответственность за то, что проделали со мной и Альшицем и многими, многими тысячами таких, как я... Меня расплющивала безмерность этой непредъявленной, но неотвергаемой ответственности.

Альшиц заговорил снова:

– И вы хотите, чтоб я надрылся в котловане для удовлетворения служак, которым наплевать на все, кроме их карьеры? Этот Потапов... Что он пообещал нам вчера? И что он сделал сегодня? Нет, я буду сохранять силы Мирона Альшица, они нужны не мне, а тому заполярному коксохимическому заводу, который я вскоре, верю в это, буду проектировать и строить! Ах, эти лишние кубометры земли, какой пустяк, я за всю мою жизнь не сделаю того, что наворочает один экскаватор за сутки. Но это же будет несчастье, если Альшиц свалится от изнеможения и ввод нового коксового завода задержится хотя бы на месяц!

– Нарядчику и прорабу вы же не объясните этого. Они потребуют предписанных кубометров...

Ну и что же? Когда нам объявят норму, не постесняюсь зарядить туфту. Ваш приятель Хандомиров только и твердит об этом. Он прав, он тысячекратно прав! Я заряджу туфту на пятьдесят, наконец на сто процентов! Начальству нужна показуха, а не работа – показуху они получают. И пусть мне не говорят, что так недостойно – совесть моя будет чиста!

К нам подошел Прохоров и полюбопытствовал, о чем мы так горячо спорим.

– О норме, – сказал Альшиц. – И о туфте, разумеется.

– С нормой и здесь будет плохо, – подтвердил Прохоров. – На этом грунте и профессиональные землекопы не вытянут... Боюсь, нас и туфта не спасет. Самое главное – как ее зарядить?

Альшиц, волоча лом по земле, отправился к отвалу, а я спросил Прохорова, что это за таинственная штука – туфта, о которой так часто говорит Хандомиров, да и не он один.

– Тю! Да неужто и вравду не знаешь?

– Саша, откуда же мне знать? Я работал на заводе, а не на строительстве.

– На заводах тоже туфтят. В общем, если с научной точностью... Я пошел на свое место, туда шагает Потапов! Потом потолкуем.

День этот был все же лучше предыдущих: поскольку норм пока не объявили, нам и не записали их невыполнения. Ужин выдали нормальный. Но всех тревожило что будет потом? Сколько продлится придуманное Потаповым облегчение? Только ошеломляющее известие о приезде Риббентропа в Москву, переданное по вечернему радио, оттеснило местные заботы. Взволнованные, молчаливые, мы сгрудились у репродуктора. В мире назревали грозные события, мы старались разобраться в их смысле...

Утром Потапов принес из конторы две новости. Первая была приятна – в УРО появилась комиссия по использованию заключенных на специальных работах. Комиссия затребовала все личные дела, будут прикидывать – кого куда? «На днях конец общим работам!» – твердили наши «старички», то есть те, кому подходило к сорока и кто уже откликнулся на фамильярно-почтительное обращение бытовиков: «Батя!» Уверенность в скором освобождении от физического труда была так глубока, что никто особенно не огорчился от второй новости – введения норм. Подумаешь, норма! Разика три-четыре схватим трехсотку на завтрак, ничего страшного! На исходе недели все равно забросим кирку и лопату.

Потапов ходил темнее тучи. Меня удивил его вид, и я полез с расспросами.

– Боюсь, от радости люди одурели! – сказал он сердито. – А чему радоваться? Пока комиссия перелистает все дела, пройдет не один месяц. И куда устроить всю эту ораву специалистов? Строительство только разворачивается, сейчас одно требуется – котлованы и еще раз котлованы.

– Значит, вы считаете...

– Да, я считаю. Врачей и музыкантов заберут, болезни надо лечить, а музыка поднимает дух, это только дуракам неизвестно. А какую работу здесь найти агроному? И где те заводы, которым понадобились инженеры? Большинству еще месяцы вкалывать на общих. И для многих это – катастрофа!..

– Вы тоже считаете, что мы не справимся с нормой? Он посмотрел на меня с печалью.

– Даже от вас не ожидал таких наивных вопросов! В ближайшие дни мы будем снимать на площадке дерн. Общесоюзная норма на рабочего – семь кубометров дерна в смену. Вы представляете себе, что такое семь кубометров? Я строил железные дороги в средней России. Здоровые парни, профессионалы, в прекрасные погоды стогнали с себя по три пота, пока добирались до семи кубометров. А здесь вечная мерзлота, здесь гнилая полярная осень, здесь пожилые люди, только вышедшие из тюрьмы, люди, никогда не бравшие в руки лопаты... Их от свежего воздуха шатает, а нужно выдать семь кубометров! А не выдашь – шестьсот граммов хлеба, пустая баланда, дистрофия... Вы человек молодой, вам что, но многих, которые сейчас ликут, через месяц понесут ногами вперед – вот чего я боюсь!

Он посмотрел на меня и понял, что переборщил. Он шуточно потряс меня за плечо и закончил:

– Однако не отчаивайтесь! Человек не свинья, он все вынесет. Схватка с нормами закончится нашей победой!

Он не ожидал, что я поверю в его бодрые уверения после горьких откровений. Он говорил о победе над нормами потому, что так надо было говорить. На воле давно позабыли, что значит высказывать собственное мнение, да, вероятно, его уже и не существовало у большинства – и люди мыслили всегда одними и теми же, раз и навсегда изреченными формулами, даже страшно было подумать, что можно подумать иначе! Я вспомнил, как философствовал пожилой сосед в камере Пугачевской башни в Бутырках: в самой материалистической стране мира победил отвратительный идеализм – нами командуют не дела, а слова, словечки, формулировочки, политические клейма... Лишь в заключении возможна своеобразная свобода мысли – но втихомолку, меж близких. Потапов знал меня недели три, он просто не доверяет мне – так я думал весь день. В конце его я понял, что ошибся.

Это был первый хороший день за две недели нашего пребывания в Норильске. Нежаркое солнце низвергалось на землю, тундра пылала как подожженная. Она была кроваво-красная, просто удивительно, до чего неистовый красный цвет забивал все остальные: мы мяли ногами красную траву, вырывали с корнями карликовые красные березы, в стороне громоздились горы,

устланные красными мхами, а в ледяной воде озер отражались красные тучки, поднимавшиеся с востока. Я резал лопатой дерн и наваливал его на тачку, и все посматривал на эти странные тучки. Меня охватывало смятение, почти восторг. Я раньше и вообразить не мог, что существуют такие края, где летом в солнечный полдень облака окрашены в закатные цвета. Воистину здесь открывалась страна чудес! В увлечении этим праздничным миром я как-то забыл о нависшей надо мной норме.

Меня пробудил к действительности Анучин.

– Сергей Александрович, – сказал он, – боюсь, мы и кубометра не наворочаем.

Он подошел ко мне, измученный, и присел на камешек. В двадцати метрах от нас осторожно, чтобы не запачкать дорогого пальто, трудился Альшиц. Наполнив тачку всего на треть, он покатил ее к отвалу. Там сидел учетчик с листком бумаги на фанерной дощечке. Учетчик спрашивал подъезжающего, какая по счету у него тачка, и делал отметку против его фамилии.

Анучин продолжал, вздыхая:

– Участок удивительно неудачный – дерн тонкий, очищаешь большую площадь, а класть нечего! Выше дерн мощнее, я проверял – толщина полметра, если не больше. Там за то же время можно раза в три больше нагрузить тачек. Потапов приказал – очищать пониже.

– Здесь не выполним нормы.

– Мы заряжаем туфту. Учетчик записывает с наших слов. Я всегда любил четные цифры. После четвертой у меня шестая, потом восьмая, потом десятая... Вы понимаете? Альшиц, наоборот, специализируется на нечетных.

Я подошел к Альшицу. Он отдыхал с пожилым химиком Алексеевским и Хандомировым – беседовали о миссии Риббентропа в Москве! Альшиц подтвердил, что удваивает фактическую выработку, то же самое делали Алексеевский с Хандомировым. Хандомиров считал, что провала не избежать.

– Я все прикинул в карандаше, – сказал он, вытаскивая блокнот. – Сейчас мы идем на уровне пятнадцати процентов нормы. Заряжаем сто процентов туфты, ну, максимально возможную технически – сто пятьдесят. Все равно меньше пятидесяти процентов. Штрафной паек обеспечен.

– Скорей бы вверх! – проговорил старик Алексеевский, с тоской вглядываясь в край площадки. – Там дерн потолще.

С этой минуты я очищал от дерна площадку вверх, к вожделенному толстому покрову. И, поняв наконец, что такое туфта и как ее заряжают, я поспешил взять реванш за длительное отставание в этой области. Я хладнокровно зарядил неслыханную туфту. Я вез на отвал четвертую тачку, но крикнул учетчику: «восьмая». Глазам своим он не верил давно, понимая, чего стоят наши цифры, но тут не поверил и ушам.

– Ты в своем уме? У тебя же четыре!

– Были! Хорошие люди не спят на работе, а ходят от трапа к трапу. Я сваливал вон там, за твоей спиной.

На отвал вело штук шесть деревянных дорожек, а учетчику вездесущность хоть и полагалась по штатному расписанию, но не была отпущена в натуре. Он мог спорить сколько угодно, но ничего не был способен доказать. Он заворчал и произвел нужную запись.

Я возвращался на свой участок посмеиваясь. Я твердил про себя чудесные дантовские кантоны в пушкинском переводе, приспособленные мною для нужд сегодняшнего дня:

Тут грешник жареный протяжно возопил:

«О, если б я теперь тонул в холодной лете!

О, если б зимний дождь мне кожу остудил!

Сто на сто я туфчу – процент невероятный!»

Когда ко мне опять подошел Прохоров, чтобы отдохнуть в компании, я оглушил его адскими строчками. Он недоверчиво посмотрел на меня.

– Ты серьезно? Разве и при Пушкине знали туфту? Я рассмеялся.

– Нет, конечно. У Пушкина «терплю», а не «туфчу». Туфта – порождение современных обществ.

Однообразное очковтирательство Альшица меня не устраивало. От унылого ряда одних четных или нечетных цифр могло затошнить и теленка. Я обращался с туфтою как подлинный ее знаток. Я туфтил с увлечением и выдумкой. Я рассыпал и запутывал цифры, вязал ими, как

ниткой, расставлял, как завитушки в орнаменте, то медленно полз в гору, то бешено взмывал ввысь. В азарте разнообразия я даже низвергнулся под уклон.

– Постой! Постой! – закричал изумленный учетчик. – У тебя недавно было семнадцать тачек, а сейчас ты говоришь: пятнадцатая!

– Теперь ты сам убедился, насколько я честен, – сказал я величественно. – Мне чужого не надо. Но я оговорился, пиши двадцатая.

Он покачал головой и написал: восемнадцатая. Фейерверк моих производственных достижений его ошеломлял. Он стал присматриваться ко мне внимательней, чем ко всей остальной бригаде. Еще час назад меня бы это огорчило. Я поиздевался над его запоздалым критическим усердием – я наконец добрался до толстого дерна. Лопата здесь уходила в землю с ободком. Сгоряча я не заметил, как много труднее стало резать этот высокий земляной слой.

Мои соседи тоже приползли к желанной линии. Во время очередного перекура мы сошлись в кружок.

– Станет легче, – устало пораздовался Алексеевский.

– Ровно на столько, на сколько тридцать процентов нормы легче пятнадцати, – уточнил Хандомиров. – У меня все записано – поинтересуйтесь.

Никто не проявил любопытства. Мы знали, что Хандомиров в расчетах не ошибается. Восторг оттого, что удалось блестяще освоить туфту, погас во мне. Каждая моя косточка ныла от усталости. Я с печалью смотрел на Алексеевского и Альшица. Я знал, что им еще хуже.

В этот момент в нашу работу властно вмешался Потапов. Если раньше он гнал нас вверх, к «большому дерну», то теперь внезапно затормозил порыв к краю площадки. Он приказал возвращаться вниз, на тощие земляные покровы, к скалам, еле прикрытым мхом.

– Черт знает что! – сказал он непререкаемо. – Выбираете работешку повыгоднее? Будьте любезны очищать площадку по плану!

Он говорил это так громко и раздраженно, что никто не осмелился спорить. Мы с горечью отступились от вскрытого нами мощного земляного пласта. Отныне мы быстро очищали большие площади, но тачка набиралась не скоро. Мы надвигались на обрыв, сбрасывая в него остатки жалкого травяного покрова. Уставшие и приунывшие, мы еле плелись. Мы знали, что нас уже ничто не спасет от штрафного пайка.

– Я подтверждаю, что бригадир у нас полоумный, – мрачно сказал Альшиц.

– Рассчитывать он не умеет, – поддержал Хандомиров. – Ум бригадира – это расчет!

Потапов носился по площадке, поглядывая на часы, уцелевшие у него после всех обысков и изъятий, и поторапливал нас:

– Не сидеть! Здесь не дом отдыха! Чтобы все до отвала было зачищено.

Мы огрызались. Перед концом работы мы дружно ненавидели Потапова. Мы поняли, что он превратился в прислужника начальства и пощады от него не ждать. Мы негодовали и ругались, провожая его злыми глазами. Минут за пятнадцать до конца он исчез. Не сговариваясь, мы тут же забросили тачки и лопаты.

– Как вам это понравится? – пожаловался Альшиц. – Я уже думаю, что он не сходит с ума, а перерождается. Согласитесь, что для нормального сумасшедшего его действия слишком безумны.

Хандомиров обнародовал окончательный результат своих расчетов:

– Всего мы выполнили семнадцать процентов нормы. Натянем по записи около сорока... Завтра получим шестьсот граммов хлеба.

В это время со стороны конторы показалась группа начальников. Впереди надвигался Енин, за ним теснились прорабы, оперуполномоченные и снабженцы. Всех интересовало, как бригада инженеров справилась с земляными работами.

Рядом с Ениным, угодливо склонив широкую спину, шагал Потапов. Мы не слышали, что он говорит, мы видели только его заискивающее лицо и быстрые жесты рук. Мы поняли, что наговаривает на нас, оправдывая себя. Когда мы разобрались, о чем он толкует с Ениным, у нас перехватило дыхание. Даже в самых черных мыслях о нем мы не допускали того, что произошло реально.

– Я со всей ответственностью заявляю, что записи лживы, – громко заговорил Потапов, когда начальственный отряд остановился. Теперь мы стояли двумя тесными кучками – у обрыва бригада инженеров-землекопов, выше – начальники, а в крохотном пространстве между нами и

ими – Потапов и помертвевший от ужаса учетчик. – Вот посмотрите, разве этому можно верить? – Он вырвал листок из рук учетчика. – Девятая тачка, потом тринадцатая, потом четырнадцатая и сразу семнадцатая. Я не виню учетчика, но его нагло обманывали! Так можно и триста процентов получить запросто.

Он смотрел на Енина, а мне казалось, что он пронзает беспощадным взглядом меня. Он цитировал мои цифры, вольное творение туфточа-фантазера. Я недавно так гордился этими звонкими цифрами, теперь они падали на меня как камни. Я опустил голову, дыхание сделалось маленьким и робким.

Енин спросил:

– Что же вы предлагаете, бригадир?

– Прежде всего уничтожить эту запись как зловредную туфту! – Потапов рванул листок и бросил остатки на землю. Горный ветер подхватил их и унес в отвал. Мы с молчаливой скорбью следили, как исчезает в темнеющей тундре единственная наша надежда на сносную еду. – А затем установим сами истинно выполненный объем работ. Никакой туфты – вот мой лозунг!

– Правильно – никакой туфты! У вас верный подход, бригадир, мы это запомним. А как вы определите истинный объем?

– Нет ничего проще. При вас замерим очищенную площадь и высоту дернового слоя, а затем помножим одно на другое. Вон там разрез по неснятому дерну, прошу туда!

Никто из нас не проговорил ни слова, но в воздухе пронесся ветер от полусотни разом вздохнувших грудей. Минутой позже Хандомиров, быстро проделав в уме расчет, восторженно прошептал:

– Вот это туфта так туфта! Почти вдесятеро! Процентом сто тридцать нормы – ручаюсь головой! Боже, какие мы кусочки в сравнении с Михаилом Георгиевичем!

А когда начальство, утвердив промеры, проделанные при нем и пригрозив, что так будет и впредь при каждой попытке очковтирательства, наконец удалилось, мы всей бригадой набросились на Потапова. Мы качали его, сменяя один другого, и, снова вступая в дело, кричали ликующе, с хохотом и свистом, с хлопаньем в ладоши и кровожадными криками: «Никакой туфты! Никакой туфты!» Потапов потерял голос еще до того, как мы наполовину выплеснули переполнявшие нас чувства. Он шатался и закатывал глаза. Мы схватили его под мышки и потащили к вахте, не выпуская из рук, и орал на всю темную тундру тот же дикий, воинственный припев, ставший отныне нашим лагерным «гимном».

Все замеры в кусты!

Все замеры в кусты!

Никакой туфты!

Никакой туфты!

...В этот знаменательный день я не только познакомился с туфтой, но и понял самое важное: настоящую туфту можно зарядить лишь под флагом принципиальной борьбы с туфтой!

Если в лагере и выпадает порой какое-то счастье, то в этот день оно посетило нас. Мы бригадно радовались в дороге, хохотали в бараке. Ничего особенного не произошло – раз в семь или восемь преувеличили реальную выработку, нормальное производственное вранье, без крупного обмана и маленькой конторки не выстроить – только и всего. Но нас восторженно потрясла фантастичность обмана. Были какие-то изящность и красота в том, как обеспечил наш бригадир завтрашний нормальный паек. Туфта была заряжена не той топорной, ремесленной работой, какую мы пытались самолично сотворить лживыми цифрами вывезенных тачек. Нет, она покорила мастерством, равновеликим искусству, а не производству.

– Потапов – человек министерского ума, – твердил увлекающийся Хандомиров. – Ему бы главнокомандовать, а не бригадой. С таким не пропадешь, это точно.

Нам в тот вечер казалось, что найден единственно верный способ нормального существования в лагере – туфтить и туфтить, переходить от одного обмана к другому, заботиться не о деле, а о показухе. Мы почему-то все поголовно уверились, что так будет продолжаться всегда. Никому – кроме самого Потапова, разумеется, – и в голову не пришло, что ни Енин, ни его прорабы, ни даже оперуполномоченные на Metallургстрое ни секунды сами не верят в

истинность фантастических земляных выработок. Но они знали, что если их не одобрить сегодня, то завтра, ослабленные недоеданием, мы и того мизера не выработаем, какой реально наработали сегодня. Близилась выемка котлованов под оборудование, там ни показуха, ни туфта не проходили – машины надо ставить на настоящие фундаменты. Когда начались эти работы, я уже не трудился на Metallurgstroe, но с товарищами еще встречался – им было нелегко! Ян Ходзинский, дольше других потрудившийся на «общих работах», так сформулировал следующий этап строительства: «Наверху – Бог, по бокам – мох, впереди – ох!»

После ужина вся бригада повалилась на нары. Кто-то подсчитал, что каждый лишний час сна эквивалентен пятидесяти калориям пищи – таким резервом энергии нельзя было пренебрегать. Правда, нам для нормального существования тогда не хватало, наверно, тысячи две калорий, то есть лишних сорока часов сна ежесуточно, но тут уже ничего нельзя было поделаться.

Я перед сном погулял по лагерю. У клуба небольшая толпа ожидала, когда откроют двери. На стене висело объявление, что сегодня самодеятельные танцы и производственные частушки, а во втором отделении скрипичный концерт Корецкого, заключенный скрипач играет на собственном инструменте. Я уселся в первом ряду. Народу быстро прибывало. Не так много, как при показе кинофильмов, но с ползала набралось. Первая часть меня не увлекла – та самая самодеятельность, которая, по определению Хандомирова, делалась не профессионалами и потому восторгов не вызывала.

А скрипач Корецкий играл хорошо. Он, как и мы, был еще в гражданской одежде, а не в лагерном обмундировании – правда, не во фраке, как полагалось бы, будь он на воле, а в пиджачной паре.

В нашем соловецком этапе его не было, он, наверно, прибыл с красноярцами, их партия выгрузилась в Дудинке вскоре после нашей. И ему, и его аккомпаниатору – тоже профессиональному пианисту – дружно похлопали. В зале сидели и настоящие любители музыки.

Корецкий завершал клубный вечер. Он еще не раскланялся на сцене, а зрители уже повалили вон. Я подошел к скрипачу и поблагодарил за музыку. Он ответил равнодушным кивком, признание лагерного слушателя, вероятно, и не заслуживало большего. Я продолжал:

– Меня взяли в Ленинграде, а судили в Москве. И вот перед самым арестом приключилась такая история. В Большом зале Ленинградской филармонии объявили концерт известного скрипача. Я поспешил туда, но все билеты были проданы. И сколько я ни выпрашивал лишнего билетика, попасть на концерт мне не удалось. Я очень жалел, в программе значились прекрасные скрипичные пьесы.

Корецкий немного оживился:

– Наверно, был концерт Мирона Полякина или Михаила Эрденко? Они часто тогда выступали. Я сам очень люблю этих превосходных скрипачей.

– Это был ваш концерт, Корецкий, – сказал я. – И на ваш концерт в Ленинграде я не достал билета. А сейчас слушаю вас, не затратив ни денег, ни времени на очередь в кассе. И не знаю, радоваться этому или печалиться.

Он смущенно засмеялся и пожал мне руку. Несколько человек, заинтересованные нашим разговором, подошли поближе. Корецкий оглянул опустевший зал и что-то сказал аккомпаниатору. Тот пожал плечами. Пожалуй, я сыграю вам кое-что из программы того концерта, раз уж вы тогда не сумели меня послушать. И только сольные вещи, у нас нет нот для аккомпанемента.

Я уселся на прежнее место, рядом сел аккомпаниатор. Все оставшиеся слушатели заняли два ряда. Корецкий сыграл «Цыганские напевы» Сарасате, кусочек из баховской «Чаконны», две скрипичные арии – Генделя и Глюка. Я слушал закрыв глаза. Великая музыка в лагерном клубе хватала за душу еще сильнее, чем в нарядных концертных залах. Корецкий опустил скрипку и сказал:

– Простите, больше не могу. Наш паек не восполняет затраты даже физической энергии, не говорю уже о нервной. Оправлюсь после этапа, буду играть больше. Спасибо всем, что так слушали меня!

Он благодарил нас, мы благодарили его. Я вышел из клуба и стал бродить по опустевшему лагерю. Музыка опьянила меня сильнее, чем вино, она расковывала душу, а не тело. Музыка надо было пережить в одиночестве. Я подходил к нашему семнадцатому бараку и возвращался к

запертому клубу. Из кухни возле клуба тянуло запахом завтрашней утренней баланды, я два раза прошлялся мимо раздаточного окна и непроизвольно втягивал в себя малопитательный аромат. Близость кухни мешала восстанавливать в памяти услышанные мелодии. Я рассердился на себя, что низменные потребности тела не корреспондируют высоким наслаждениям души, и пошел в барак.

С верхних нар свесил голову Прохоров.

– Ну как, Серега, концерт?

– Отличный. Можешь пожалеть, что не пошел.

– Жалею только о том, что раздатчик не налил второй миски супа. Слышал недавно лагерное изречение: одной пайки мало, а двух не хватает. Точно по мне.

Его жалобы вдохновили меня на ослепительную идею.

– А трех паек хватило бы, Саша? Могу предложить их.

Он даже вздохнул, до того несбыточны были мои посулы.

– Не уверен, что и тех хватит, но попробовать бы надо. Помнишь, как учили вузовские диаматчики: критерием истины является практика. Особенно в лагере – очень уж философское это учреждение.

– Тогда слезай со второго этажа, бери бак – и пошли за тремя порциями баланды для каждого. Он ни единым членом не пошевелился.

– Не трепись! Сам трепло, но такого...

– Все-таки послушай.

И я рассказал, что, проходя мимо столовой, почуял дух еще не полностью розданной сегодняшней баланды. Бригады на ночные работы не выводят, организованных раздач больше не будет. Что поварам делать с остатками варева? Сами поедают, потчуют друзей... Почему бы нам не выпросить немного и для себя? Могут шугануть, да ведь попытка не пытка.

Прохоров проворно соскочил с нары и схватил бачок.

– Пошли, Сергей. Условия такие: я несу бак, ты выпрашиваешь баланду. Тискать романы и раскидывать чернуху, выражаясь по-лагерному, ты мастер. Так вот – сегодня ты должен превзойти самого себя – в смысле переплюнуть любого оратора.

– Будь спокоен. Пламенные проповеди епископа Иоанна Хризостома, прозванного Златоустом, покажутся невнятной мямлей сравнительно с моей речью к поварам.

Но вся заранее расхваленная моя речь свелась к двум умоляющим фразам. Прохоров взметнул пустой бачок на раздаточный столик, из окна выглянул упитанный поварюга – щеки шире плеч, а я, смешавшись, пробормотал:

– Кореш, будь человеком. Нам бы остатку, понял... Повар вытарасился на меня и издевательски ухмыльнулся. Видимо, еще не было случая, чтобы Укус Помидорычи из «пятьдесят восьмой» осмеливались просить добавки. Он взял бачок, кликнул помощника и пошел с ним к котлам. Спустя минут пять – наливали в бак литровыми черпаками – оба они единым махом водрузили на столик наполненную доверху посуду Повар со смешком снабдил меня ценным наставлением:

– Тащи, доходяга. И не обварись, суп горячий. Я поманил скрывавшегося в тени Прохорова.

– По условию – носка твоя.

Но он не сумел даже снять трехведерный бак со стола. Вдвоем мы все же стащили его на землю, не пролив и капли драгоценного варева. Вцепившись в ручки бака, мы потащили добычу в барак. Но руки долго не выдерживали тяжести, мы менялись местами. Это удлиняло отрезок пути без остановок не больше, чем на десяток метров. Потом Прохоров предложил тащить в четыре руки. Стало легче держать бак, зато трудней двигаться: идти приходилось боком вперед. На полдороге, у каменной уборной, солидного домика с обогревом и крепкой крышей – сконструировали для пурги и тяжкоградусных морозов – я попросил передыха.

– Отлично! Пойду, облегчусь, – сказал Прохоров и направился к уборной.

Но его остановил парень из «своих в доску» и заставил вернуться.

– Парочка заняла теплое местечко, так он сказал, – объяснил Прохоров возвращение.

Мы с минуту отдыхали, потом снова взялись за ручки. Из уборной вышли мужчина и женщина, к ним присоединился охранявший любовное свидание – все трое удалились к другому краю лагеря, там было несколько барачков для бытовиков и блатных.

– Мать-натура в любом месте берет свое, – сказал Прохоров, засмеявшись, – Теперь так, Сергей, через каждые сто шагов остановка на три минуты. Шаги считаешь ты, ты физмат кончал, а я лишь электрик.

– Электрики без математики – народ никуда, – возразил я, но начал считать шаги.

Втащив ношу в барак, мы поставили бачок на длинную скамью, протянувшуюся вдоль стола, и сами изнеможенно повалились на нее по обе стороны бака – так уходились, что не было сил сразу хвататься за ложки. Барак мощно спал, наполняя воздух храпом, сонным бормотанием и разнообразными испарениями. Я предложил будить всех и каждому выдавать по миске супа. Прохоров рассердился.

– Слишком жирно – всем по миске. И не подумаю подкармливать тех, кто раздобылся деньгами, жрет провизию из ларька, а с нами и в долг не поделится. Будим только хороших людей и настоящих доходяг. И не всех разом, а по паре, чтобы без толкотни и шума. Первая очередь – наша с тобой. Работаем!

Мы принялись выхлебывать бак. Пшеничный суп был вкусен и густ, в нем попадались прожилки мяса. Но когда, впихнув в себя порции четыре варева, мы отвалились от бака, уровень в нем понизился всего лишь на три-четыре сантиметра.

– Нет мочи, – огорченно пробормотал Прохоров. – Погляди, брюхо, как барабан. Не то что ложкой, кулаком больше не впихнуть.

Я отозвался горестно-веселым куплетом, еще с великих голодух 1921 и 1932 годов засевшим у меня в мозгу:

Что нам дудка, что нам бубен?

Мы на брюхе играть будем.

Брюхо лопнет – наплевать!

Под рубахой не видать!

– Я бужу Альшица, ты Александра Ивановича, – сказал Прохоров.

Старик Эйсмонт, услышав о неожиданном угощении, поднялся сразу. Альшиц сперва послал Прохорова к нехорошей матери за то, что не дал досмотреть радужного сна, но, втянув ноздрями запах супа, тоже вскочил – даже в самых радостных сновидениях дополнительных порций еды не выдавали. Эйсмонт похлебал с полмиски и воротился на нары. Альшиц наслаждался еще дольше, чем мы с Сашей Прохоровым. Затем наступила очередь Хандомирова и Анучина, после них разбудили бригадира Потапова и бывшего экономиста Яна Ходзинского. Эта пара гляделась у бака эффективней всех – рослый Потапов, не вставая со скамьи, загребал в баке ложкой, как лопатой, а маленький Ходзинский приподнимался на цыпочки, чтобы захватить супа в глубине бака. Пиршество в бараке продолжалось до середины ночи, но мы с Прохоровым этого уже не видели. Мы, обессиленные от сытости, провалились в сон, когда над баком трудилась четвертая пара соседей.

... Рассказ мой будет неполон, если не поведаю о нескольких встречах с Прохоровым, после того как мы – надеюсь, навек – распростились с лагерем. В 1955 году решением Верховного Суда СССР нас обоих реабилитировали. Прохоров испытал еще одну радость, мне, беспартийному, неведомую – его восстановили в партии со всем доарестным стажем. Он жил у сестры в Гендриковом переулке, в доме, где некогда обитали Брики и Маяковский, там уже был тогда музей Маяковского.

– Срочно ко мне, встретимся на Таганке, – позвонил мне Прохоров, я тоже тогда жил в Москве у родственников.

У станции метро на Таганке Прохоров рассказал мне о своей радости и объявил, что ее надо отметить: душа его жаждет зелени, которой нам так не хватало на севере, а также хорошего шашлыка, отменного вина и небольшого озорства – из тех, которым все удивляются, но которые не заслуживают милицейской кары. Я предложил поехать в Парк культуры и отдыха – зелени там хватит на долгую прогулку, а шашлыков и вина в ресторане – на любые культурные запросы. Что же до хулиганства, то выбор его предоставляю ему самому. Мы спустились в метро. На середине эскалатора Прохоров, скромно стоявший на ступеньке, вдруг издал дикий индейский клич и мгновенно принял прежний скромный вид. На нас обернулись все, находившиеся на эскалаторе. Боюсь, виновником отчаянного вопля пассажиры посчитали меня – я неудержимо хохотал, а с лица Прохорова не сходила постная благодность, почти святость.

Мы поднялись вверх на Октябрьской площади. Прохоров вдруг затосковал. Воинственного клича в метро ему показалось мало, ликующая душа требовала чего-то большего. Он пристал ко мне – что делать? Я рассердился. Меня затолкали пешеходы, ринувшиеся на зеленый свет через площадь. В те годы на Октябрьской не существовало подземных переходов, все таксисты Октябрьскую, как, впрочем, и Таганку, дружно именовали «Площадью терпения», а пешеходы столь же дружно кляли. Посередине площади, на выстроенном для него бетонном возвышении, милиционер в белых перчатках лихо командовал пятью потоками машин, старавшимися вырваться на площадь с пяти вливавшихся в нее улиц.

– Что делать? Посоветуй же, что бы сделать? – громко скорбел ошалевший от счастья Прохоров.

Я показал на милиционера, величаво возвышавшегося в струях обтекавших его машин.

– Подойди к нему и поцелуй его.

Прохоров мигом стал серьезным.

– Поставишь три бутылки шампанского, если выполню.

– А ты пять, если не выполнишь.

– Годится. Гляди во все глаза.

Он решительно зашагал с тротуара на середину площади. Завизжала тормозами чуть не налетевшая на него «Победа». Милиционер сердито засвистел и свирепо замахал рукой, чтобы нарушитель порядка немедленно убирался. Прохоров подошел к милиционеру и что-то проговорил. Милиционер вдруг расплылся в улыбке и наклонил голову к Прохорову. Тот чмокнул стража порядка в щеку, что-то еще сказал и направился на другую сторону площади. Милиционер, не сгоняя дружелюбной улыбки, помахал вслед моему другу затянутой в перчатку рукой – два или три водителя, не поняв жеста, испуганно затормозили. Я побежал на переход, но пришлось переждать, пока пройдет плотный поток машин – рейд Прохорова через площадь создал немалый затор.

– Сашка, что ты ему сказал? – спросил я, догнав ушедшего вперед друга. – Не сомневаюсь, врал невероятно. Прохоров поморщился.

– Нет такого вранья, чтобы милиционеры дали себя поцеловать – фантазии у тебя не хватает.

– Что же ты ему наговорил?

– Только правда могла подействовать. Так, мол, и так, милоч, сегодня восстановили в партии со всем стажем. Прости, не могу, душа поет, дай я тебя поцелую! И поцеловал!

– Три бутылки шампанского за мной, расплата без задержки, – сказал я, восхищенный, и мы повернули в парк Горького.

Уже вечерело, когда мы уселись на веранде ресторана. Над столиком нависал абажур, в нем светились три лампочки. В душе Прохорова еще бушевал задор. Но хулиганить в одиночестве ему уже не хотелось.

– Теперь твоя очередь творить несуразное, – объявил он. Я возмутился.

– С чего мне несуразничать? Я реабилитацию уже отпраздновал.

Он показал на абажур.

– Помнишь, как в Норильске мы отмечали освобождение из лагеря? Ты тогда дважды попадал пробкой от шампанского в указанные тебе точки на потолке. Разбей пробками эти лампочки. Штрафы плачу я.

– Раньше подвыпившие купчики били зеркала, – съязвил я.

– Бить зеркала – к несчастью, – строго возразил он. – Я человек современной индустриальной культуры и верю в нехорошие приметы. Электролампочка в каталогах научного суеверия не значит. Бей, говорю тебе!

Я аккуратно установил первую бутылку на нужное место и ослабил пробку. Когда пробка сама поползла вверх, я снял руки со стола и безмятежно откинулся на стуле. На звон разлетевшейся вдребезги лампочки прибежала рассерженная официантка.

– Несчастливая случайность, – объяснил сияющий Прохоров. – Не сердитесь, девушка.

– Вот я позову милиционера, и он установит, случайность или безобразие, – пригрозила официантка.

– Правильно. Зовите, надо призвать к порядку зарвавшееся хулиганье, – сказал я. – Но учтите, девушка, этот наглый тип, – я сурово ткнул пальцем в ухмылявшегося друга, – сегодня

платит вдесятеро за каждое повреждение, которое нанесет ресторану. Время у него подошло на денежные расходы, надо этим воспользоваться.

И скажите шефу, чтобы шашлык был такой, какого и в «Арагви» не готовят.

– Больше не разбивайте лампочек, – попросила официантка.

Шашлык поспел к моменту, когда и вторая лампочка разлетелась осколками. Официантка уже не сердилась, а улыбалась. Она сказала:

– Учтите, ребята, запасных лампочек сегодня мне не достать. Если и третью уничтожите, будете сидеть в темноте.

Мы учли ее угрозу и разнесли последнюю лампочку, когда покончили с шашлыком. Официантка проводила нас до выхода и пожелала, чтобы мы приходили почаще, ей нравятся веселые люди.

Когда мы, выйдя из парка, зашагали к метро, Прохоров задумался.

Мне показалось, что он не уgomонился и обдумывает новую каверзу. Но он сказал со вздохом:

– Завтра выхожу на работу. Предлагают ответственную должность в главке, а там у них такие порядки, столько технического старья – разгрести и разгрести эти Авгиевы конюшни, как, помнишь, выражался у нас начальник культурно-воспитательной части. Надо выводить главк на уровень современной техники. Все время думаю только об этом.

– Все же не все время, – не поверил я. Он удивленно посмотрел на меня. Он не понял, почему я возражаю.

## **Под знаком водолея**

Ударная бригада инженеров-землекопов постепенно таяла. Двух или трех вызвали в Москву на переследствие – не то освободить, не то добавить срока заключения – случалось и то, и другое. Несколько «доходных» старичков устроили в «лагерные придурки», то есть перевели служить в конторы лагеря или строительства. Стали направлять и на работу, как-то отвечающую специальности. Первым таким счастливецом стал, я уже говорил, Александр Иванович Эйсмонт: он прочно засел в Норильскснабе. Вскоре дошла очередь и до моего друга Александра Прохорова: в Норильск с каждым парходом приходило энергооборудование, и то, которое он до ареста закупал в Соединенных Штатах. Без настоящего знатока электрических машин нельзя было даже рассортировать их, не говоря уже о грамотной эксплуатации.

Среди изъятых из бригады Потапова был и другой энергетик – Михаил Петренко. И перемещение его «с общих работ в тепло» произошло так своеобразно, что стало на время важной темой для лагерного треп. Петренко жил в соседнем бараке. Вечером мы с Сашей Прохоровым пошли выслушать из первых уст историю его внезапного возвышения.

Не могу сказать, чтобы я хорошо знал Петренко, его никто хорошо не знал. Широкоплечий, красивый, на голову выше меня, насмешливый и резкий, он дер-жался от всех особняком. Прохорову он по приезде сказал, что надеется на скорое освобождение, таких как он, либо сразу расстреливают, либо держат в заключении только для видимости. Но его не расстреляли, значит освободят досрочно, то есть не дальше двух-трех лет. Он, мы знали это, был из молодых специалистов, которые быстро взбирались по служебной лестнице в годы 1936 – 38-е, когда тюремная эпидемия радикально чистила начальственные кабинеты. За несколько лет он пробежал в административном аппарате от рядового инженера до начальника не то главка, не то управления. Энергооборудования в Наркомтяжпроме. И быть бы ему в самой скорой скорости замнаркома, не срази его зараза чьих-то доносов.

Петренко сидел на скамье у стола, а вокруг – на той же скамье и на нарах – размещались слушатели. Мы с Прохоровым тоже уселись на нары. Петренко с воодушевлением разглагольствовал:

– А началось, ребята, с того, что я заметил, как раскачиваются лампочки на столбах. Ну, думаю, дает ветер! А грянут пятидесятиградусные морозы и сорвутся дикие пурги? Я спросил Александра Ивановича, он уже засел в Норильскснабе, сколько лампочек занаряжено Норильскстрою до следующей навигации. Двести тысяч штук, вот такую он дает справку. Все ясно, думаю, в середине полярной ночи Норильск погрузится во тьму. И пишу заявление нашему

главному начальнику Завенягину: есть все основания считать, что в феврале Норильскснаб израсходует последнюю лампочку, потому что в условиях Заполярья срок службы осветительных приборов существенно сокращается. Имено по этому поводу конкретное предложение – прошу принять лично. На другой день в бараке курьер с винтовкой: срочно за мной, вещей не брать. И прямо к Завенягину. А мы с ним и на воле были немного знакомы: он требовал в Наркомтяжпроме всякое оборудование для Магнитостроя, где работал директором, я по своей линии старался удовлетворить. «Знаете ли вы, – говорит он, – что Госплан решительно отклонил нашу просьбу о большем количестве лампочек? Вы собираетесь воздействовать на Госплан, который отказал мне?» Не на Госплан, говорю, в Госплан у меня нет ходов. Но если разрешите дать личную телеграмму на склады Госрезерва, то там у меня были связи, в прошлом не раз выручали меня, а я, естественно, их. Он берет ручку: «Адрес складов Госрезерва, кто там начальником? – И объясняет: – Дам телеграмму от своего имени, можете идти». И тот же гаврик с винтовкой – дежурил за дверью – обратно в барак. Это было две недели назад.

– Две недели никому ни слова! – восхитился Прохоров. – Выдержка у тебя, Миша!

– Нечем похвастаться, вот и вся выдержка. Я ведь на что рассчитывал? Посадили меня без права переписки, знакомые наверняка думают, что расстрелян. А я, нате вам – жив! Впечатление, понимаете! И вот дней пять назад снова посол с винтовкой. Завенягин мрачней нашего заполярного неба. «Вы издеваться надо мной вздумали, а ваши приятели заодно с вами?» И сует ответную телеграмму: «Материалами Госрезерва распоряжается маршал Ворошилов. Сообщаю его адрес: Москва, Фрунзе, 19». Я говорю: «Простите, гражданин начальник строительства, но ведь я предлагал послать телеграмму лишь с вашего согласия, но от своего имени». Он указывает на стол: «Пишите!» Я пишу: «Дорогой Коля, жив, здоров, работаю Норильскстрое. Очень прошу выделить для нашего заполярного строительства тысяч двести электролампочек. Заранее благодарю. Петренко». Завенягин: «Сегодня же отправлю, но если и тут будет обман...» И поглядел – ударил! А вчера новый вызов, совсем другое лицо. Вежливо предлагает сесть, показывает телеграмму: «Счастлив, что ты здоров. Лично слежу продвижением вагона лампочек адресу Красноярск, контора Норильскстрое. Николай».

– Воистину, блат носит пять ромбов! – воскликнул кто-то из слушателей.

– Покажи телеграмму! – потребовал Прохоров.

– Еще чего! На ней же стоял шифр «секретно». Хоть и мне адресована, но держать ее не имею права. Я не кончил, ребята. Завенягин говорит: «Завтра вас переведут из бригады общих работ в Норильскснаб. Получите пропуск для бесконвойного хождения по всем производственным объектам, вам также назначается персональный оклад в размере двухсот пятидесяти рублей в месяц».

– Не оклад, а промвознаграждение, – поправил другой слушатель. – Оклады только у вольных.

– Ну дела! – воскликнул Прохоров. – Миша, говорю тебе точно: в будущем году выйдешь на волю! Завенягин хороших работников ценит.

– И я так думаю, – скромно согласился Петренко. – И уже написал своим, что надеюсь в будущую навигацию появиться в Москве.

...Михаил Петренко в будущем году не появился в Москве. Еще немало лет должно было пройти, прежде чем он вышел на волю. Завенягин был многовластен, в недалеком будущем ему предстояло возвыситься до заместителя самого наркома НКВД, он мог своей властью посадить любого в тюрьму или ввергнуть в лагерь, но освободить уже посаженного было сверх его сил и прав. Петренко освободился из лагеря не скоро и не на радость. Он выглядел крепче любого из нас, но его сразил паралич – и уложил, уже вольного, в постель на долгое и мучительное умирание. Не знаю, действовал ли тут климат, или безрадостное существование, но среди моих знакомых четырех человек свалили параличи. И хоть в Норильском лагере обитали десятки тысяч заключенных, я числил в знакомых человек сто, от силы полтора. Четверо паралитиков на полтора здоровых людей – слишком зловещая цифра, чтобы ее отнести лишь к статистически вероятным...

Мы – инженеры-землекопы – продолжали уменьшившейся бригадой ходить на промплощадку Metallургстроя. Но уже не снимать дерн с земли, а копать котлованы. И труд стал мучительно трудней, и погода не радовала. Отведенный нам уголок планеты в сентябре попал под

созвездие Водолея. Ничем другим я не могу объяснить, почему так низко оседали на горы тучи, почему они были так черны, так обильно напоены водой. Дождь лил и лил, как заведенный, он переставал изредка на часок, чтоб потом припустить с учетверенной силой. Он шел только днем и, похоже, только для нас. Поздним вечером, когда мы укладывались на нары, он переставал. Ночью неяркие звезды насмешливо подмигивали раскисшей, заболотевшей земле. К утру небо снова хмурилось.

Мы выходили на развод к шести часам. Охрана пропускала через ворота тысячи заключенных, отсчитывая при свете факелов и ручных фонарей каждую пятерку. Операция выхода на работу занимала не меньше двух часов. Полчаса из них можно было слукавить в бараке, но на большее нас не хватало: по зоне метались коменданты и нарядчики, лучше дрожать в колонне, медленно подползавшей к воротам, чем сносить брань и тычки. Чтобы подстегнуть нас, нарядчики временами объявляли, что сегодня – развод без последнего. Ну и торопились же тогда! Последнему, замешкавшемуся в зоне, так доставалось, что в этот день ему выдавали в медпункте освобождение, не допытываясь, где болит и давно ли началась хворь.

Я замечал, что дождь терпеливо выжидает, чтоб я пристроился в свой ряд. Пока я торчал в очереди за едой и слонялся по зоне, он собирался с силой. Первые капли падали, когда я подталкивал Хандомирова к краю, чтобы стать на свое место. Потом с другого бока меня толкал неповоротливый Липский, а его Альшиц, и дождь усиливался. Наши движения синхронизировались: мы делали шаг, он – скачок, мы приближались к вахте, он становился гуще. За воротами, на улице, мы всей колонной бежали, а он лил как из ведра.

Все это было по-своему забавно. Иногда мне даже нравилось мое странное существование: и эти черные тени, мечущиеся по зоне от нарядчиков, как грешники от чертей, и эта серая дождливая завеса перед глазами, и расплзающаяся под ногами земля, и пылающие у вахты факелы, и громкие крики охраны: «Проходи! Первая, вторая, третья!..» Я уговаривал себя: «Надо, дьявол его дери, испытать и такое – насколько жизнь твоя стала богаче впечатлениями!» Нормального человека подобные рассуждения, вероятно, лишь возмутили бы. Я к нормальным людям не принадлежал. Жизнь играла в каждой моей клетке, я не мог не радоваться жизни, как бы она ни была скверна. Я был счастлив уже потому, что существовал, что явился в этот довольно нелепый, но, в общем, сносный мир. Остальное было тоже важно, но не так. Думаю, что и тело, и дух мой требовали жестокого испытания, как ноги требуют порой бега, а кулаки – драки. Я утверждал себя, упрямо отвергая все, что пыталось меня согнуть. Даже в следственной камере, шагая из угла в угол, я вечно что-нибудь мурлыкал под нос. Многие считали меня дурачком, другие простачком, Анучин утверждал, что я попросту здоровяк. Как бы там ни было, мне иногда бывало хорошо, когда было плохо.

Подставляя горевшее лицо холодной россыпи дождя, я начинал произвольно напевать. Меня толкал локтем Липский.

– Займемся делом. Вчера мы остановились на преобразованиях Лоренца.

Мы уже несколько дней коротали развод во взаимных лекциях. В эту неделю была моя очередь, я излагал Липскому теорию относительности. Без бумаги и карандаша это было непросто, но он легко разбирал и запоминал формулы, написанные мной пальцем в воздухе. Я говорил вчера об опытах Майкельсона и Морли, о принципах механики Ньютона, о нелепом, ничего не выражающем абстрактном пространстве Ньютона, вытеснившем из науки живое, телесное, реально существующее пространство Декарта и Спинозы, и о том, к каким парадоксам привело это незаконное вытеснение. Когда я принялся чертить в воздухе знаменитую формулу Эйнштейна для замедления времени на движущихся телах, Альшиц с тоской проговорил:

– Как вам не надоест, товарищи? Так плохо, так абсолютно плохо, а вы еще о каких-то относительностях! Неужели не можете найти другого времени для ваших формул времени?

Я сконфуженно замолчал. Альшиц кутался в свой роскошный шалевый воротник, наружу высывался один посиневший нос. Он устал, еще не выйдя на работу. Даже наш негромкий разговор заставлял его страдать. Я вытер полотенцем, висевшим у меня на шее, мокрое лицо. Поднимался ветерок, дождь бил в глаза. С каждой минутой становилось холоднее.

– Продолжайте, – сказал Липский. – Мы не мешаем, мало ли у кого расходятся нервы!

Он стоял к Альшицу вполоборота, чтобы заслонить его спиной от моих объяснений. Я понизил голос. Речь шла о потрясающих открытиях. Все, что в мире имело массу, содержало и

скрытую, невероятно огромную энергию, теперь это было доказано научно строго, простым разложением в математический ряд. А сама механика Ньютона с ее крохотными кинетическими энергиями и микроскопическими земными скоростями оказывалась лишь частным случаем, предельной гранью этой новой, созданной совсем недавно, какие-нибудь тридцать лет назад, могущественной механики больших энергий и скоростей.

Мы так увлеклись, что и не заметили, как подошли к воротам. Раздалась команда:

– Бригада Потапова, вперед! Первая, вторая, третья...

Одна пятерка за другой выбирались на улицу и там останавливались, поджидая, пока не сосчитают всех. Конвоиры выстраивались в голове с винтовками наперевес, как бы собираясь в атаку, с боков нас охраняли стрелки с овчарками. Потом старший в конвое закричал: «Пошли!» – и мы побежали. Мы не могли не бежать. Бег начинал передовой стрелок, озябший за время развода, в бег рвались овчарки, застоявшиеся у вахты, в бег стремились и мы сами – только бег мог нас согреть. Мы бежали, проваливаясь в лужи, толкаясь и теряя равновесие, квартала три или четыре, потом понемногу замедляли шаг. Сверху, из невидимых туч, лился ледяной дождь, навстречу ему поднимался густой пар. Мы двигались, окутанные паром, как саваном. Мы уже не только мокли, но и просыхали. Наступало равновесие между низвергающейся на нас водой и водою, испаряемой нами. Равновесие это было довольно сырым. Последние дома улицы Заводской остались позади. Впереди показалась вахта промплощадки.

– Вчера у Завенягина снова решали, как с нами быть, – сказал Альшиц. – Скоро мы узнаем, кого еще отобрали на специальную работу. Все на свете имеет конец, даже безобразия... Больше недели я не вынесу. У входа в производственную зону бег сменился очередным топтанием на месте. Каждая пятерка придирчиво сосчитывалась, потом пропускалась. Ветер дул в спину, я запахнул воротник, чтоб дождь не проникал за шиворот. Наступил смутный рассвет. С гор летели растрепанные дикие тучи, земля всхлипывала под ногами. Мир был безобразен, конечно. Но он трогал мое сердце даже своим безобразием. Я готов был выносить его ровно столько, сколько буду жить, – ни секундой меньше! Другого мира не имелось.

Как следует рассвело часов в одиннадцать. Я разогнул ноющую спину и вылез из котлована. Гор не было видно из-за окружавших их туч. Мне иногда казалось, что облака не опускаются на горы, а нарождаются на горах. Тучи сползали с вершин по склонам, срывались в долину и неслись темной массой, оставляя на пиках лиственниц зацепившиеся космы. Обычно во время дождя туч не видно. Но северный дождь по три раза в час меняет свою природу. Сейчас тоже шел дождь, но неслись тучи. Этот северный дождь мало напоминал веселые ливни юга. Он не был похож и на тот, что разразился на разводе. Он состоял теперь из мельчайшей водяной взвеси, непрерывно опускавшейся на землю. Когда задувал ветер, взвесь устремлялась вперед – и начинало казаться, что ты попал в разреженный поток воды. В этом удивительном дожде не было ни капель, ни струй, но из-за обилия воды не хватало воздуха. Я разевал рот и, как рыба, глотал это химическое соединение воды и воздуха, отплевывая воду и проглатывая воздух. По мху и глине с шелестом уносились мутные потоки.

Липский, увидев, что я выбрался наружу, сделал мне знак подойти. Он стоял с Альшицем и Алексеевским. Вместе со мной к кучке приблизились Хандомиров с Яном Ходзинским. Тот раньше трудился на другом краю площадки, а сейчас перебрался к нам. У нас было веселее, мы чаще собирались на отдых и дольше занимались коллективным трепом.

– Потапова потребовали к начальству, – сказал Альшиц. – Что бы это значило?

– Это ничего не означает, – разъяснил Хандомиров. – Устроят ему втык за плохую работу бригады.

– Нас сегодня вызовут для разговора, – решил старый химик Алексеевский. – Вот увидите, вызовут!

Ходзинский дрожал от холода и сырости, у него посинело лицо. По щекам Липского текла вода. К середине дня Липский падал духом, к вечеру снова отходил. Перед перерывом на обед он изнемогал до того, что готов был лечь в болото. Кружка кипятка, принесенная из конторки, взбадривала его, как иных стакан вина.

– Пустыня, – сказал он горестно, оглядываясь красными от усталости глазами. – Одна пустыня, даже березки нет!..

Березок не было, потому что мы их все срубили на площадке будущего завода. Я хотел

напомнить об этом Липскому, но разговор захватил Ян Ходзинский. Ян был человек особого склада, у него не бывало упадка духа. Я уверен, что он мог бы смеяться и шутить даже после допроса с избиением. Он был жизненнаполнен и бодр. Родители, видимо, замесили его не на обычной нашей жиденькой водичке унылого приспособления к жизни, а на крутом концентрате оптимизма. В любом положении он находил что-нибудь такое, что радовало. Хандомиров острил, что, когда Ходзинского поведут на расстрел, он будет торжествовать: «Вы слышали, меня собираются расстреливать? Не вешать, не топить, не четвертовать, а расстреливать! По-моему, это неплохо!» Даже голос у него был своеобразный – тонкий и пронзительный, слышный на далеком расстоянии.

– Сегодня утром вызвали на освобождение Збарского, – сказал Ходзинский, улыбаясь посиневшим лицом и стараясь сдержать дрожь в ногах. – А он всего две недели назад получил первое сообщение о переследствии. Колесо раскручивается назад. Следующий, очевидно, Липский. Вот увидите, не пройдет и года, мы все выйдем на волю!

На его разнесшийся по площадке голос пришло еще человек пять. Теперь не меньше трети бригады, забросив работу, спорило, точно ли раскручивается колесо назад и будут ли полностью исправлены ежовские перегибы Липский и без Яна знал, что его вскоре освободят. На воле он работал главным инженером одного из крупнейших мясокомбинатов страны. Жена его недавно сообщила, что посетила Микояна, тот хорошо знал Липского по работе и обещал посодействовать пересмотру дела. Содействие такого человека было равноценно гарантии. Липский уныло махнул рукой в ответ Ходзинскому. Освобождение приближалось, но до него еще надо дожить. Он снова с тоской оглянул небо и землю. Ветер по-прежнему нес в лицо ледяную мокрядь, от нее нигде не было спасения. Липский выкрутил полу набрякшего бушлата, из-под пальцев струйками брызнула вода.

– Двенадцать часов дня, – сказал он – Еще шесть вкалывать. Шесть часов!  
Я возвратился в свой котлован, но взялся не за кирку, а за карандаш и блокнот.  
Я чиркал и вписывал, снова чиркал, потом прочитал, что получилось:

Пустыня. Ничего. Ни лоскутка  
Шатра случайного, ни ели, ни березы  
Пустыня. Камни. Горная река  
Вода, текущая по мху, как слезы  
Земли угрюмой ледяная дрожь  
Да тучи, рухнувшие в неботрясенье...  
Холодный дождь, холодный мелкий дождь...  
Нет мне защиты, нет спасенья!

Когда я управился со строчками, меня охватил восторг. Я захохотал и пригрозил кулаком затученному небу. Теперь я со всеми ними сосчитался – и с небом, и с дождем, и с землей, и с ветром. Отныне они бессильны надо мною. Я с наслаждением подставил ветру лицо, кожа приятно горела от ледяной воды.

– Сергей, давай сюда! – донесся издали пронзительный голос Ходзинского. Тебя требуют на завод.

Я кинулся на голос. Над группкой взволнованных инженеров возвышался рослый Потапов. Он сердечно пожал мою руку.

– Поздравляю! Главный металлург пожелал познакомиться с вами. Насколько я понимаю, на днях вы покинете нашу бригаду.

Сторяча мне показалось, что я один удостоен почетного приглашения. Я собирался немедля бежать на завод, Потапов задержал меня. Всего отобрали двенадцать человек, надо идти компактной группой. Один за другим подходили вызванные. Среди них был и Альшиц, он впервые за много дней улыбался.

– Дорога туда неважная, – сказал он. – Нехорошо, если перед приемом у главного металлурга мы с вами вываляемся в грязи.

Если ближние горы были видны довольно отчетливо, то тундра вся пропадала в пелене дождя. Где-то внизу, на выходе в равнинный лесок, лежал небольшой заводик, куда нас

потребовали. К нему надо было спускаться по бездорожью – скользить по мшистым склонам, пересечь Куропаточий ручей, огибать болота и озера. И надо было торопиться, нас вызывали на двенадцать часов, а шел второй. Мы с Альшицем взяли друг друга под руки, это помогало в трудных местах.

Я никогда не бывал на металлургическом заводе и, проходя по плавильному цеху, замедлил шаг. Из огромного конвертера (спустя два года, увидев настоящие конвертеры, я понял, что этот, поразивший меня величиною, был скорее игрушечным) выливали сваренный металл, во все стороны летели огненные звезды. Мне показалось, что это шарики металла, так они ослепительно сверкали. Я со страхом склонял голову, чтоб один из этих шариков не попал мне в лицо. Путь шел через сноп звезд, и, набравшись духа, я пронесся сквозь их сияющую россыпь, как земля пронесется сквозь рой метеоров. Я тут же с тревогой осмотрел себя, нет ли ожогов, не тлеет ли одежда. Альшиц смеялся, я был смущен. Напугавшие меня брызги, погасая, превращались почти в пыль.

Главный металлург Федор Харин ожидал нас в кабинете начальника завода Ромашова. У входа в кабинет мы осмотрели друг друга – нет ли на лице грязи? На одежду мы не обращали внимания, она была так грязна, что к ней без скребка и не следовало подступаться.

Один Альшиц сдунул какую-то пылинку со слоя глины, покрывавшей полы его роскошного пальто, и поправил грязное полотенце на шее, как поправляют галстук. На ногах у него взамен выброшенных ичигов были, как у всех нас, новенькие кожаные сапоги.

Главный металлург, худой мужчина средних лет, встретил нас приветливо – назвал по фамилии, пожал каждому руку, пригласил сесть. Мы давно уже не ведали такого человеческого обращения, некоторые растрогались до слез. Но я не ощутил, что ко мне отнеслись как-то по-особому, мне было не до сантиментов. Около стола главного металлурга стояла великолепная женщина. Я еще не видал таких женщин, даже не подозревал, что они бывают. Я не мог отвести от нее глаз. Она была невелика. Ни высоченные, сантиметров на девять, каблуки, ни узкое платье не могли скрыть ее малого роста. Она и не собиралась его скрывать. Она стояла так, словно гордилась миниатюрностью. Волосы темного золота искусно вились, она часто встряхивала ими при разговоре, она отлично знала, как ей идут эти нарядные волосы. Но первым, что приковывало внимание, были ее глаза – неправдоподобно огромные, четырехугольные, до того нестерпимо сияющие, что долго вынести их взгляд было непросто. Женщина курила папиросу, длинную, как сигара, на кончике папиросы при каждой затяжке вспыхивал красный огонек, от огонька лицо алело. Это ей тоже шло. И от нее разбегались волны каких-то духов, давно позабытый в нашем теперешнем зловонном существовании аромат. Я весь подался вперед, чтобы полнее им насладиться, у меня сильно забило сердце от этого необыкновенного запаха. Альшиц дернул меня за руку, чтобы я вел себя приличней. Женщина заметила, что я рассматриваю ее с тупой восторженностью, и улыбнулась. В нее уже не раз влюблялись с первого взгляда, нового тут не было.

Я не помню, о чем говорил Харин, у меня путались мысли от совершенства этой женщины, от ее улыбки, источаемого ею аромата. Я разобрал только, что нас направляют в опытный металлургический цех, где производятся различные технологические исследования, и начальник этого цеха Ольга Николаевна Лукашевич – она! Я мигом повернулся к ней:

– Значит, теперь мы – ваше хозяйство?

– Да, мое. – Она довольно засмеялась. – Если, конечно, вы сами этого хотите – идти в наш цех, а не в другое место.

– Я ничего в жизни так не хотел, – выпалил я. – И ни на какое другое место не соглашусь!

Она мило кивнула головой и сделала такую затяжку, что на кончике папиросы вспыхнул язычок пламени.

Харин тоже улыбался. Хотя вольным строго воспрещалось радоваться счастью заключенных, а тем более – содействовать их счастью, он радовался за нас, что больше нам не изнемогать на непосильных общих работах, и за себя, что избавляет нас от них. Он не скрыл своей кощунственной радости.

– Надеюсь, никто не огорчен перспективой поработать в тепле и по специальности? – спросил он шутливо, не сомневаясь ни секунды, что все мы выразим в ответ шумную радость.

– Лично меня такая перспектива не устраивает, – чопорно сказал Альшиц.

Он встал и снова поправил на шее полотенце. Он был смешон в своей полунищенской – полубарской одежде. Покажись такой человек на улице города, его бы заулюлюкали мальчишки, обсмеяли взрослые, на него сбежались бы все собаки. В Норильске осенью тридцать девятого года никакой одежде не удивлялись. И все улыбки погасали, как только взгляд переходил с одежды на самого Альшица. Он жалко сгибался под дождем, уныло кутался от ветра, но перед людьми стоял прямо и гордо. Он мгновенно менялся, когда заговаривал с незнакомыми, особенно с вольными. Все в нем – и осанка, и ясный взгляд, и спокойная речь – утверждало его значение. Он мог быть ввергнут в заключение, но его не сделать иным, чем он есть, – так пусть все знают, каков он!

В тепле, конечно, лучше, чем на холоду, – сказал он вежливо, – но я мечтаю не о тепле и не о легком труде, а о такой работе, на которой могу принести максимум пользы. Как вам известно, я коксохимик.

Вы сможете заняться коксом в опытном цехе, – пообещал Харин. – Ваши исследования пригодятся для нашего будущего коксохимического завода.

Нет, – сказал Альшиц. – Исследования меня тоже не устраивают. Мне нужно участвовать в проектировании и строительстве этого вашего будущего завода – так лучше для завода, все остальное не так важно. Заключение не полагается возрожать начальству, они обязаны смиренно слушать, покорно отвечать: «Так точно!» – правило это вдалбливали в нас уже не один год. Могли и просто приказать нарядчику: «Такого – туда-то!» – не спрашивая, какой кто пожелал работы, и все тоже было бы в порядке. Строптивость Альшица, по нормам нашего нынешнего существования, была не только нетактичной, но и наказуемой. Харин удивился, но и не подумал пригрозить карой за непослушание. Мне показалось, что он слушает почти с сочувствием.

– Возвращайтесь на свои общие работы, раз вам не улыбается в опытном цехе, – сказал он. – Со своей стороны обещаю, что при встрече доложу о вас начальнику строительства. Возможно, он создаст специальную группу по проектированию коксохима.

Когда мы вышли из кабинета, я с возмущением обратился к Альшицу:

– Мирон Исаакович, вы – полоумный! Пока создадут вашу проектную группу, вы трижды очоуритесь в котловане. Вы сами говорили, что больше недели не протянете.

Он высокомерно посмотрел на меня.

– Никто не гарантирован от временного упадка духа, мало ли что говорят в такие минуты! Между прочим, котлован не так пугает меня, как вы думаете. Человек постепенно привыкает к любой работе. Самые трудные дни уже позади.

– Самые трудные дни впереди! – настаивал я. Надвигается зима. Разве не лучше пересидеть зиму в тепле? Через несколько месяцев вы спокойно пошли бы проектировать свой коксохим.

– Нет, не лучше. Одна мысль о том, что у них теряют силы на общих работах специалист-коксохимик, заставит их поторопиться с организацией проектной группы. Ради этого стоит потерпеть и дождь, и холод, и даже штрафной паек. Вы не согласны со мной? Тогда еще одно соображение: я равнодушен к юбкам, в противоположность вам. В опытном цехе для меня нет ничего притягательного.

Я молчал Альшиц насмешливо добавил:

– Между прочим, вы не заметили, какие у нее крупные, пожелтевшие от курения зубы?

– Нет, – сказал я, разъяренный. – К зубам я не присматривался. Зато я видел ее красные губы, припухшие, как у Афродиты Книдской! Стоит отдать полжизни, чтобы вволю нацеловаться с такими губами!

Снаружи шел муторный ледяной дождь. Недавняя водяная взвесь, напитавшая воздух, сменилась настоящим ливнем, вроде того, что был утром. Товарищи мои заторопились обратно на площадку Metallургстроя, чуть не падая от поспешности, хотя и там их не ждала защита от дождя. Я заскользил по грязи дальше в тундру. Недалеко от Малого завода разместилась Малая обогатительная фабрика, деревянное здание, в котором размалывали и обогащали местную руду. Где-то около нее трудился Анучин. Я хотел поделиться с ним стихами, порадовать его, что с общими работами для меня покончено. Мы с ним все больше сдруживались. Этот немолодой учитель литературы, ровесник века, сам писал стихи, я многие из них знал наизусть. Кроме того, он скромно признавался, что был знаком с Есениным, какое-то время даже приятельствовали – не на одного меня это производило сильное впечатление.

Выбравшись к фабрике, я обошел ее кругом. Во многих местах валялись под дождем

деревянные тачки, дощатые трапы показывали, куда вывозится вынутая земля. Никого не было видно ни на площадке перед зданием, ни в самом здании.

Я уже собирался возвращаться назад, когда меня окликнул усталый голос Анучина:

– Сережа, идите сюда. Я под тачкой.

Только сейчас я разобрал, что под некоторыми тачками прикорнули люди. Примитивное убежище от ветра не защищало, но крыша над головой была. Анучин вытянул под дождь ноги, чтобы дать мне уголок. Тачку опрокинули на сравнительно чистых, хоть и мокрых, как и все в этом мокром, тундровом мире, досках, можно было даже полежать на них, как на нарах. Я сумел засунуть под тачку голову, – мне и этого хватило – одежда не могла уже больше промокнуть.

– Вот так мы и живем, – с печалью проговорил Анучин, – Прораб и бригадир убралась от дождя подальше, а мы решили немного пофилонить. Кстати, вы знаете, что это такое – филонить?

– Знаю, – сказал я. Примерно то же самое, что волынить или отлынивать. Еще можно кантоваться значение то же.

– Да, верно... Никогда не думал, что будет время, когда мне захочется уклониться от работы! Как странно идет наша жизнь. У вас что-нибудь новое?

– Две новости. Я написал стихи.

– Читайте! – предложил Анучин, оживляясь. Я люблю хорошие стихи, Сережа.

Я не был уверен, что мои стихи хороши. Оживление Анучина быстро погасло, он слушал вежливо и сдержанно. Он по натуре не мог говорить людям пакости. Если требовалось кого-нибудь обругать, он огорчался больше, чем тот, кому доставалось. Я видел, что он не наберется духу заговорить. Мне стало жаль его.

– Я и сам знаю, что это не Пушкин и не Блок, – приободрил я его.

– Нет, почему же? – промямлил он. – В общем, стихи средние, скорее даже, очень средние, Сережа... Но хорошо, что вы их написали. Как говорил Маяковский, выржали душу... Между прочим, треугольник рифм «розы/слезы/березы» уже и при Пушкине был выброшен из поэтической геометрии за невозможностью дальнейшего использования...

Меня обидел его отзыв. Все же мои стихи были не хуже, чем его собственные. Втайне я был уверен, что даже лучше. Я сказал:

– Если вам не нравятся эти стихи, прочту другие. Написал вчера.

– Читайте, – сказал Анучин без энтузиазма. Я стал читать:

В невылазной грязи телеги тонут,  
Из вязкой глины не извлечь кирки  
Прорабы не командуют, а стонут,  
И пайки сверх возможного легки.

В бараке вонь, и гам, и мат. В газете  
Висит таблица вынутых кубов.  
И парочка блатных творит в клозете  
Трусливую, нечистую любовь...

– Это уже лучше, – одобрил он. – Натуралистическая картинка в стиле Саши Черного. Интересный был человек, я его знал. Правда, в его время до лагерного реализма художественная литература не поднялась. Так что у вас за вторая радость, Сережа?

Я рассказал о вызове к Харину и о том, что скоро распрощусь с общими работами. Я восторженно описывал опытный цех, новую для меня профессию металлурга-исследователя. Анучин недоверчиво посмотрел на меня и покачал головой.

– Вы что-то скрываете. Вряд ли вас так уж прельстила профессия металлурга. Новых специальностей обычно побаиваются, особенно в нашем положении, когда каждый промах объявляется вредительством И потом, я никогда не замечал, чтобы вы особенно тяготились общими работами.

Меня обидело, что он не порадовался повороту моей жизни.

– По-вашему, я восхищен, что копаю котлованы?

– Нет, вы не восхищены, но и не подавлены. Уверен, что вам немного нравится, что

пришлось в жизни нюхнуть и такого пороха. Вы вообще из тех, кто умеет радоваться жизни. И не надо таиться, Сережа, я ведь знаю, что случилось еще что-то.

Тогда я признался, что видел поразительную женщину, красивую и нарядную, умницу и изящную. Я не сомневался, что она умница, женщина с такими великолепными глазами, с такой тонкой талией не могла не быть умной. А что она красива, я видел собственными глазами. Она инженер, руководитель исследовательского цеха – разве это не доказывает ее необыкновенности? Женщина-металлург – это не кот начихал! И какие у нее фокусные туфли, черт побери, какими она напоена духами!

Анучин ласково улыбался, скрывая ладонью зевоту. Из всех человеческих страстей он раньше других потерял в тюрьме порыв к женщине. Женщина оставалась темой для разговоров, но не поводом для мук. Вечная наша овсовая каша мало способствовала кипению нежных эмоций. Умный мужчина привлекал Анучина больше, чем красивая женщина.

Все же он и тут не захотел меня огорчать.

– Да, конечно, красивые туфли, – оказал он. – И особенно духи, я понимаю! Но как она прошла по нашей грязи, не испортив туфель и не запачкав платья? Наверное, переодевалась на заводе, как вы думаете? О, это настоящая женщина, раз она потащила свои наряды на руках в тундру, такой женщиной стоит увлечься.

– И мне кажется, – сказал я, обрадованный. – Но я, конечно, и не собираюсь ею увлекаться, у меня нет никаких шансов на взаимность. Заключенный, почти раб, и она – потомственная вольняшка, мой начальник!

– Не вешайте носа, – посоветовал он. – Смелость города берет. Римские императрицы приближали к себе рабов. Начальник цеха – это все же пониже, чем императрица, не правда ли? Вам еще нет тридцати лет, у вас крепкие руки и хорошо подвешенный язык – пустите в ход эти бесценные богатства...

От конторы строительства донеслись удары лома о подвешенный к кронштейну рельс – сигнал окончания рабочего дня.

Мы вылезли из-под тачки. Анучин взял меня под руку, как перед тем Альшиц. Мы направились к вахте, где бригады строились на выход.

Дождь затихал, превращаясь в прежнюю пронзительную мокрядь. Тучи летели так низко, что края их временами задевали за наши головы. Я любовался странной картиной – пики попадавшихся нам изредка листовниц часто пропадали в сплошном тумане, а ниже все было отчетливо видно на километры. Этот придавленный грозным, молчаливо кипящим, уносящимся куда-то вдаль небом тундровый мир был до слез темен и скорбен. В его униженности и унылости была своеобразная красота. Я с наслаждением топтал его ногами, вслушивался во всхлипы под каблуком.

Недалеко от вахты к нам подошел Липский. Анучин извинился и побрел отыскивать свою пятерку. Липский дрожал от холода в насквозь промокшем бушлате. Он сунул руки в рукава, жалко согнулся. Нам надо было проторчать на ветру не менее часа, пока мы доберемся к воротам. Мимо нас прошли два человека, закутанные в одеяла, как в плащи. Липский с завистью смотрел им вслед.

– Додумались все же!.. Завтра и я попробую. Одеяло легко пронести под пальто, а потом – вытащить и накрыться. Удивительно удобно! Как по-вашему? Я не ответил. Я думал о новом месте работы и о прекрасной женщине, моей будущей начальнице. Около нас скапливалась толпа – молчаливые, озябшие, скорбные люди. Липский тронул меня за руку, чтобы вывести из задумчивости.

– Сергей Александрович, займемся делом, – сказал он. – Мы разобрали с вами новые теории времени и энергии. Перейдем теперь к пространству и тяготению.

## **Мишка Король и я**

В начале октября меня перевели из второго лаготделения в первое. Во втором отделении жили строители – землекопы и проектировщики. В первом – производственники: рабочие Малого завода, шахтеры и рудари. Я был теперь производственником – инженером опытного цеха.

Я остро ощущал утрату старого жилья, даже по родному дому так не тоскуют, как в первые

дни тосковал по второму лаготделению. Там, в этом вечно голодном втором, где ложки облизывались насухо, а хлеб подьедался до крох, было сравнительно опрятно и чисто, интересно и культурно. Там обитала интеллигенция, там был интеллигентный быт. В клубе скрипач Корецкий играл Равеля и Паганини, Сарасате и Баха, Алябьева и Де-Фалья. В бараке можно было сразиться в шахматы с проектировщиком Габовичем – любому его противнику быстрый мат гарантировался. На нарах беседовали Потапов и Эйсмонт, Прохоров и Альшиц, Хандомиров и Ходзинский. Когда не очень лило, я часами прогуливался по зоне с Анучиным, мы спорили о философии Лейбница и Шпенглера, поэзии Вийона и Маяковского, эпосе Гомера и Шолохова. С милым, всегда немного грустным и очень мужественным Липским обсуждали представление Леметра о мироздании, общетеоретические ошибки Гейзенберга и Бора, парадоксы Де-Бройля и Борна. С забиякой Прохоровым бегали рассматривать этапы женщин, их уже прибыло две баржи, с профессором Турецким – исправляли партийную линию, выстраивали ее по-ленински, обсуждая одновременно, есть ли у нас какие-либо шансы на досрочное освобождение. А все это, поздно ввечеру, почти в полночь, часто завершалось тем, что по моему с Прохоровым примеру кто-нибудь брал пустое ведро и выклянчивал на кухне остатки ужина – вот было торжество, если повар попадался с душой, и в барак притаскивали дополнительного супа и каши! Нет, там, в этом нелегком и, по-своему, хорошем втором лаготделении я впервые всем нутром ощутил, что не единым хлебом жив человек.

Теперь со всем этим приходилось проститься. Все в Норильске знали, что первое лаготделение – царство блатных. И в нашем интеллигентском втором тоже имелись – целые бараки – и уголовники, и бытовики. Но там их подавляла массой «пятьдесят восьмая», воры могли учинять отдельные безобразия, но творить безобразную погоду были бессильны. А в первом лаготделении они распоясывались. Конечно, и здесь обитала «пятьдесят восьмая» – и в немалом количестве. А еще больше было бытовиков – осужденных за административные, хозяйственные провинности, за мелкое хулиганство, за драки, за хищения и растраты, за воровство тоже. Бытовики были преступниками, но не доходили в своих проступках до профессионализма настоящих уголовников, гордо именовавших себя «ворами в законе». Бытовики совершали преступления перед строгим до жестокости законом, но не жили преступлениями как профессиональной работой. И они, не терявшие связей с временно потерянной волей, с родителями, женами и детьми, не создавали лагерной погоды, а составляли ту боязливую, робко покорную начальству массу, внутри которой, как злоторные бактерии в питательном бульоне, наливались соками настоящие блатные: те, что существовали преступлениями, не заводили отягчающих их семей, – не женились, а «подженивались», – и громогласно хвастались, попадая в очередную отсидку за проволочный забор: «Прибыл из отпуска». Кому лагерь – кому дом родной. Многие и вправду в лагере чувствовали себя лучше, чем на воле – крыша над головой есть, пайка идет, в баню водят, в кино приглашают. А что до работы, так от работы кони дохнут – а чем мы хуже лошадей?

Таким нам всем издали – за пятьсот метров – виделось государство блатных. И мы передавали один другому страшные слухи – по-местному «параши», – что в том, в первом отделении, кроваятся споры банд Мишки Короля, Васьки Крылова, Ивана Дурака и какого-то Икрама – и не дай господь хоть боком коснуться их свар – жизни не будет. Первая встреча с уголовниками на пересылке, а потом на этапе из Соловков в Норильск подтверждала все мрачные слухи – народ был нехороший. Узнав, что на другой день мне этапироваться на Шмидтиху, у подножья которой раскинулось первое отделение, я плохо спал ночь. Уж не знаю, что мне снилось, и снилось ли вообще, но твердо помню, что одолевавшие меня мысли вряд ли были светлей кошмаров.

Барак металлургов, мое новое жилище, встретил меня вонью и грязью. На заплыванных нарах валялись замызганные матрасы. Подушки лежали без наволочек, одеяла – без простынок. Как я узнал впоследствии, белье не удерживалось в бараке. Каптерка выдавала производственникам все первого срока, на другой день выданное обменивалось у вольных на спирт.

На столе была навалена горка свежего хлеба. Один из моих новых соседей присел с миской к столу и, отшвырнув несколько буханок, закричал на дневального:

– Васька, сука, сколько шпынять, чтобы только половину хлеба выбирал, все равно выбрасывать!

У меня потекли слюни и заныло в животе от съестного обилия. Если бы я не стеснялся других заключенных, я тут же, не раздеваясь, присел бы к столу и умял не меньше половины запасов. Вместо этого я пошел отыскивать отведенные мне нары.

Ко мне подскочил вертлявый парнишка с длинным носом, деловито ощупал пиджак, с уважением осмотрел сапоги.

– Френчик ничего и прохоря ладные! – сказал он. – Сдрючивай, дам сотнягу, понял? Все равно уведем, когда уснешь.

– Иди ты! – сказал я, указывая точный адрес, куда ему идти.

Носатый спокойно умотал ноги.

Я попросил у дневального талонов на кухню и в хлебную каптерку. Талоны на суп и кашу он выдал и показал на стол:

– Хлеб – общий, хавай, сколько влезет. А мало, еще приволоку.

В этот день я обедал хлебом, закусывая супом. Покончив с одной килограммовой буханкой, я принялся за вторую. Вскоре я изнемог от сытости, но продолжал есть. Я ел сверх силы, не про запас и не из жадности, а просто потому, что не мог не есть, когда на столе стояла доступная еда. Я ел не из нужды сегодняшнего дня, не оттого, что аппетит не утихал – нет, я ублажал едой три года недоеданий, длинный ряд голодных дней бушевал во мне, надо было усмирить эту прорву. Я насыщал воспоминание о вечно пустом желудке, а не сам пустой желудок, воспоминание было куда более емким, чем он.

Я отвалился от стола, отяжелел и опьянев. Я пошатывался от сытости, в голове шумело, как после стакана водки. Я поплелся к наре и провалился в сон, как в яму. Проснулся я перед утренним разводом и сунул руку под подушку, куда положил брюки. Брюк не было. Собственно, брюки были, но не мои. Я с отвращением рассматривал подsunутую мне рвань – две разноцветные штанины, скрепленные чьей-то иглой в одно противоестественное целое. Ко мне подошел носатый, торговавший пиджак и сапоги.

– Ай, ай, ай! – посочувствовал он. – Закосили у сонного – ну и народ! Между прочим, говорил тебе – продай, не послушался! У нас свое долго не держится, такой барак!

– Шпана! – сказал я, стараясь сохранить хладнокровие. – Думаешь, не знаю, чья работа? Почему не прихватил в придачу сапоги и пиджак?

– А ты за руку меня поймал? Нет? Тогда не болтай лишку. Френчик и прохоря тебе оставили, точно. А почему? Увести – надо продать, чтобы концы в воду. А я хочу по-честному покрасоваться перед одной простячкой, понял? Бери сто пятьдесят, пока не передумал. На замену чего-нибудь найдем, чтоб не босой и голый...

Я снова послал его подальше, он, как и вчера, отошел без злобы. Еще несколько минут я не мог набраться духу влезть в гнилое тряпье. Но другого не было, а в подштанниках выходить на работу невыносимо. Совладав с омерзением, я натянул свою «обнову».

На меня с насмешкой взирал сосед по наре – невысокий, широкоплечий мужчина средних лет с бесцветными, но умными глазами и шрамом на лбу. Вчера он назвался слесарем-лекальщиком, по фамилии Константинов, сообщил, что всю жизнь работает по металлу, но постоянного местожительства не имеет, за это и посажен – при случайной проверке документов на вокзале забыл, какая у него фамилия в паспорте и где тот невезучий паспорт прописан. Дневальный, указывая еще днем мою нару, шепнул с уважением: «С дядей Костей рядком положу, с тебя поллитра! Тот пахан дядя Костя, понял? На весь Союз!..»

– Ну и порядки у вас, дядя Костя! – пожаловался я. – В собственном бараке один у другого воруют.

Он засмеялся.

– Порядочки, верно! Сявки, чего с них возьмешь? А ты привыкай, здесь всего насмотришься. Тут которые беззубые – нелегко!

День я кое-как проработал, а вечером пошел в контору хлопотать о новом обмундировании. Хлопоты вышли без результата, и я уныло возвратился в свое новое жилище. В бараке творился разгром, как при землетрясении или обыске. Во все стороны летели подушки, наволочки, простыни, даже матрацы. У меня были украдены кружка и полотенце.

Я пожаловался дневальному, он отмахнулся.

– Не до тебя! Собираемся в баню. Складывай поживее шмотки. Ждать не будем.

Я сложил белье и присел на скамью. Без кружки можно прожить, в полотенце тоже не весь смысл жизни. Но его, это проклятое рваное полотенце, надо сейчас сдавать в бане, чтобы получить чистое, а где я достану на сдачу?

Дядя Костя хлопнул меня по плечу.

– Опять неприятности? Везет тебе, сосед!

– Полотенце увели! – сказал я. – И кружку прихватили. Завтра до портянок доберутся. Вот так и живи у вас.

Мне показалось, что он и сочувствует мне, и наслаждается моими несчастьями. Он не удержался от улыбки, хотя на словах высказал соболезнование.

– И кружку? Вот кусочки! Не везет, не везет тебе. А теперь запишут промот, раз нет полотенца – и не видать тебе обмундирования первого срока. Промотчикам один третий срок – знаешь?

– У кого-нибудь куплю полотенце. Не допущу промота.

– Правильно! У Васьки-дневального попроси, он продаст. У него чего только нет в заначке.

Дневальный, когда я стал объяснять, чего от него надо, прервал меня на полуслове. Он полез в «заначку», вытащил из подготовленного свертка свое полотенце и тут же разорвал на две части. Одну из половинок он протянул мне.

– На сдачу хватит. Будут придирааться, стой, что такое выдали. С тебя трешка. Расплатишься утром. Канай живо! Он отошел к двери и заорал диким голосом:

– Барак, внимание! Все на вахту. Объявляется ледовый поход в баню!

Выход в баню – всегда праздник в лагере. Но поход в нее, если баня не в зоне, а подальше – тяжелое испытание. На работу шагают, топают, тащатся, шкандыбают или плетутся – кто какое слово употребляет – а в баню несутся, как угорелые. В первые пятерки пристраиваются самые борзые и задают такого темпа, что и молодые стрелочки, обожающие резвый шаг, орут: «Последний, приставить ногу!» и щелкают затворами винтовок для убедительности, а иногда пускают и пулю в небо. Колонна, покоряясь силе, замирает на несколько секунд, из рядов несутся яростный мат уголовных, снова начинается степенное движение, и снова уже на пятом шаге оно превращается в бег. Не помню случая, чтоб на два километра от нашей зоны до бани, расположенной за поселком, мы потратили больше пятнадцати минут.

После скачки, не переводя духа по заболоченной тундре, мы переводили дыхание в предбаннике. Я медленно раздевался, набирая утраченные в беге силы. Взяв шайку, я поплелся на раздачу, где выдавали мыло. Здесь выстроилась очередь в полсотни голых мужчин. Впереди меня стоял дядя Костя, позади новый знакомый, тоже инженер, Тимофей Кольцов. Очередь продвигалась довольно быстро, задумываться не приходилось – надо было следить за собой, чтобы не поскользнуться босыми ногами на очень скользком, отполированном многими тысячами пяток деревянном полу.

Но я задумался. Я размышлял о том, как буду жить в новом и страшно для меня уголовном мире, и позабыл, что мир этот окружает меня и сейчас и отвлекаться от него ни на минуту нельзя.

Из предбанника к раздаче поперла группка блатных. Видимо, среди них были лагерные тузы – очередь угодливо прижалась к стенке, освобождая путь. Лишь я, погруженный в невеселые мысли, не заметил, как все вокруг шарахнулось в стороны. За это меня тут же постигла кара. Шагавший впереди с размаху двинул меня локтем в лицо. У меня брызнули искры из глаз. Не помня себя от ярости, я ударил его шайкой по голове. Он скользнул ногами вперед и с грохотом рухнул на пол.

Все это совершалось, вероятно, секунды в две или три – удар в лицо, ответный удар по голове и шумное падение тела на пол. Растерянный, я в ужасе глядел на то, что натворил. На полу катался, пытаюсь подняться, рослый парень, он вопил, что разорвет меня в клочья. Я отскочил, прижался к стене спиной. Участь моя была решена. Каждому в лагере известно, что уголовные смывают оскорбление кровью. Сейчас они набросятся всем своим бешеным «кодром»! Мне оставалось продать свою жизнь подороже. Усталость и апатия слетели с меня, словно их срубили топором. Я готовился к последней в своей жизни отчаянной драке. Дешево я им не достанусь, нет!

Сшибленный мною парень наконец вскочил. Он взмахнул кулаками, собираясь ринуться на меня. Но тут произошло нечто, вовсе уж неожиданное. Группка сопровождавших не пустила его

ко мне. Они окружили его тесным кольцом, он не сумел прорваться сквозь их стену. Его яростный голос был заглушен общим хохотом, свистом, насмешками.

– Мишку Короля побил фраерок! – орали со всех сторон. – Мишка, слезай с вышки, ты больше не король! Ха, ха, ха! Как же фраерок тебя тяпнул, Мишка! Стоп, тпру, Мишка, не туда лезешь! Ай, ай, не ходи, он тебя пришьет, куда тебе до фраера! Пожалей жизнь, Мишка, пожалей свою молодую жизнь!

Мне, конечно, надо было воспользоваться поднявшейся суматохой и удрать. Я ничего не соображал, кроме того, что сейчас будет смертная драка – головой и ногами, зубами и кулаком. Во мне вдруг вспыхнула дикая кровь отца, кидавшегося на одесской Молдаванке с ножом на четверку хулиганов. Меня замутило бешенство, еще секунда и я, вероятно, так же иступленно бы завопил, как вопил Мишка Король, пытавшийся разорвать цепь насмехающихся друзей. Но меня схватил за руку дядя Костя и потащил за собой. Он сунул мне шайку и мыло.

– Живо в парную! Думаешь, они долго его удержат? Отсмеются и выпустят, а нет – он их зубами перегрызет!

Все это он торопливо говорил на ходу. Для убедительности он легонько надавал мне коленкой в зад, и я влетел в парную.

Обширное помещение было затянуто жарким туманом. На длинных скамьях, охая, плескались люди. Я пристроился подальше от скудной лампочки, одной на всю парную – на такую предосторожность хватило соображения. Уже не помню, как я мылся. Наверное, я только делал вид, что моюсь. Все во мне готовилось к неизбежной драке. Потом дня три болели мускулы рук и ног, в таком напряжении я держал их тот час. Я был готов к любой неожиданности. Когда ко мне тихонько подобрался Тимофей Кольцов, я стремительно повернулся, чуть не кинулся на него. Он в ужасе отскочил, я показался ему очень уж страшным.

– Серега! – сказал он, мы сразу после знакомства стали говорить друг другу «ты». – Я кое-что подслушал. Мишка Король с товарищами собирается проучить тебя, когда выберемся из бани, там удобнее – темнота...

– Ясно, – сказал я мрачно, – Отташат в сторону и расплатятся. Ну, это еще бабушка надвое сказала, что удобнее... Драка выйдет правильная!

– Надо что-то предпринять, Серега!

– А что? У них, возможно, ножи припрятаны. У меня, правда, тоже в кармане гаечный ключ – поработаю ключом...

– Глупости – ключ!.. Их много, ты один. Скажи стрелочкам, что они намереваются... Тебя отведут от колонны и отдельно сдадут на вахте, чтоб ты не ходил рядом с нами. А если тебе неудобно, то я скажу.

Я подумал.

– Не пойдет, Тимоха. Вмешивать в такие дела конвой – последнее дело. И бесцельное к тому же. – За вахтой в зоне им еще удобнее разделаться со мной, чем около бани или по дороге.

Добрый Тимофей опустил голову.

– Тогда надо прятаться, чтоб не узнали. Напяль шапку на глаза, сгорбись, вроде старик.

– Это можно... Буду прятаться...

Я хорошо помню свое состояние в тот вечер. Это был страх, смешанный с неистовством. Я страшился драки и взвинчивал себя на нее. Больше все-таки было страха. Страх заставил меня подчиниться разуму, а не порыву. Я надвинул на лоб шапку, замотал подбородок шарфом. Вряд ли меня в одежде легко узнают, я мог идти спокойно. Я и шел внешне спокойно, стараясь ничем не выделяться в общей массе оживленных, повеселевших после бани заключенных.

На тундру опустилась ночь, над Шмидтихой высунулись верхние звезды Ориона, они одни светились в кромешной осенней черноте. Мы припустили на них, на эти две звездочки. Потом слева открылись огни поселка, и мы свернули налево. Еще минут через десять, поднявшись по ущелью Угольного ручья, мы хлынули в зону. Я понемногу успокаивался.

На вахте, у ярко освещенных ворот, ко мне возвратился страх. Если где и можно было меня разыскивать, так лучше всего здесь. Я знал, что чуть в сторонке скопится кучка блатных, то это по мою душу. Но один ряд за другим пробежал через ворота и рассеивался по своим баракам. Пройдя через вахту, я тоже поспешил в барак, не дожидаясь, чтобы ко мне стали присматриваться. Не

раздеваясь, я лег на нары. Я не хотел раздеваться, чтобы сохранить сапоги и пиджак. Кроме того, если меня разыщут, лучше быть одетым, а не в одной рубашке.

Я лежал на спине, уставя глаза в потолок, призывая сон и опасаясь сна. Спустя некоторое время, на соседней наре улегся дядя Костя. Он поворочался, поворчал, потом заговорил:

– Тебя как – Сирожка?

– Сергей.

– Где пашешь?

– То есть как – пашешь? Я вас не понимаю.

– Ну, вкалываешь... Работаешь, ясно?

– А, работаю... В опытном цехе.

– Инженером?

– Инженером.

– По умственному профилю, – сказал он, зевая. – Трудно тебе будет у нас, трудно. Ничего, привыкнешь. Народ как народ – люди. Еще, может, понравится. Я тебя рассмотрел в бане – ничего паренек, свойский...

Я не стал спорить. Привыкнуть можно ко всему, кроме смерти, это единственная штука, которую нельзя перенести. Но чтоб понравилось – другое дело! Мне здесь не нравилось, это я знал твердо. Похвала соседа не утешила, я заснул с ощущением, что могу внезапно проснуться с ножом, воткнутым меж ребер.

Утром я обнаружил, что у меня стащили и миску, и ложку, и новое полотенце, принесенное из бани. Подавленный, я стоял у нар, опустив руки. Мне теперь нечем и не из чего было поесть.

– Обратно что закосили? – поинтересовался дядя Костя.

– Не что, а все, – поправил я. – Придется наливать суп в шапку и хлебать руками.

Дядя Костя поманил дневального. Тот торопливо подошел.

– Наведи порядочек. Слово скажу.

– Барак, внимание! – рявкнул дневальный. – Дядя Костя ботать будет.

В бараке всегда шумно, а утром перед разводом стоит такой гомон, что не слышно диктора в репродукторе. Даже при неожиданном появлении старшего коменданта или надзирателей голоса стихают только там, куда начальство приближается. Но сейчас, спустя несколько секунд, весь барак охватила такая плотная тишина, что стало слышно сопенье спящих и поскрипывание скамеек.

– Значит так, – негромко проговорил дядя Костя. – У Сирожки что увели – отдать! Ты! – сказал он носатому. – Брючишки – где?

– Ну, где, дядя Костя? Может, за сотню верстов – вольняшке сплывили...

– Разыщи, что показистее, а то ему в таких неудобно – инженер. И больше, чтоб ни-ни!.. Ясно?

– Ясно, – закричали отовсюду, – А что у него слямзено? У нас приبلудного барахла всякого...

Дядя Костя посмотрел на меня. Я поспешно ответил:

– Кружка, миска, ложка и полотенце, больше пока ничего, если не считать брюк.

Тут же я отшатнулся. Дзынь – с трех сторон прилетели три кружки. Дзынь-дзынь – к ним добавилось еще пять! Брум-брум – тяжело заухали и зазвенели большие миски, взлетающие с нижних нар, падавшие с верхних. Я едва успевал ворочать головой, чтобы мне не зашибло лоб или не раскровянило нос. А когда дошла очередь до ложек, я закрыл лицо руками. Их было так много, что они вонзались в меня, как стрелы, выпущенные целым племенем дикарей в одну мишень. А все было завершено веселым полетом полотенец, извивавшихся в воздухе, словно змеи, и, как одно, падавших мне на плечи и шею.

– Бери, что спулили! – орал мне с хохотом. – Получай свое законное!

Я выбрал лучшую кружку и миску, новенькое полотенце. Ко мне подошел носатый с парой брюк. Брюки были поношенные, но приличные.

– Ворованные? – спросил я, колеблясь. Он обиделся.

– А какие же? Честно чужие – у нас других не бывает. Бери, бери, сам хотел пофорсить – надо дядю Костю уважить!..

Я еще подумал, сбросил рвань, в которой ходил со вчерашнего дня, и напялил на себя

«честно чужие» брючишки.

В бараке теперь, когда дядя Костя взял меня под свое покровительство, жить стало легче, но я продолжал с беспокойством подумывать о Мишке Короле. Счастье было, что он жил не в нашем бараке. Но когда-нибудь он меня отыщет и сведет счеты. Я помню хорошо, что больше всего боялся его ночью, днем в заботах лагерной жизни было не до него. Дни шли спокойно, ночью мучили грозные сны. Но Мишка не появлялся. Недели через две я забыл о нем. После стольких дней он уже не мог узнать меня. Была и еще одна причина, почему я так легко успокоился. Мне рассказали, что Король искал меня и не нашел. Он даже приходил в наш барак разведывать, не тут ли я проживаю, но дневальный «забил ему баки» и «присушил мозги», так это было мне обрисовано.

– На долгую хватку Мишка тонок, – разъяснил дневальный, после дяди Костиного заступничества относившийся ко мне так хорошо, что даже не взял денег за полотенце. – Налететь, разорвать – это он!.. Большие паханы его не уважают.

Я уже многое знал о своем враге. Это был сравнительно молодой, но умелый и удачливый вор, за ним числились незаурядные дела. В лагере он сколотил свою «шестерню», то есть кучку прихлебателей и прислужников. Особого «авторитета» среди блатных он не приобрел, хотя и жил, в общем, в «законе», выполняя основные воровские установления и придерживаясь главных обычаев. Зато его необузданного нрава и тяжелого кулака побаивались, это с лихвой заменяло авторитет. Знавшие его люди в голос утверждали, что при любой стычке худо придется мне, а не ему.

В эти две недели случились события, сыгравшие известную роль в моей жизни. Из Москвы прибыло предписание дать полную картину технологического процесса на Малом заводе, с точным балансом всех материалов, участвующих в плавке, и полученных продуктов в виде готового металла, шлаков, и унесенных в атмосферу газов. Дело это взвалили на Опытный цех, а Ольга Николаевна, сохранив за собой техническое руководство, решила, что с организацией сменных работ лучше всех справлюсь я. И вот на несколько недель я превратился в бригадира исследователей. Мне поставили особый стол рядом со столом главного металлурга Харина. В моем распоряжении оказался человек двадцать инженеров – химики, металлурги, механики, пирометристы. Кроме того, на время испытаний подчинили и всех начальников смен и мастеров. Я, конечно, не мог оборвать хоть на минуту производственный процесс, но в моей власти было убыстрить и замедлить его, выполняя разработанный Ольгой Николаевной график исследований. Я тогда мало что понимал и в этом графике, и в самих исследованиях, но, вступая в роль верховного исполнителя, никому в том не признавался и даже внушал убеждение, что справлюсь со своими обязанностями, то есть вполне квалифицированно «заряжал туфту».

Как-то я вызвал энергетика завода, тоже зека, Михайлова и попросил осветить колошниковую площадку, где инженеры брали пробы пыли и производили газовый анализ.

Михайлов посмотрел на меня с сожалением, как на глупца.

– Вы, очевидно, воображаете, что склады у меня доверху набиты проводами и лампочками? У меня нет и метра кабеля. Я не могу исполнить вашего распоряжения.

Я настаивал. Без света ни измерения, ни анализы не могли быть произведены. Михайлов задумался.

– Есть одна возможность, только вы сами ее реализуйте. У рабочих попадают разные ворованные материалы, может быть, они раскошелятся, если очень попросите. Я пошлю к вам монтера.

Я сидел за своим столом в пустом кабинете, когда монтер громко постучал в дверь. Я крикнул: «Войдите!», и вошел Мишка Король.

Мы сразу узнали один другого. Я непроизвольно встал, он замер. Потом он стал медленно приближаться, а я также медленно отходил на угол стола, где стояли телефоны. Я торопливо обдумывал, что может произойти. Если он кинется на меня, я сорву трубку диспетчерского телефона. Шум нашей драки, несомненно, услышат, ко мне поспешат на помощь. Пока подоспеет подмога, я устою, хорошей защитой послужит стол, неплохим оружием – стулья.

Мишка Король остановился у стола и широко осклабился.

– Здорово, кореш! – сказал он, протягивая руку, – Ну и окрестил ты меня тогда шайкой – башка трещала! Твое счастье, что успел смотаться. Ну, зачем вызывал?

Я предложил ему присесть и изложил просьбу. Мишка стукнул кулаком по столу.

– Никому бы не помог, тебе помогу. Только условие – все, что намонтирую твоей шайке-лейке, после испытания обратно мое. Забожись твердым словом!

– Какой разговор – конечно! – заверил я. Мы еще немного потолковали, а потом я встал и запер дверь на ключ. Мишка смотрел на меня с удивлением.

– Давай подеремся! – предложил я. – То есть я хочу сказать – поборемся. Не думаю, чтобы ты так уж легко справился со мной.

– А вот это сейчас увидишь! – сказал он и бросился на меня.

Я сопротивлялся с минуту, потом оказался на полу, а Мишка сидел на мне, с наслаждением прижимая мою грудь коленом.

– Так не пойдет, – прохрипел я, поднимаясь. – Ты слишком уж неожиданно налетел, я не успел приготовиться. Давай по-другому.

– Пусть по-другому, – согласился он.

На этот раз моего сопротивления хватило минуты на две. Раз за разом мы начинали борьбу сызнова, и результат ее был неизменно тот же – я лежал на полу, а Мишка Король сидел на мне.

– Ух, и жалко же, что меня в тот вечер не допустили до тебя, – сказал он, отряхивая пыль с ватных брюк. – Ну и было бы!.. Теперь уж ничего не поделаешь!

## Истинная ценность существования

В этом человеке угадывалась военная косточка. Даже блатные говорили, что «батя из военных». Он одевался в те же безобразные ватные брюки и бесформенный бушлат, что и мы, но носил эту уродливую одежду непохоже на нас. Он был подтянут, спокоен и вежлив особой отстраняющей и ставящей собеседника на место вежливостью. Мы прожили с ним бок о бок почти год, и я ни разу не слышал от него не то что мата, но и черта. Если даже временами и являлось желание выругаться, то он не давал ему воли. У него, видимо, не воспиталось обычной у других жизненной привычки настаивать, добиваться, вырывать, выгрызть свое – он всю свою жизнь просто командовал.

При первой встрече я сказал ему, что он напоминает мне кого-то очень знакомого, только не соображу – кого. Он ответил, сдержанно улыбнувшись:

– Моя фамилия Провоторов. Вряд ли она что-нибудь вам говорит.

Я любил поражать людей неожиданной эрудицией. Я помнил тысячи дат, имен и событий, которые были мне абсолютно ни к чему. Мой мозг был засорен великими пустяками. Я мог сообщить, в какой день вандалы Гензериха взяли приступом Рим, когда родился Гнейзенау, и произошла Варфоломеевская ночь, и как звали всех маршалов Наполеона, капитанов Колумба, офицеров Кортеса. Зато я понятия не имел о том, без чего зачастую было невозможно прожить – друзья возмущались моей житейской неприспособленностью и ворчливо опекали меня. Чаще всего я пропускал их уроки мимо ушей.

– Если вы не конник Провоторов, прославленный герой гражданской войны, – проговорил я небрежно, то фамилия ваша, в самом деле, ничего мне не говорит. Он с изумлением глядел на меня.

Я тот самый Провоторов. Только какой уж там герой! Вы преувеличиваете.

Теперь подошла моя очередь удивляться. Я назвал фамилию Провоторова, просто чтоб похвастаться своими знаниями. Меньше всего я мог подозревать, что этот седой худощавый мужчина в бушлате, сидевший против меня на нарах, и есть известный комдив, гроза белогвардейцев и бандитов. «Червонное казачество Провоторова» – как часто я слышал еще в детские годы эту формулу, как часто потом встречал ее в книгах! Этот человек в самом пекле гражданской войны воздвигал советскую власть, чтобы она нерушимо стояла века – вот он сидит на нарах изгоем и пленником создававшейся им власти! На минуту острое отчаяние, не раз уже охватывавшее меня, снова пронзило болью мое сердце. Мой мозг непрерывно бился, пытаюсь разрешить чудовищное противоречие, убийственное противоречие моего века. Как много написано прекрасных и страшных книг о великих страстях, терзающих душу человека, о деньгах, о власти, о природе, о смерти, о любви – особенно о любви. Мы все любили, мы все с волнением читали повести страданий молодых любовников, но будь я проклят, если любовь была главным в

нашей собственной жизни. Мы, возмужавшие в первой половине двадцатого века, знали куда более пылкие страсти, чем влечение к женщине, куда более горькие события, чем расставания влюбленных душ. Только обо всем этом, нами испытанном, еще не написано настоящих книг!

Итак, я разговаривал с Провоторовым Я расспрашивал, как он попал в тюрьму, нет ли переследствия и где он работает Я уже не помню, что он отвечал. Очевидно, история его «посадки» была настолько стандартна, что ее не стоило запоминать. Провоторов устроился, по местным условиям, неплохо – прорабом в одной из строительных контор. Он был теперь моим соседом, наши нары, разделенные проходом, располагались одна напротив другой.

А на верхних нарах, как раз над Провоторовым, разместился неряшливый толстый человек лет сорока, всегда небритый, с темным одутловатым лицом. Он не понравился мне с первого взгляда, и это впечатление долго сохранялось. Он был мрачен и сосредоточен, всегда подгружен в себя, а когда его выводили из задумчивости, так яростно огрызался, что его старались не трогать. Я знал, что он работает на обогатительной фабрике, в тепле, и получает, как и все металлурги, усиленный паек. Станных людей кругом нас хватало, я не лез к нему с дружбой, он попросту не замечал меня. Звали его не то Бушлов, не то Бушнов. После ужина он сразу заваливался на нары и уж больше ни разу не слезал до утреннего развода. Я решил, что Бушлов лежебока.

Провоторов, к моему удивлению, отнесся к Бушлову с расположением. Он даже ухаживал за ним, когда тот валялся на нарах, – носил в кружке воду из бачка, совал книги. Ему, видимо, хотелось вывести Бушлова из всегдашней угрюмой сосредоточенности. Когда я поинтересовался, почему он оказывает внимание такому ленивому человеку, Провоторов улыбнулся непохожей на него грустной, слишком уж христианской улыбкой. – Все мы мучаемся, что нас невинно посадили, а он мучается побольше нашего. В мире назревают грозные события – не здесь, не здесь сейчас ему надо быть! Этого я не понимал. Кому из нас надо было находиться здесь? И ведь официальным объяснением нашего пребывания в этих отдаленных местах было именно то, в мире назревают грозные события. Нас старались удалить от мировых катаклизмов, каким-то безумцам и прихлебателям казалось, что так надежней. Не один Бушлов имел причины возмущаться.

В эти осенние месяцы 1939 года меня поставили во главе инженерной группы, обследовавшей технологический процесс на ММЗ – Малом металлургическом заводе. Я стал – на время, конечно, – почти начальником вызывал и перемещал людей. На столе моем поставили телефон – высший из атрибутов начальственной власти. Я более ценил другой атрибут газету, которую приносили главному металлургу комбината Федору Аркадьевичу Харину, но чаще оставляли на моем столе, он был ближе к двери. Должен признаться, что я воровал его газеты. Я разрешал себе только этот род воровства. Я воровал с увлечением и не всегда дожидался, пока главный металлург торопливо перелистает серые странички местного листка. Он был прекрасный инженер и хороший человек, этот Харин, но в политике разбирался как иранская шахиня. Я не испытывал угрызений совести, оставляя его без последних известий. Он догадывался, кто похищает его газеты, но прощал мне это нарушение лагерного режима, как, впрочем, и многие другие нарушения.

А в бараке, по праву владельца газеты, я прочитывал ее вслух от корки до корки. Обычно это совершалось после ужина. Лишь в дни особенно важных событий чтение происходило до еды. Так случилось и в тот вечер, когда появилась первая боевая сводка финляндской войны. Я помню ее до сих пор. В ней гремели литавры и барабаны, разливалось могучее ура – ошеломленного противника закидывали шапками. Наши войска атаковали прославленную линию Маннергейма, прорвали ее предполье, с успехом продвигаются дальше – так утверждала сводка. У нас не было причин не доверять ей. Мы знали, что наша армия – сильнейшая в мире. Мы верили, что от Москвы до Берлина расстояние короче, чем от Берлина до Москвы. Осатаневшие белофинны задумали с нами войну – пусть теперь пеняют на себя – завтра их сотрут в порошок!

Бушлов по обыкновению лежал на нарах, безучастный ко всему. Услышав сводку, он соскочил на пол и протолкался ко мне:

– Дайте газету! – закричал он, – Немедленно дайте, слышите!

Я строго отвел протянутую руку.

– Успеете, Бушлов! Вы не один, кто интересуется последними известиями. Сейчас я прочту четвертую страницу, потом можете вы. Но не долго, у меня уже человек пять просили...

Провоторов наклонился надо мной.

– Дайте ему газету! – сказал он тихо. – Сейчас же дайте! Очень прошу, Сережа!

Провоторову я не мог отказать. В его голосе слышалась непонятная мне тревога. Он готов был сам вырвать у меня газету и передать ее Бушлову, если бы я еще хоть секунду промедлил. Я в недоумении переводил взгляд с него на Бушлова. Бушлов, выпучив глаза, не пробежал строки сводки, а впивался в них. Так читают страшные известия, слова, которые должны врезаться в память на всю жизнь – буквы, пронзающие пулями, рубящие пором... Даже со стороны было видно, что он весь дрожит от напряжения.

Потом он бросил газету на стол и, ничего не сказав, стал проталкиваться к своим нарам. Он лежал там уставя лицо в потолок, не шевелясь, не произнося ни звука. Провоторов выпрямился и вздохнул. Он глядел на притихшего Бушлова. Я был так поражен изменившимся лицом Провоторова, что забыл о газете. – Читайте, Сережа! – сказал он, словно очнувшись. – Читайте!

Я кое-как дочитал газету, и в бараке сели ужинать. Собригадники Бушлова позвали его вниз, он нехотя слез, хлебнул две-три ложки и убрался на свою верхотуру. Пока он сидел за столом, я незаметно изучал его лицо. Если бы даже я сел напротив и уставился прокурорским взглядом, он не заметил бы, что я тут. Он был вне барака, вне нашего заполярного Норильска – где-то там, на «материке». Никогда не думал, что люди способны так отрешаться от окружения. Я и не подозревал до этого, что человек за полчаса может постареть на десяток лет. Бушлов, не очень опрятный, угрюмый и раздражительный, был человек в расцвете сил, мужчина как мужчина. Сейчас за столом сидел старик с обвисшим, посеревшим лицом, с мутным взглядом и трясущимися руками – он с трудом, не расплескивая, доносил руку ко рту.

Перед сном я люблю почитать. В этот вечер я зачитался за столом, под тусклой лампочкой, и когда полез на нары, все давно уже храпели, свистели и сопели – кто как любил. Против меня лежал Провоторов, подтянутый и спокойный даже во сне. Я знал, что он крепко спит. Он всегда крепко спал, когда лежал на спине. Он лежал так, не делая ни одного движения, часов семь или восемь, потом раскрывал глаза и сразу поднимался. Я завидовал его удивительному умению спать. Я не терпел двух дел – засыпать и просыпаться, даже лагерь не сумел меня перевоспитать.

Но хотя Провоторов спал, а я по обыкновению томил себя бессмысленными мечтами черт знает о чем, он вскочил раньше моего, когда с нар Бушлова вдруг донеслись рыдания. Бушлов метался на досках, прикрытых одним бушлатом – это и была его постель, – и душил соломенной подушкой вопли. Он именно вопил, словно от приступов боли, а не плакал, он корчился и исторгал из себя импульсивные дикие вскрики. Он совал в эти мгновения в рот кулаки, чтоб его не услышали, наваливался лицом на подушку, но вопли с каждым спазмом становились громче.

Истерику у женщин я видел не раз, но истерика у здоровых мужчин – явление не такое уж частое. Я вскочил, но Провоторов показал мне рукой, чтобы я не поднимался с нар. Он гладил и успокаивал Бушлова, кричал на него гневным шепотом:

– Возьми себя в руки! Стыдись, стыдись, разве можно так распускаться! Всего от тебя ожидал, этого – нет!

Бушлов немного успокоился. Справившись с приступом рыданий, он заговорил. Я слышал, неподвижно лежа на нарах, его тихий, быстрый, страстный голос.

– Пойми меня, нет, ты пойми меня, пойми! – твердил он. – Я же вижу их, пойми, вижу! Они гибнут, неотвратимо погибают, вот в эту самую минуту, а я тут – ты понимаешь это, а я тут! Они гибнут, а я тут ем, сплю... Это же преступление, пойми меня, пойми!

Он снова заметался на нарах, рыдая страшным воющим шепотом. Провоторов закричал на него еще сердитей:

– Нет здесь твоей вины, никогда не соглашусь! Несчастье – да, но не вина! Ты не сам поехал сюда, тебя отправили под конвоем. Успокойся, я тебе приказываю! И с чего ты взял, что они гибнут? В сводке сказано...

Бушлов привскочил на нарах, как подброшенный.

– У меня спрашивай, а не сводку! – закричал он, уже не сдерживая голоса. – И слушай, что тебе скажу я! Их наступает много дивизий, целая армия – они гибнут, нельзя же так, атаковать эти линии в лоб, без подготовки, а их посылают атаковать! Разве я допустил бы это? Но я тут, а не там, я ничего не могу сделать, лучше уж меня расстреляли бы, чем знать, что они погибают оттого, что я не с ними, а на этих проклятых нарах!

Он снова глухо зарыдал. На этот раз и Провоторов заговорил не сразу, а когда он заговорил,

я понял по его изменившемуся голосу, что и он страдает, может быть, не меньше Бушлова.

– Успокойся! – повторил он. – Нужно немедленно что-то предпринять. Завтра напишешь новое заявление на имя Сталина, другое – Ворошилову, третье.

– Мо-лотову. Я передам их знакомому летчику, он доставит без промедления в Москву. Не может быть, чтобы там, в конце концов, не взялись за ум! Не враги же они своему народу! Ну ошиблись, ну переверстовали – пора, пора поворачивать, пока не съели подлинные враги!

Они долго еще шептались, потом Бушлов затих. Он заснул внезапно. Он лежал на боку, широко раскрыв рот, и во сне дергался и стонал.

Провоторов устало сел на свои нары. Он закрыл глаза и покачал головой. Я молчал, зная, что он заговорит первый.

– Да, – сказал он, – вот так и идет наша жизнь, Сережа. Так она и идет. Они без нас – там, а мы здесь – ни для чего, ни для кого...

– Кто этот человек? – спросил я.

– Бушлов? Видный работник Генштаба, знаток линии Маннергейма. Наши дивизии рвутся сейчас через цепи крепостей вслепую, не знают даже, обо что разбивают лбы... Нелегко ему, бедному... Всем нам нелегко, Сережа.

Провоторов накинул на себя бушлат, закрыл глаза и вытянулся на нарах. Он спал или притворялся, что спит. Я думал о нем и о Бушлове. Я понимал теперь, почему тот так страстно твердил, что ему легче быть расстрелянным без вины, чем это предписанное насилем мирное нынешнее существование...

Я тихо плакал. Меня сжигала та же страсть, что его, томило то же высокое человеческое чувство, благороднейшее из человеческих хотений – жизнь свою отдать за други своя! Всем нам было нелегко.

Что еще добавить к этому невеселому рассказу? Дней через десять Бушлов исчез из барака. Ходили слухи, что его отправили в Москву, чуть ли не специальный самолет пригоняли для этого. Еще через полгода, когда ввели генеральские звания, я увидел в «Правде» его фотографию: среди прочих генерал-майоров и он глядел на меня угрюмо и настороженно. На этот раз он был гладко выбрит.

## Повесть ни о чём

На несколько лет нашей жизнью стала работа.

Опытный металлургический цех – ОМЦ, – куда меня перевели с площадки Металлургстроя, приткнулся к подножью Шмидтихи, закрывшей всю южную часть горизонта. Нижняя половина горы заросла лесом, выше вздымалась голая вершина, как лысый череп над бородатым лицом. На западе – «валялся Зуб» – невысокая удлиненная гора, в самом деле похожая на выпавший клык. На север, до хмурой цепи Хараелаха, тянулся разреженный лесок, и лишь в провале между Зубом и Хараелахом открывался простор в холодную тундровую даль – великая моховая равнина до самого Полярного океана, болота и камни, камни и болота. Таким предстал мне в сентябре этот сумрачный мир – унылые горы, сдавившие клочок земли, изъязвленный топями, покрытый озерами, как паршой, вечные тучи над горами и землей, стиснутый низким небом воздух – он забивал легкие, как песок, этот сырой холодный воздух... Я не порадовался новому месту обитания. Сгоряча оно показалось мне мрачным, как могила. Даже на площадке Металлургстроя было приятней, там хоть не так нависали над душою горы. Мы стояли с Тимофеем Кольцовым на холмике около нашего опытного цеха, и я сказал, с печалью оглядывая окрестность: «Северный рай, Тимоха: позади – мох, впереди – ох!»

Прошло еще немного времени, и я увидел, что этот оштрафованный природой уголок планеты становится иногда по-праздничному нарядным.

И еще была в нем одна отрадная особенность, мы сразу не оценили ее значения. Место нашей новой работы не опоясывали «типовые заборы», так в проектной документации «производственных зон» именовались колючие изгороди с вахтами и сторожевыми вышками. Правда, здесь не было и важных производственных объектов – несколько складов для механического оборудования, гараж автобазы, кернохранилище геологов и наш опытный цех. И трудились на этом клочке земли всего две-три бригады, каждая со своим охранником –

вохровский стрелочек доставлял нас в цех и, прикорнув где-нибудь в затишке, только следил потом, чтобы мы не удалялись от цеха дальше выносной дощатой уборной. И следил, естественно, лениво, ибо вся бригада состояла из «пятьдесят восьмой» – не уголовники, народ, конечно, государственно опасный, но не озорной, к попыткам бегства не склонный. Мы быстро научились использовать лень стража и часто совмещали выходы в уборную с прогулками в близкую тундру. Первым стал предаваться такому недозволенному занятию, пожалуй, именно я – во всяком случае, всех дольше проводил время в местах, которые меж нас именовались многозначительно – «за уборной». К каким последствиям привела практика таких кратковременных «убегов» – мы предпочитали сравнительно нейтральное словечко «убег» грозному слову «побег» – и являются рассказанные в этой главке события.

Сам опытный цех разместился в большом помещении, бывшем складе – с крохотной пристроечкой с одной стороны, кабинетом нашей начальницы. По штатному расписанию мы теперь значились печевыми, горновыми, обжиговщиками, электролитчиками, пирометристами, химиками-аналитчиками, механиками и энергетиками. Мы растерянно оглядывались. Где плавильные и обжиговые печи, химические плиты, вытяжные шкафы? Цеху отпустили должности, но не оборудование – цеха не было. Было высокое запыленное помещение, холодный сарай с земляным полом-. Мы тесной кучкой стояли, как нас привели, посередине сарая, а перед нами прохаживалась, куря длинную папиросу, Ольга Николаевна. На этот раз она была в сапожках, а не в модельных туфлях, в тужурке, а не в бальном платье. Но от нее пахло теми же духами, она была такая же изящная в своей неизящной одежде. Ее рассмешило мое недоумение. – Цех существует, – сказала она. – Цех – это мы с вами. Недостающие помещения мы сами пристроим, печи возведем, а оборудование привезем. Через месяц займемся исследованием металлургического процесса, а пока будем набрасывать на бумаге эскизы новых комнат и копать котлованы для них и печей.

В этот первый день мы всей бригадой взялись за ломы и лопаты. Я валил невысокие столетние лиственницы вокруг цеха, рядом со мной трудился сильный, как медведь, металлург Иван Боряев, нам помогал механик-конструктор Федор Витенз. Около стены здания возвышался столб электрической линии, он должен был попасть в центр пристраиваемой комнаты.

– Комната эта моя! Будущая пирометрическая и потенциометрическая, – сказал я, очерчивая четырехугольник вокруг столба. – Хочу комнату со столбом, на нем я устрою вешалку.

Боряев ухмыльнулся.

– Цех не строится, а размножается почкованием. Для моей плавильной печи мы отпочкуем помещение с другой стороны, а электролизную разместим вот здесь.

– А какие глаза у нашей начальницы! – сказал Витенз, вздохнув и опершись на лопату. – Удивительные глаза. И вообще она хорошенькая.

– Глаза не вредные, – подтвердил Боряев. – Большие, как фары, и так же светятся. Ночью сверкнет такими глазищами – отшатнешься!..

– И, кажется, она смотрела больше всего на вас, – продолжал Витенз, улыбаясь мне. – Чем-то вы ее по-особенному привлекали.

– А ведь правда! – сказал Боряев, пораженный. – Она часто поворачивалась в твою сторону. Как это я сразу не сообразил!

Он нахмурился. Он не любил, когда кому-либо оказывалось предпочтение даже в том, чего он и не думал добиваться. Его устраивало только первое место, вообще первое место, все равно, чем ни придется заниматься, но непременно – впереди других. Мы как-то прогуливались по зоне и увидели, что группа заключенных с усилием перетаскивает бревна. Боряев мигом растолкал их, один наворочал больше пятерых, высмеял работяг и, довольный, пошел дальше. Они тоже были довольны неожиданной помощью.

– Бросьте! – сказал я с досадой. – Вам померещилось. А если и смотрела по-особенному, так потому, что я хуже вас обмундирован. У меня украли в бараке хорошие брюки.

Я вскоре отошел от них на другое место. Я боялся, что они снова заговорят об Ольге Николаевне. Куда бы я ни поворачивался, я видел ее глаза, огромные, нестерпимо блестящие, не светившие, но сжигавшие – все во мне волновалось от их сияния. Говорить об этом было немислимо.

Вскоре я уже развешивал свои вещи на столбе, торчавшем посреди комнаты. Комната была великолепная – узенькая, низенькая, с покатым потолком, в два окна, на одну дверь. Тимофей

Кольцов прозвал ее гробиком, Иван Боряев – логовом, а дядя Костя, забредший зачем-то в нашу зону – он был бесконвойным, – сказал с уважением:

– Правильная ховирка! Скамейку пошире да столик повыше – и в лагерь можно не заявляться.

Столик вскоре привезли, скамейки мы сколачивали сами. Не хватало лишь батареи центрального отопления, но вскоре появилась и она. И тут обнаружилось, что батарея поставлена впустую. На базе нашему цеху не выдали котла Ольга Николаевна осмотрительно запаслась предписанием начальника комбината, но в Техснабе посмеялись и над ней, и над предписанием.

– У нас остался один котелок нужной вам небольшой производительности, – разъяснили ей – А на этот один котелок выдано четыре разрешения. Все разрешения подписывал начальник комбината.

Возмущенная, она побежала в управление. Но Завенягин в это время был в Дудинке, где заканчивалась навигация, а его заместители отказались вмешиваться в такое щекотливое дело. Ольга Николаевна упала духом. Она вызвала нас в свой крохотный кабинетик и объяснила, что с мечтой о центральном отоплении приходится распрощаться. Это означало, что в наступающую зиму без интенсивного подогрева мы не сможем пустить электролиз и половина намеченных исследовательских тем останутся нереализованными.

– Будем выкладывать голландки, – с грустью сказала наша начальница. – От холода не умрем. Чего-чего, а угля в Норильске хватает.

– Подождем класть печи, – сказал Боряев. – Разрешение начальника комбината у вас есть? Так в чем дело? Поедем на базу, отыщем этот котелок и, никому не докладываясь, уведем. Там охраняются одни склады, а он, конечно, лежит на земле в стороне от складов.

Ольга Николаевна любила рискованные предприятия.

– Вы, стало быть, предлагаете украсть котел?

– Увести! – поправил Боряев. – У нас такие операции называются – уводить.

– Правильно, уводить! – подтвердил я. – У меня недавно стащили брюки и посуду и объяснили, что не украли, а увели. Согласитесь, это звучит благопристойней.

Словечко «уводить» совсем утешило Ольгу Николаевну, оно и вправду звучало почти пристойно. Ольга Николаевна хохотала, когда мы стали развешивать план «увода» котла. Мы лезли из кожи вон, разрабатывая операцию вторжения на базу Техснаба, каждому хотелось перещеголять всех в разумной отчаянности предложений. Первым, как обычно, оказался Боряев.

Дня через два, под вечер, к цеху подкатила грузовая машина и мы всей бригадой полезли в кузов. Стрелочек, как самое важное лицо, поместился в кабине. Он не мог отпустить нас без охраны в далекую отлучку, его присутствие к тому же придавало делу облик законности. Когда шофер собирался дать газ, из цеха, одеваясь на ходу, выбежала Ольга Николаевна.

– Я с вами! – закричала она.

Стрелок, открыв дверцу, готовился уступить свое место в кабине, но она подбежала к кузову и протянула нам руки. Мы с Боряевым кинулись к борту и с такой силой рванули ее вверх, что она взлетела, как мяч. Боряев был сильнее меня, но в тот момент я пересилил: Ольга Николаевна, перелетев через борт, упала в мою сторону. С секунду я придерживал ее, покачнувшись на другой бок, потом мы выпрямились, и она подбежала к кабине.

– Поехали! – крикнула она, постучав по кабине. Машина помчалась по Заводской, главной улице города. Еще недавно я два раза в день шагал по этой улице, проваливаясь в грязь, сгибаясь под дождем. Сейчас я ехал по ней как барин, в кузове грузовика, мог с жалостью и пренебрежением взирать на колонны пешеходов – так изменилось мое положение. Мне было не до этих горделивых дум. Ольга Николаевна стояла рядом, ее плечо касалось моей груди, от нее шел запах дорогих духов. Я задыхался, трепетал каждой клеточкой, голова моя кружилась. При толчках нас бросало в стороны, я ухватывал ее, чтоб она не упала, она еще сильнее упиралась в меня плечом. Потом она быстро взглянула на меня и отстранилась.

Машина влетела на базу Техснаба, пронеслась мимо складов и остановилась на площадке, где лежали котлы, трансформаторы и другое крупное оборудование. Мы попрыгали из кузова. Соскочив, я обернулся к машине. Ольга Николаевна, видимо, решила на этот раз обойтись без помощи. Она прыгнула, как и все мы, с борта на землю, и я ее подхватил в воздухе. Я прижал ее к груди, жадно вдохнул запах ее волос и духов. Растерянная, она в первый момент даже не

пошевельнулась. Это продолжалось всего несколько секунд, потом она с силой толкнула меня.

– Сейчас же пустите! – приказала она шепотом. Я поставил ее на землю, она проворно отбежала. Никто не видел, что произошло, наш котел, лежавший в стороне от другого оборудования, интересовал больше, чем то, как энергичная начальница выбирается из машины. Боряев подвел под котел крепкие канаты, мы опустили борта грузовика и укрепили сходни из трех досок. Боряев командовал: «Раз-два, взяли!» – а мы тащили. Рассерженный, что дело продвигается медленно, он сам нажал на котел плечом. Я тянул с усердием, но Боряев вдруг крикнул мне:

– Да что с тобой? Гляди, куда тянешь! Толку от тебя как от козла молока – только мешаешь.

Я постарался больше не давать повода для придилок. Минут через десять котелок разместился в кузове, и мы опять полезли наверх. Грузовик лихо вылетел на улицу. «Увод» котла состоялся при ясном свете лампочек, развешанных на всей территории базы, в присутствии работников Техснаба, равнодушно взиравших на наше занятие. Никому и в голову не приходило, что на их глазах происходит дерзкое ограбление.

Ольга Николаевна счастливо хохотала, она любила смеяться. Она выражала смехом не только удовольствие от шутки или забавной ситуации, но и глубинные чувства – радость, наслаждение жизнью, умиление, признательность, смех ее можно было слушать как музыку, так он был звонок и непринужден. Она стояла в другом конце машины, мне ее не было видно из-за котла. Но я хорошо слышал ее голос. Я знал по смеху, что у нее пылают щеки, сияют глаза. У меня тоже пылали щеки, к тому же у меня путались мысли. Я закрывал глаза, чтобы снова пережить, что произошло... Это было единственное реальное. Все остальное – толчки машины, голоса товарищей и даже этот котел – было в ином мире.

Витенз тронул меня за плечо.

– Вам плохо? Вы очень бледны. Вы не надорвались, когда возились с котлом? Я сказал поспешно:

– Мне хорошо! Мне никогда еще не было так хорошо, Федор Исаакович!

Он посмотрел на меня с изумлением, но ничего не сказал.

Ей не понравилось мое дерзкое поведение. Для заключенного я держал себя слишком вольно. Уже на другой день она еле кивнула на мой поклон. Она прошла мимо замкнутая, надменная и, остановившись около шахтной печи, где шла плавка, заговорила с Боряевым. Я повернулся, хотел уйти в свою комнату, хотя у меня были дела не только что пущенной плавильной печурке, похожей на маленькую ваграночку. Я ненавидел Боряева.

Он позвал меня.

– Ольга Николаевна считает, что я выпускаю расплав слишком рано. Ну-ка замерь температуру в печи.

Он поднял вверх стеклышко глазка. Я навел оптический пирометр на светящееся отверстие. Ольга Николаевна воскликнула:

– Тысяча сто градусов, Боряев, точно, как я говорила! А нужно тысячу двести или даже больше. У вас печь идет холодно.

И тут Боряев поиздевался надо мной. Он знал, что я орудую пирометром так же искусно, как сам он – металлургическим ломиком, Витенз – рейсфедером, а химик Алексеевский реактивами и растворами. Он превратил мою умелость в предмет насмешки.

– Будет исполнено, – пообещал он. – Нужно лишь поточнее определять температуру, а поддерживать ее на заданном уровне я всегда сумею. Между прочим, Сергей способен и не глядя на жар, а просто взирая на стену, показать на приборе любую желанную температуру.

Ольга Николаевна не поверила. Я держал в руке оптическую трубку, а измерительный прибор стоял в стороне, это была старая конструкция, выпуск которой я сам налаживал в Ленинграде перед арестом, – первые наши отечественные оптические пирометры.

– Дайте тысячу двести шестьдесят градусов, – приказала она.

Они с Боряевым склонились над прибором. Я навел телескоп на темную стену, покрутил реостат и, когда лампочка, горевшая в оптической трубке, достигла нужной яркости, сказал:

– Готово, измеряйте! Тысяча двести шестьдесят пять градусов! Ольга Николаевна с изумлением глядела на Боряева, тот торжествовал. Я еще не понимал, отчего он радуется. Но когда он заговорил, я понял суть его торжества.

– Вот и работайте с таким ловкачом, – сказал он. – Он назовет вам любую цифру, а потребуйте проверки, тут же повторит ее. У меня нет уверенности, что температуры точно те, которые он называет.

– Договоритесь между собой, как измерять, – сказала она сухо. – Но держите строго предписанный режим.

Она тут же ушла, а я с горечью сказал Боряеву.

– Скотина ты, Иван! Разве я когда-нибудь называл неверные цифры?

– Дурак! – ответил он снисходительно. – Чего яришься? Я же не ругал, а хвалил твое умение. Скажи лучше спасибо за похвалу.

Я убрался от него подальше. В электролизной Тимофей Кольцов показывал двум ученицам, Фене и Оле, как налаживать на ванне циркуляцию раствора. Шел электролиз никеля. Первую пластиночку норильского никеля всего несколько дней назад получил старый электрохимик Семенов на сконструированной им настольной ванночке. Милый Николай Антонович безмерно гордился своим достижением, он признался мне, что этот тонкий листочек размером с папиросный коробок – самый большой успех всей его электрохимической жизни. И хоть он уже стар и не надеется на скорое освобождение, он теперь видит, что жизнь свою – хоть и за колючей проволокой – прожил не даром.

Первый норильский никель Ольга Николаевна отнесла Завенягину, а в ОМЦ смонтировали электролизные ванны, почти не уступавшие по размерам ваннам бытовым – на них планировали получить уже не крохотные листочки, а настоящие пластины никеля. Семенов определил в свои помощники моего друга Тимофея Кольцова, сам сидел у химиков, а Тимофей надзирал ванны. Я присел неподалеку от Кольцова. Работу свою я уже выполнил и не хотел идти к себе.

Погода в этом странном краю была изменчива. Широты – солидные, почти семьдесят градусов, Полярный круг терялся где-то на юге, но все остальное было несолидным – так, по крайней мере, казалось до первых морозов. В августе нас томили ледяные дожди, когда они переставали, прорывалось яркое солнце. Первого сентября выпал большой снег, третьего возвратилось тепло и установилась солнечная осень. В середине месяца с океана напоззли тучи, снова полили дожди и посыпался снег, на этот раз мы думали – кончено, зима! Вот уже неделю от зимы не осталось и следа. Холодеющее солнце заливало подсушенную, подмораживаемую по ночам землю. Горы приблизились – омытые, выскобленные, сумрачные и надрывные, как покаяние с горя.

Я осмотрелся, нет ли поблизости конвоира, и торопливо нырнул в кусты за уборной. Пройдя метров сто по бережку Угольного ручья, я развалился на холмике. Это был тот самый ручей, что омывал нашу жилую зону, наше сбродное первое отделение. Он доносил сюда все наши отбросы – не вода, раствор нечистот пенился в зоне на его камнях. Он и пахнул там, у барачков, чем-то нечистым, этот наш лагерьный ручей, от него поднимались сладковатые ароматы гнилья. Но то было в трех километрах отсюда, на склоне горы, опутанной колючей проволокой. Здесь, на воле, на плоской долинке, щетинившейся низкорослым леском, он казался снова чистым, дышал водою, а не выгребными ямами.

Холмик был усеян кустиками голубики и брусники. Сперва я поворачивался с боку на бок, объедая окрестности, потом стал переваливаться подальше, а вскоре мне надоела и синяя голубика и красная брусника. Я улегся на спину, заложив под голову руки. Земля была где-то внизу, я ее не видел. Меня со всех сторон окружило смиренное голубоватое небо, оно было очень низко, словно, как и все в этом краю, стояло над землей, покорно склонив голову. Мне стало до боли жалко, что небо такое униженное, я чуть не всхлипнул от сочувствия. Потом мысль моя унеслась к недавним товарищам Анучину, Липскому, Потапову, Хандомирову, Альшицу. Где они, что с ними? Вкальвают в котловане, собираются каждый час в кружок, чтоб обменяться новостями и слухами – по-местному, «парашами», – и снова рубят ломом неподатливую землю? Что ждет их вечером – штрафной паек за невыполнение норм и новые, горячечные, как бред параноика, «параша», единственное их утешение? Я вспомнил насмешливые слова Журбенды: «Я верю „парашам“ только собственного изготовления». Он умел изготавливать яркие известия, этот Журбенда! Но, боже мой, как жидок стал бы суп, как черен и тверд был бы урезанный кусок хлеба, не сдабривай мы его добрым слухом, надеждой, пусть и вздорной, но поддерживающей душу! Я снова жил с недавними друзьями, горевал их горестями, изнемогал их усталостью. Во мне рождались

печально-иронические стихи, закованный в рифмы стон души:

Нигде нет осени страстней и краше,  
Чем эта осень заполярных гор.  
Нигде так пышно не цветут параша,  
Как в недрах этих рудоносных нор.

Над озером кружатся куропатки,  
Последний в тундре собирая корм.  
У бригадира – желчные припадки  
И на доске – невыполнение норм.

И, согнутый еще не ставшей стужей,  
Уныло вспоминая разный хлам,  
Я жадно жду уже привычный ужин  
Параш штук шесть и хлеба триста грамм.

Я торопливо записал эти строфы в блокнот и повеселел. Теперь я мог спокойно возвращаться в цех. Я чуть ли не бегом кинулся назад. У наружной двери меня встретил Тимофей. Он в волнении замахал руками.

– Где ты пропадал? Я кричал, кричал тебя... В цех приехал Завенягин, он осматривает одно помещение за другим. Через несколько минут дойдут до твоей комнатки. Торопись прибраться!

Я поспешил к себе. В комнате уже было прибрано и пусто. Я раскрыл потенциометр, засунул в муфельную печь платиновую термопару и включил подогрев. Пусть они приходят, я смогу притвориться, что у меня важное занятие. В муфельной печи прокаливались порошки разных никелевых сплавов.

Я ждал появления Завенягина с волнением. И не потому, что он был начальником комбината и лагеря, почти бесконтрольным владыкой надо мной и еще над тридцатью тысячами таких, как я. Во мне не воспитали особого почтения к начальству. Я уважал людей, а не должности, ум, а не положение, душу, а не чин. Но бывали случаи, когда человек сам определял свою должность, умом достигал положения, не разделял души и чина... В этом прославленном имени «Завенягин» таилась немаловажная частица моей собственной души, оно дышало мне романтикой пока еще недавней моей юности. Я услышал о нем семь лет назад. В уральской степи воздвигался мощный комплекс металлургических заводов, чуть не каждый день в газетах печатались сводки о ходе строительства, мы пробегали их с жадностью, как фронтовые донесения. Тогда и прозвенела на весь мир фамилия директора Магнитогорского комбината, этого самого Авраамия Павловича Завенягина, который должен сейчас зайти в мою комнатку. В те далекие годы он был худ, молод, с аккуратно подстриженными усиками. Каков он сейчас?

В комнату вошла покрасневшая Ольга Николаевна, за ней, согнувшись в дверях, проследовал широкоплечий мужчина со знакомыми усиками. Он вопросительно посмотрел на меня. Я поклонился, он ответил.

– А здесь у нас точные измерения, – говорила Ольга Николаевна. – Проверяются и налаживаются приборы, исследуются потенциалы растворов. – Она быстро взглянула на разогревшуюся муфельную печь. – Сейчас, например, в тиглях проходит обжиг порошков по строгому температурному графику.

Повернувшись к ним спиной, я записал, что показывали мои термопары, чтобы подтвердить строгость температурного режима. Завенягин ходил по комнате, с любопытством осматривал приборы, брал их в руки. Потом он дотронулся до батареи, и на лице его появилось удивление.

– У вас центральное отопление? А где вы достали котел?

– Да вы же сами разрешили его взять с базы Техснаба.

– Загадка решена! – сказал Завенягин с облегчением. А ведь, а в Техснабе голову потеряли – куда делся котел? Вот вы, значит, какая хищница. Буду, буду бояться вас.

– Да какая же хищница, Авраамий Павлович? А если и хищница, то с вашего благословения.

Помните свою резолюцию?

– Помню, конечно. Но скажу по совести: знай я, что вы так легко его раздобудете, я бы поостерегся выдавать разрешение. Ожидали десяток этих котлов, пришло три, а визы на получение я накладывал заранее. Последний котел утащили из-под носа Metallургстроя, вот что вы сделали! Ну, владейте, владейте, раз удалось завладеть. Только не как начальнику, начальнику нельзя знать такие дела, просто как знакомому расскажите, как вы это проделали?

– Да нечего рассказывать, Авраамий Павлович. Приехали, погрузили и уехали!

Он смеялся, она хохотала. Она еще никогда не была такой красивой, как сейчас. Завенягин встал и снова кивнул мне.

– Идемте, Ольга Николаевна, мне еще в три места надо поспеть до вечера. Между прочим, выговор вам за изъятие котла, хоть по моему разрешению, но без визы самого Норильскнаба, я вам запишу. А с ваших заключенных ИТР на месяц сниму дополнительный паек. Не так для вас, как для других – острастка.

Проходя мимо меня, Ольга Николаевна задержалась. Лицо ее сразу стало сухо и жестко.

– Никуда отсюда не уходите, – приказала она тихо. – Хочу поговорить.

Она явилась обратно минут через пять. Я стоял у столика, она подошла к окошку. Мимо окошка прошелестела «эмка» начальника комбината.

– Уехал, – сказала она, улыбаясь. – Ну, все прекрасно. Ему понравился наш цех, особенно пристройки. Исследовательские работы он тоже одобрил. А что до выговора – переживу. Вам, правда, месяц без дополнительного пайка.

– Месяц – это недолго. А пристройки хорошие, – ответил я безучастно. – И исследования нужные.

Ольга Николаевна швырнула в угол папиросу. Ее подвижное лицо снова изменилось, в глазах вспыхнул гнев.

– Вы плохо ведете себя! Кто вам разрешил уходить в лесок? Стрелок намеревался объявить вас в побег, я еле отговорила. Вы забываете о своем положении!

– Да, я забыл о своем положении! – сказал я. – Я забыл, что я заключенный, то есть нечеловек, вернее недочеловек или получеловек. Я забыл, что мне нельзя удаляться от места работы дальше, чем на десять метров. Я забыл, что полагается стоять перед вольным, особенно перед начальником, навытяжку, руки по швам, голову склонив. Я забыл, что мне запрещены все естественные человеческие чувства – увлечение, радость...

– Перестаньте! – крикнула она, топнув ногой. – Что за истерика? Слушать не хочу!

Я отвернулся. Она закурила новую папиросу, прошлась по комнате. Она успокаивалась, я все больше кипел.

– Вести такие разговоры небезопасно, когда кругом столько ушей, как вы этого не понимаете? – сказала она. – Я начальник цеха, и на мне лежат...

– Права и обязанности, – закончил я, кланяясь. – Понимаю вас, Ольга Николаевна. Ваша обязанность – не допускать, чтобы заключенные забывали о том, что они заключенные. А право – наказывать заключенных карцером, если они все-таки забудутся. Интересно, во сколько суток кандея вы оцениваете мое поведение?

– Не будьте глупцом! – сказала она, подходя вплотную. – Слышите, не будьте глупцом!

Она так разозлилась, что готова была вlepить мне пощечину. Я замолчал. Она еще прошлась по комнате, не глядя на меня.

– Ваша бригада сейчас уходит в зону, – сказала она, останавливаясь. – Вы останетесь в цехе на вторую смену. Я выдала конвоиру расписку, что задерживаю вас для окончания начатых работ.

– Слушаюсь, – сказал я. – Будет исполнено. Займусь окончанием еще не начатых работ. Я давно мечтал провести вечерок в полном одиночестве.

Она наконец справилась с гневом и снова улыбнулась:

– Одиночество будет не полным. Я приду к вам вечером.

Теперь все мои душевные помыслы свелись к одному: узнать, когда начинается вечер. Это перед закатом или после заката? Что отмечает наступление вечера – последний солнечный луч или первая звезда? Или, может, на мое несчастье, вечер приходит, когда самая тусклая завершающая звездочка выползет на дежурство? В старой жизни вечер наступал, если две стрелки на часах становились под заданным углом. В новой часы были утрачены, единственные в цеху ходики

висели в закрытом кабинете начальницы. Я выбежал наружу и смотрел на небо. Небо не хотело темнеть. По нему, черт знает зачем, ползали красные полосы, они потихоньку превратились в северное сияние – первое увиденное мною северное сияние. Я счел это добрым предзнаменованием и возвратился к себе. Ко мне в любую минуту могли прийти. Мне было не до сияния, даже первого!

И, как почти всегда бывает в таких случаях, я пропустил, когда дверь открыли. Не знаю, о чем я задумался, но я вдруг потерял ощущение окружающего. Я очнулся, когда передо мной стоял молодой человек. Я растерянно вскочил, я не знал этого неслышно появившегося человека. Он был высок, очень строен и необыкновенно красив. Только на картинах старых итальянских мастеров я видал такие благородные мужские лица, матово-бледные, с нежной кожей, большими вдумчивыми глазами. Все это было так невероятно – и его неожиданное появление, и его удивительная красота, что я непроизвольно сделал шаг назад.

– Здравствуйте, Сергей Александрович! – сказал посетитель улыбаясь и протянул руку. – Я два раза стучался, но вы не услышали. Я муж Ольги Николаевны.

В комнату вошла Ольга Николаевна. Она увидела, что мы обмениваемся рукопожатием.

– Ты, значит, справился без меня, Сережа? – Она весело засмеялась моему смятению. – Не удивляйтесь, моего мужа тоже зовут Сергеем, Сергеем Анатольевичем. Садитесь, друзья, что же вы стоите?

– Я знаю о вас уже давно, – сказал он, ласково глядя на меня. – А вернее, с того дня, когда Оля познакомилась с вами в кабинете у Федора Аркадьевича Ха-рина. Она так точно описала ваше лицо, походку и разговор, что я узнал бы вас и без знакомства при встрече на улице.

– Мы тоже запомнили Ольгу Николаевну, – ответил я с трудом. Я с отчаянием собирал разлетевшиеся мысли, голова была темна и гулка, как перевернутый горшок. Я обратился к Ольге Николаевне: – На вас были модельные туфли, чулки со стрелками, нарядное платье. Мы долго потом удивлялись, как вам удалось пробраться в такой одежде на завод под кромешным дождем.

Сергей Анатольевич лукаво улыбнулся:

– Я расскажу вам тайну ее появления на заводе. Оля знала, что ей предстоит увидеть очень интересных людей, в прошлом крупных работников, и готовилась к встрече целую неделю. А последние две ночи даже плохо спала. Она упростила Авраамия Павловича дать ей свою машину для поездки. Только это и спасло ее туфли и платье, а заодно и завивку, на которую тоже было потрачено немало трудов.

Так мы болтали с час или немного больше. Я постепенно оправился от первого ошеломления. Сергей Анатольевич вежливо посмеивался несколькими моим вымученным шуткам. Он рассказал о себе, что как и она, инженер-металлург, они закончили одновременно Московский институт цветных металлов. Ей предлагали аспирантуру у профессора Ванюкова, но она не пожелала расстаться с мужем, получившим назначение на Крайний Север, – так они появились в Норильске.

Я в ответ поделился самыми важными событиями своей жизни, то есть разными пустяковыми происшествиями. Единственным по-настоящему важным в моей жизни было то, что я осужден, но это они знали и без меня и распространяться об этом заключенным строго воспрещалось: чтоб не выдать государственных тайн, как это называлось в подписанной нами бумажке, хоть в нашем несчастье была одна та тайна, что осудили нас без вины. Впрочем, именно это и следовало скрывать.

Ольга Николаевна поднялась первой, за ней поднялся он.

– Как видите, одиночества у вас не получилось, – сказала она, дружески протягивая руку. – Мне очень хотелось познакомить вас с Сережей, я рада, что это наконец произошло.

Я молча поклонился. Я не мог говорить. В моей руке лежала ее узкая теплая рука. Я проводил их до двери. Он вышел первый, она задержалась, запахивая пальто.

– Как вам нравится мой муж? – спросила она.

– Ваш муж мне очень нравится. Мне не нравится только, что он ваш муж.

Она с укором покачала головой.

– Вы неисправимы! Возьметесь ли вы когда-нибудь за ум?

– Никогда! – сказал я, – Очевидно, у меня попросту не за что браться.

Я возвратился в свою комнатушку и облокотился о подоконник. Была уже ночь, но в свете

фонаря на верхушке столба, поднимавшегося над крышей, я видел, как они удаляются. Он поднял воротник и сгорбился, она запрокинула назад голову, – видимо смеялась, она всегда так смеется, запрокидывая голову. Над ними играло неяркое полярное сияние, первое сияние, которое я видел в своей жизни.

Мне хотелось плакать. Еще охотнее я бы с кем-нибудь подрался.

## Счастливый день Тимофея Кольцова

У Тимофея были две особые мечты. Особость их была не в природе этих мечтаний – примерно того же хотели и все мы. Во всяком случае, никто не возражал бы, чтоб у него – или с ним – осуществились такие мечты. Тимофей отличался от нас тем, что хотел этого с очень уж большой силой. Он не тешился своими мечтами, а вкладывал в них душу.

Первая состояла в том, что он желал любви. Он мечтал, чтобы в него влюбилась хорошая женщина, и по-хорошему влюбилась – со слезами, с обмиранием при встрече, с горячими ласками наедине и с непереносимой готовностью ради всего этого пойти на любую жертву: на потерю свободы, здоровья, может быть, даже жизни. Величиной возможной жертвы измерялась сила его воображаемой любви. Что и говорить мечта неплохая, каждому бы ее.

Вторая была попроще – напиться. Когда мечты, накаливаясь в одиночестве, достигали непереносимой остроты, Тимофей приходил ко мне в потенциометрическую и садился на табурет.

– Како веруешь? – спрашивал он, вздыхая.

– Поклоняюсь лагерным святым, философам Канту и Филону, отвечал я.

Это означало, что я кантуюсь и филоню, то есть уваливаю от работы. Я не кантовался и не филонил, а, наоборот, усердно трудился, но Тимофею нравилась моя острота, он хохотал минуты две или три. Он очень забавно смеялся, весело и душевно, смех его никого не обижал, даже если смеялись над кем-нибудь, а не вообще. Человек, услышавший, как Тимофей смеялся, еще не зная, в чем дело, тоже начинал хохотать. Самым же смешным в смехе Тимофея было то, что смех набегал приступами: заклокочет, запенится, понемногу ослабеет и затихнет, потом снова вырвется наружу громким клокотанием. Смотреть на эту веселую судорогу было всегда занятно.

Отсмеявшись вдосталь, Тимофей говорил:

– Сережа, слышал – на стройку приехали тысяча девчат из таежных сел. Молоденькие, хорошенькие...

– Не все хорошенькие, – возражал я.

– Все, Сережа! Нехорошеньких девчат не бывает. В наш цех занаряжено человек десять. Ох и хорошо же будет!

– Да чем же хорошо, Тимоха?

– Всем! Ну как ты не понимаешь? Девчата кругом – рожицы же, смех... Воздух станет звонким, без глухоты, как сейчас...

– И какая-нибудь из этих смешливых рожиц влюбится в тебя? – доканчиваю я.

– А что? Неужто в меня и влюбиться нельзя? Нет, ты скажи – нельзя?

Я отрывался от приборов и смотрел на него. Он сидел на табуретке, унылый и добрый, и с волнением ждал моего ответа. У него было сразу запоминающееся лицо типичного казака-кубанца (он был краснодарский), как их обычно рисуют, не хватало лишь лихих кудрей и бравых усов. Когда он надевал свою высокую, как шлем, шапку, сходство с лубочной картинкой казака-молодца еще усиливалось. Лицо было из тех, нередко встречающихся, которые, даже бритые, почему-то кажутся усатыми.

Вместе с тем Тимофей был некрасив. Негладкая темная кожа очень портила это хорошее по рисунку лицо, к тому же временами его одолевали прыщи, естественный результат плохого питания и мужского одиночества.

И на обеих руках Тимофея сохранилось не больше трети пальцев, и, хоть орудовал он своими культиками не хуже, чем я десятью нормальными, он мучительно сознавал, что урод. Несчастье с руками произошло еще в детстве и наложило коверкающую печать на психику – Тимофей уже не верил, что он такой же человек, как другие, он считал себя абсолютным неудачником во всем. Может, от этого и проистекала острота его первой, главной, мечты.

– Значит, вовсе нельзя? – повторял он упавшим голосом. У него быстро менялись

настроения. Он в минуту переходил от смеха к горю и от горя к веселью. Но это происходило не оттого, что он неглубоко чувствовал, а потому, что он чувствовал много больше любого из нас.

– Нет, что ты, Тимоха! – говорил я. – В тебя даже очень можно влюбиться. Будь я женщиной, я бы только в таких, как ты, и влюблялся.

Я, разумеется, не лгал. Стань я хоть на срок женщиной, я бы чувствовал себя счастливым только с таким сердечным, покладистым, услужливым и преданным мужчиной, как Тимофей. Но я не был женщиной, они же мало походили на меня. Кроме того, они хуже знали мужчин, чем знал их я. Если и выпадала им печальная судьба любить заключенного, то они влюблялись в людей иного сорта – самоуверенных, энергичных, умеющих за себя постоять, умеющих для себя оторвать. И все они твердо знали, что десять пальцев лучше, чем четыре, два глаза удобней, чем один, а если и мирились на одной голове, то требовали от нее почти невозможного – и тяжести на ней таскай, и мыслями поражай, и по хозяйству шевели мозгами. Нет, женщины не разбираются в природе мужчин, это им не дано.

Для усиления я уверял Тимофея:

– Вот увидишь, среди новых девчат ты подберешь подругу. А уж если вольная полюбит заключенного – точно любовь! От нашего брата ведь ни корысти, ни удобства, ни семейной обеспеченности – так сказать, одно голое чувство...

Тимофей благодарно смотрел на меня.

– Выпить бы! – говорил он растроганно. – В честь их приезда хоть стопочку, а?

– А вот спирта нет! – отвечал я.

Новые девушки появились в нашем цехе осенью, и почти всех их отдали на выучку к Тимофею. Он был старшим на электролизных ваннах. Работа в его отделении была типично женским занятием – что-то зачищать, что-то поправлять, что-то легонько закручивать и откручивать. Среди девушек выделялась Лена – высокая, красивая, деловитая, дерзкая на язык. Тимофей уже через неделю был в нее без памяти влюблен. Ему вообразилось, что мечта его близка к осуществлению.

– Сережа! – вскоре объяснял он с восторгом. – Умница же эта Ленка, свет таких не видел. Начну что излагать, сама заканчивает, на ходу все схватывает.

– На ходу портянки рвет, – ответил я по-лагерному, чтобы умерить его пыл.

– При чем тут портянки? Соображение, а не портянки. И глазищи!.. Синие, умные, огромные...

– Как у коровы, – хладнокровно продолжал я.

– И печальнее коровьих... – он не дал себя сбить. – А руки! Все могут – вот руки! Толковейшие руки. Вчера под вечер я ее немножечко тиснул – такого леща выдала, еле на ногах устоял! В шутку, само собой... Она так и объяснила, что в шутку.

– Хороши шутки! – мрачно сказал я и зловеще покачал головой. Я уже видел, куда он клонит.

В лице у Тимофея появилась мольба.

– Не в службу, а в дружбу!.. Завтра мне с ней во вторую смену выходить. Неужто такой случай пропускать? Он же год не повторится! Двое – он и она, Тимофей Кольцов и Лена Семитина, и больше никого в целом цехе. Пойми же! Я и она! Как она смотрит на меня, как слушает! Золотое сердце, чистейшего золота, вот какая она!

– Говорю тебе, нет спирта! – Я отвернулся, я мучительно перебарывал свою жадность.

Он опустил голову и бормотал:

– Нет, не смогу! Ты бы смог, а я не смогу. У тебя язык – подвешенный, а у меня – прикованный. Рассказать бы ей, как дошел до такой жизни и что у меня на сердце... Без ста грамм не сумею. Она ко мне всей душой, а без слова все равно не выйдет душевности! Такой случай, что совсем вдвоем – и ни к чему!

Я полез в шкаф и достал заветный пузырек.

– На, сто кубиков чистого спирта. Все запасы, разрежи два в два.

– Учи! В спирте я, брат, как ты в рифмах. Для женщины надо разводить два в три, иначе вкус не тот. Ну спасибо, вот же друг настоящий, просто выручил, ну просто выручил! Сегодня у меня счастливый день! Счастливый день, пойми!

Он убежал к себе, Я порадовался его счастью. Лена, несмотря на свою красоту, мне не

нравилась. У нее была хорошая женская внешность без крохи женского очарования. Я угадывал в ней хищника и приобретателя, бессовестного кулака в юбке – такие иногда приезжали к нам из глухих сибирских уголков, где еще сильна в дремучих лесах не проветренная как следует старина. И эта самая бездушная Лена была, оказывается, всей душой к Тимофею, заслушивалась его, засматривалась на него. У нее вдруг обнаружилось сердце, и не простое, а чистейшего золота! Воистину любовь шагает без дорог, загорается без огня. Всего можно ожидать от такой непостижимой штуки, как любовь.

Тимофей готовился к завтрашнему вечернему дежурству, как к ледовому походу. У каждого заключенного имеются запасы, собираемые месяцами для праздников, – пачка печенья, кулечек конфет, банка консервов, что-нибудь из тряпья. Тимофей поскреб и помел по всем своим заначкам, купил и наменял, чего не хватало, – когда он выходил из зоны на дежурство, все его карманы оттопыривались. Если бы охрана оказалась бдительной, он вместо работы сразу бы попал в карцер. Но вохровцы не хуже нас знали, как быстро оскудели с началом войны все лагерные зоны. Те времена, когда мы не съедали выдаваемого хлеба, давно прошли. Мы были до того голодны, что, проходя по улицам, щелкали зубами на вывески магазинов, где были нарисованы невероятные довоенные снеди вроде ветчин, колбас и тортов. Обыскивать нас было напрасным трудом – у кого заводилось что, тот не доставлял стрелкам и комендантам легкой удачи.

– Ни пуха ни пера! – сказал я Тимофею, готовясь к уходу домой. – Люби крепче! Придешь, разбуди и расскажи, как окончился твой счастливый день.

– Пошел к черту! – ответил он на пух и перо и добавил, ликуя: – А насчет любви – крепче, чем у нас, немыслимо! Все расскажу тебе первому. Ах, Сережа, Сережа, такой сегодня день, такой день!

Но получилось так, что главное об этом дне мне рассказал не он, а наш нарядчик, Тимофей же впоследствии лишь добавил детали. Ночью, прямо с вахты Тимофея отвезли в ШИЗО. Если у Лены и было сердце, то не золотое, а каменное. Начался вечер удачно – наладили устойчивый процесс на ваннах и часам к восьми, сели ужинать. Лена достала свой хлеб да лук, да сгущенное молоко, Тимофей блеснул варварской роскошью – коробками крабов, консервированной колбасы и зеленого горошка. К этому он добавил сто граммов конфет-подушечек и плитку сухого, как черепица, шоколада. А посреди стола водрузил бутылочку обильно подслащенной и подкрашенной водки из выпрошенного спирта.

– Леночка! – сказал он, умоляюще приложив изуродованную руку к сердцу. Прошу от души!

Водка была осушена с первого же захода, а через полчаса от консервов остались только банки. О чем говорили, сам Тимофей не помнил, но в ходе разговора он подарил Лене главное свое сокровище: носки из верблюжьей шерсти, присланные из дома еще перед войной, – она приняла подарок с охотой. А потом он надумал ее поцеловать, и она огрела его на этот раз без шутки.

– Леночка! – воскликнул он озадаченный. Ну что это ты?

– А вот то, – сказала она. Всякая мразь заключенная сует обрубки! Попробуй-ка еще! Хочешь, чтобы меня с работы уволили за связь с контриками? Как же, нашел дуру!

Все это так чудовищно не походило на то, чего он ожидал, что он не сразу сообразил, куда подул ветерок. Он хотел схватить ее за руку, чтобы она замолчала. Ей нельзя было говорить, ему нельзя слушать такие обидные слова. Она вырвалась и побежала наружу.

По нашей зоне, меж объектов, часто бродят стрелки, собирающие свои бригады. Обстоятельства совпали так несчастно, что Лена, выскочив, налетела на чужого стрелка, проходившего мимо цеха.

– Ты чего, девушка, несешься, будто с чего-то нехорошего сорвалась? – поинтересовался стрелок и захохотал, довольный остротой.

– Понесешься, если пристают! ответила Лена, переводя дух.

– А кто пристает – зека? – деловито осведомился стрелок.

– А кто же еще? У нас одни зека.

– А как пристает? По мелкой возможности или с полной своей серьезной глубиной?

– А леший вас разберет, как лезете! У вас надо спрашивать.

Чужой стрелок Тимофея не знал и легко мог поверить любому на него навету. Когда наш постоянный конвоир услышал, что произошло, он устроил на вахте скандал, но поправить что-

либо было уже поздно. Чужой стрелок двинулся в цех и строго допросил Тимофея.

– Фамилия? – начал он.

– Кольцов, – ответил багровый от стыда Тимофей. Смущение его не понравилось стрелку.

– Кольцов? Так... Скажи теперь националы полностью.

– Тимофей Петрович.

– Ладно... Пятьдесят восьмая? Ага! Так что у вас за происшествие?

Тимофей мекал и путался, чтоб не подводить Лену. Он, разумеется, умолчал о том, что они в добром согласии выпивали и закусывали, ни словом не обмолвился и о подарке, но признался, что пытался поцеловать свою работницу.

– Ясно! – сказал стрелок. – Зверское нападение заключенного на вольнонаемную с целью изнасилования. Для первого пресечения десять суток ШИЗО обеспечены, дальше разберутся следственные органы. Пошли, сам отведу на вахту!

И чужой стрелочек доставил Тимофея в зону за час до развода и сдал коменданту. В комендатуре Тимофей покорно написал невразумительное объяснение и получил свои законные десять суток.

Лена и сама была не рада, что заварила такую кашу, но пути назад уже не было. Чтоб жалоба в глазах начальства выглядела правдоподобней, она прибавила живописных подробностей, вязавшихся к Тимофею как рога к курице. В запутанной специфике нашего производственно-лагерного бытия она не разобралась и слишком поверила тому, что говорилось на собраниях. Ей внушили, что заключенный всегда виноват, а вольнонаемный всегда прав – надо, стало быть, горячей обвинять, – обвинение выручает! Но начальство думало о другом: как бы поднять повыше выдачу никеля военным заводам страны, без него не могла идти война. В глазах начальства прав был тот, от кого можно было больше получить металла, единственной сейчас реальной ценности. Тимофея уже на другое утро извлекли из карцера, вынесли в приказе выговор за плохое поведение и выдали десяток талонов на дополнительные блюда – компенсировать потери, вызванные ночью в карцере. Лену поблагодарили за сознательность и спустя день сместили из электролитниц в уборщицы – она потеряла сразу половину зарплаты и карточку за вредность. А когда она побежала жаловаться, ей указали на тысячи промахов по работе и снисходительно разъяснили, что ждут от нее благодарности, а не возмущения. Могло получиться и хуже, допустить промахи на таком важнейшем производстве, как наше,-дело нешуточное. Тут всегда можно поинтересоваться – а почему ошибки? С какой целью ошиблась? Кто дал задание – ошибаться?

Лена поняла намек и вскоре исчезла из нашего цеха, унеся великолепные верблюжьи носки и оставив нам для лечения разбитое сердце Тимофея Кольцова.

Тимофей пришел ко мне и горестно опустил голову.

– Счастливый день! – сказал я с укором.

Он молчал, придавленный суровостью обвинения. Ладно, Тимоха, будет нам всем уроком. Что до меня, то я извлек такую пропись: верь глазам, а не словам. Глаз покажет, а слово обманет. Ленка с первого дня показалась мне стервой.

Он устало поднял лицо.

– Не скажи, Сережа! Что-то я не так подошел, а девка она неплохая Сам дал какую-то промашку. Надо допонять теперь – какую?

– Чудная мораль. Я виноват, что вор у меня украл – зачем соблазнил вора своим добром? Еще что ты открыл такого сногшибательного?

Он смотрел в сторону. На лице его появилось что-то умильное и восторженное вместе. Такое выражение бывало у него, когда становилось очень уж плохо.

– Нет на свете счастья, Сережа! Может, кому и есть, а мне – все! За счастье надо крепкими руками цепляться, а у меня – вот они! Если Лена в рожу плюнула, чего от других надеяться? Чего, я спрашиваю? Так я ждал, так ждал этого счастливого дня!

– Проваливай, Тимоха! – закричал я, рассердившись. – Надоел со своими счастливыми днями.

Когда он вышел, я направился к химику Алексеевскому. В прошлом он руководил отделом в военно-химическом институте, считался видным специалистом по взрывчатым веществам, а ныне трудился дежурным аналитиком. Он иногда получал спирт для анализов борной кислоты в растворах. Я крепкой рукой схватил быка за рога.

– Всеволод Михайлович, как у вас в смысле горячего?

Он замялся. Он был скупенек почище моего.

– М-м-м! Как вам сказать... Чистого или в водных растворах – этого нет. А в отходах анализов, так сказать, в промводах. Да ведь надо перегонять в разделительной колонке! Если случай у вас не смертельный.

– Именно смертельный! Выслушайте меня, дорогой Всеволод Михайлович. Тимофею нужна скорая помощь. У него в сердце рваная любовная рана. Он катастрофически теряет веру в людей. Одной скверной девке удалось добиться большего, чем всем следователям и надзирателям, – мир утратил для него девяносто процентов красок. Ужасно жить в таком сером мире! От вас зависит, удастся ли возродить Тимоху к жизни. Ради этого стоит наладить разделительную колонку на одну-две тарелки и приступить к запретному искусству перегонки спирта!

На другой день я возвращался в зону, ощущая внизу живота, куда даже равнодушные вахтенные стеснялись лезть при обыске, плоскую бутылочку с двумястами «кубиками» чистейшего спирта. Тимофей не знал, какая его ждет радость. Я подождал, пока он разделается с супом, и отозвал в сторонку.

– Минутки через три, Сережа, попросил он. У меня еще каша.

– Каша не волк, в лес не убежит, – объяснил я строго. – Раз сказал иди, значит иди! Каша пригодится потом.

Он покорно поплелся за мной.

– Доставай кружку, приказал я. И держись твердо на ногах. Если упадешь от радости в обморок, представление отставляется. Сегодня ты можешь нахлестаться по выбору: как сапожник, как извозчик, как грузчик, как босяк, как плотник, как матрос или еще как-нибудь. Короче, можешь напиться в доску, в дым, в стельку, в лежку, до белых слонов, до зеленых черней, до райских голосов, до бесчувствия, до обалдения, до просветления...

Не дослушав и половины, он кинулся за кружкой. Я заставил его налить сперва воды, потом опорожнил в кружку пузырек.

– А ты? – спросил он, замирая от радостного ожидания. – Я хочу с тобой.

– Может, нам еще чокнуться, чтоб на звон бокалов набежали коменданты? Тогда допивать придется в карцере.

– Нет, я хочу с тобой! Я тебе отбавлю.

– Для хмеля мне вполне хватит твоей пьяной рожи.

– Ну, поехали! – прошептал он и жадно припал к кружке, потом передал мне: – Там немного осталось – твоя доля!

Я в два глотка справился с теплой после разбавления жидкостью.

– Теперь кашу! – сказал Тимофей спотыкающимся голосом. – Скорей кашу, а то замутит.

Мы в две ложки умяли его миску каши. Тимофей пьянел на глазах.

– Я немного на взводе... – пролепетал он. – В голове, знаешь... Ну, ты понимаешь...

– Я все понимаю. Ты мерзко нализался, или, по-лагерному, накирлялся! – сказал я сурово. – Ты определенно под мухой, ты бухой, ты косой, ты осоловелый! Ты напился, напился, напился! Не понимаю, откуда ты в наше трудное время сумел достать столько спирта? Только чистосердечное признание облегчит вынесение тебе тяжкого приговора. Кто не признается, тот не раскается – так сказано в святом Евангелии от Николая Ежова. Пошли спать.

Я кое-как помог ему улечься на нары, потом повалился на свои. Мне досталось меньше спиртного, и я спал крепче. Тимофей стонал и просыпался, под утро выбежал ехать в Ригу. Перед разводом он выглядел больным, жаловался, что голова разваливается на куски. В цехе Тимофей жадно кинулся на воду и от воды захмелел снова.

Но к вечеру он перестал жаловаться на головную боль. А на другой день восторженно мне сказал:

– Как мы с тобой невозможно шарарахнули, а? Я на нарах летал, словно по воздуху, – земля проваливалась... Вот это был счастливый день так счастливый день! Никогда не забуду.

С той поры жизнь Тимофея Кольцова явственно расслоилась на две неравноценные части: одну, унылую и однообразную, до счастливого дня, когда мы с ним «правильно кутнули», и другую, начавшуюся этим удивительным днем. Он вспоминал о своем счастливом дне утром и вечером, день этот постепенно все больше обогащался, становился до того насыщенным, что мог

собой наполнить целую небольшую жизнь.

А еще через какое-то время я нечувствительно выпал из этого дня и мое место заняла давно исчезнувшая Лена. С ней тоже произошли изменения, и чем шло дальше, тем изменения усиливались. Теперь она была нежна, приветлива, отзывчива и любила так горячо и преданно, так беззаветно и жертвенно, как вряд ли могла полюбить другая. Если бы не злобные души и черные руки, она и сейчас была бы с ним и единственный счастливый день продолжался вечно.

Тимофей часто приходил ко мне и говорил, растроганный:

– Помнишь, Сережа, тот вечерок, когда я выпивал с Леночкой? Что было, что было – просто неслыханно напился! Голова – электромагнитный эфир, руки – крылья, ноги – паруса! По земле шел как летел – честное слово! А она! Если бы ты только догадывался, какая это женщина! Ты бы ее руки целовал, я тебя знаю! Сердце – чистейшее золото, другого такого не найти. Вот за это ее и уволили из цеха. Позавидовали нашему счастью, честно тебе говорю!

## Глазанов

Когда он вошел, моя маленькая потенциометрическая лаборатория стала вовсе крошечной. Он обладал удивительной особенностью: все вокруг сразу уменьшалось, когда он появлялся, он не вписывался в масштабы окружающего, а менял их. Древние философы доказывали, что человек – мера всех вещей. Они подразумевали философское и психологическое господство человека над его окружением. Но мой новый знакомый, Владимир Глазанов, диктовал всему, с чем соприкасался, свою физическую меру, вещи произвольно соизмерялись с ним и от этого как бы ощутимо сжимались. Он не был массивен, во всяком случае, мой добрый сосед по зоне геолог Петр Фомин был и выше, и шире в плечах. Но крупный Фомин был сконструирован из нормальных человеческих деталей, он лишь возвышался среди вещей и людей, а не подавлял их. Глазанова, отнюдь не великана, природа собрала из крупных частей – большая голова, мощный лоб, внушительный нос, широкогубый рот, руки, обширные как лопаты, плечи, до того прямые, что казались много шире, чем были реально. И глаза столь ясные и полные света, что от одного этого выглядели слишком большими, хотя геометрически вымеривая, врядли превосходили средний размер. Их видимая величина проистекала из светящегося в них ума Я встал навстречу и сжал его руку.

– Рад видеть вас, Владимир Николаевич, садитесь.

– Вам уже говорили, с чем я? – спросил он.

– В самых общих чертах. Вы хотите, чтобы я сразу провел вас к начальнику? Лишь он может приказать стеклодуву изготовить, что вам требуется.

– Раньше покажите ваше заведение Я вижу приборы, которых нет в моей лаборатории. Где вы все это раздобыли?

– Доставали, – сказал я неопределенно и стал демонстрировать лабораторные богатства.

Стоявшие в углу на специальном фундаменте аналитические весы высокой точности и полуавтоматического действия гордость наших химиков – его не заинтересовали, набор платиновых термпар и регистрирующий потенциометр оставили равнодушным. Зато над эталонными катушками электрического сопротивления и емкости, и реостатами и мостиком Рапса, он сделал стойку.

– Зачем все это вам? – спросил он чуть ли не с возмущением.

– Нужно, – сказал я с максимальной категоричностью в голосе.

– Мне нужно, – отпарировал он. – Уже несколько лет мечтаю о таких приборах. Знал, что они прибыли, но что вы их забрали, не знал.

– Не я, а мы, – сказал я, начиная чувствовать вину.

– Отдайте, честно попросил он. – Мне ведь нужней, чем вам.

Моя категоричность таяла, как снег в оттепель.

– В общем, конечно... Уговорите начальника, а я возражать не буду. Согласен, вам эти эталоны нужней, чем мне.

Он, очевидно, слышал о характере нашего начальника. Тот с охотой помогал всем, кто нуждался в помощи, но с добром своим не расставался и под нажимом сверху. Даже если бы я сказал, что мне эти приборы абсолютно ни к чему, он бы их не отдал – вдруг когда-нибудь

понадобятся.

– Давно хотел с вами познакомиться, Владимир Николаевич, – сказал я. – Вы ведь стали местной легендой.

Он и вправду был легендарен. Знакомству с ним предшествовали слухи о нем. Мы знали, что он физик, что работал у академика Иоффе и был любимцем академика. Что перед арестом успел защититься, а появившись в Норильске, стал незамедлительно творить чудеса. Донорильское бытие Глазанова занимало нас не очень, среди заключенных, прибывающих этапами с «материка», были не только кандидаты наук, но и доктора, и профессора, и членкоры-академии, а также поэты и писатели, имена которых были известны еще на воле. Даже был один из секретарей Союза писателей и второй общесоюзный секретарь – Центрального Комитета комсомола. Доарестные заслуги и звания никого особенно не занимали, все мы были уравниены общим званием «зека», все носили одну лагерную одежду, и все делали не то, что хотели и к чему были способны, а то, чего требовали от нас – лишь иногда работа соответствовала специальности. И вот тут начиналась то, что сделало Глазанова всенорильски известным. Я сказал, что Глазанов творил чудеса. Природа чудес была инженерная – организация работ, технические изобретения, внедрение изобретений. И это опять-таки не было его исключительностью, много в Норильске было тогда выдающихся изобретателей. Главным чудом было другое – он делал только то, что сам считал нужным делать, а начальство сразу соглашалось – да, именно это и нужно, оно, начальство, только об этом и мечтало. Вместо того чтобы покорно вкалывать на земляных работах, как делали все мы в первые месяцы норильского бытия, он, прибыв в одном из этапов 1939 года, шумно возмутился: что же это за безобразие, и электростанция пущена, и машин полно, настоящее энергохозяйство, а где ремонтная и проверочная база энергетики, где контроль правильной эксплуатации агрегатов и сетей? Срочно организовывать энерголабораторию, без нее нельзя! И, не прикасаясь к лому и кайлу, создал такую лабораторию, первую настоящую лабораторию в Норильске, заслуживавшую этого названия. И энергично сколотил дельный штат – сам подбирал среди заключенных мастеров и инженеров, лаборантов и рабочих.

Второе дело было еще значительней. Он обнаружил, что в Норильске не существует защитного электрозаземления машин и сооружений. Собственно, оно формально существовало, но лишь как техническая показуха, как грандиозная инженерная туфта. Без заземления энергомашины не должны работать, без громоотводов высокие здания нельзя строить, это знают все строители и все электрики. И еще знают они, что нет ничего проще, чем устроить заземление: вбей в землю металлическую трубу или рельс – и готово – закорачивай на такую трубу и механизмы, и здания. Так и поступали в Норильске – вбивали в вечную мерзлоту трубы, прокладывали в ледяной почве металлические шины и рельсы, присоединяли к ним агрегаты – и рапортовали, что электрическая безопасность везде обеспечена. Но вечная мерзлота – изолятор, а не проводник электричества, ни один из таких ледяных заземлителей практически не заземляет. Глазанов доказал это точными промерами электрического сопротивления псевдозаземлителей – и стало ясно, что все энергохозяйство нового промышленного района страны создается с чудовищными нарушениями техники безопасности. Но Глазанов не ограничился тем, что поднял шум, простая критика недочетов его не устраивала, он всюду искал положительных решений. И, установив, что заземления нет, он стал искать его и – нашел. Идея была до изумления проста. На всем гигантском пространстве нашей планеты, где царствует вечная мерзлота, почва – изолятор, заземлять на нее машины и здания бессмысленно. Но есть в этом мире почв-непроводников и глубоководные озера. Такие озера даже в свирепые морозы не промерзают насквозь, а это значит, что их дно-нормальная почва. И, стало быть, заземлители надо устраивать на дне таких озер. По свойствам своей природы Глазанов не походил на тот распространенный тип изобретателей, которые, найдя идею и сделав модель, ограничиваются подачей заявки в БРИЗ, получением авторского свидетельства и – соответственно – премиальным вознаграждением. Для Глазанова только та идея была верна, которая становилась делом. Философский догмат – критерием истины является практика – был внедрен в него не институтскими лекциями, а составлял черту характера. Глазанов превратился из ученого в прораба. В дно озера Долгое, самого глубоководного в окрестностях Норильска, уложили массивную свинцовую – для предохранения от коррозии – сетку и заземлили на нее все энергоустановки комбината. Так появился в мире электротехники новый тип заземления, Глазанов назвал его озерным заземлителем.

– Был бы Владимир Николаевич вольным, не миновать бы ему Сталинской премии, – так высказался об изобретении Глазанова мой приятель электрик Александр Прохоров. А Саша, я хорошо знал, жаловал только тех, кто реально того заслуживал.

Конечно, Глазанова наградили – выдали денежную премию в пару десятирублевков, несколько банок консервов дополнительно к пайку. А после нового изобретения, не менее значительного, чем заземлитель, расщедрились на величайшее благо заключенного – пропуск бесконвойного хождения. И когда подошло время ходатайствовать перед Москвой о досрочном освобождении наиболее отличившихся заключенных, он был из самых отмеченных – «первые люди на первом плоту», процитировал применительно к этому случаю обожавший Николая Гумилева мой друг Игорь Штишевский, сам он в тот список, к сожалению, не попал.

Приход Глазанова в наш опытный цех совершился в порядке «испытания доброкачественности бесконвойных ног», так мы называли эти заветные пропуска. И меня живо интересовало, какое новое изобретение Глазанова дало ему такие великолепные льготы.

– Начальник ушел на обед, хоть время уже необеденное, – продолжал я. – Но он скоро будет, он дома не засиживается. Как вы отнесетесь к хорошему чаю?

– Только если по-настоящему хороший, – предупредил Глазанов.

– Если не попросите второго стакана, буду считать, что чай не удался.

Я поставил на плитку литровую колбу Эрленмейера, достал из глухой заначки последнюю – еще довоенную пачку китайского чая. В дверь заглянули Тимофей Кольцов и Ян Дацис. Я пригласил обоих к столу.

– Пахнет настоящим чаем, – одобрил разнесшийся по всему опытному цеху аромат химик Дацис, но от чаевничанья отказался. Мы с ним не ладили – и хоть он явно был тронут неожиданным приглашением, но понимал, что его решение радости мне не доставит. А Тимофей подставил жестяную кружку и унес варево в свою электролизную – заправить погуще сахаром и «гужежаться от пуза», на случай хорошего чая у него, наверно, было и что-нибудь из заначенного пайка.

– Сколько говорят о ваших изобретениях, Владимир Николаевич, – начал я разговор за чаем. – Строители считают, что вы совершаете революцию в земляных работах.

– Ну, революция! – сказал он. – Зимние земляные работы в Заполярье – варварство, если не техническое преступление, что даже ближе к истине. И любое разумное усовершенствование неразумного дела может показаться революционным.

– Все-таки расскажите, в чем суть предложенного вами электрического прогрева грунта.

Он говорил, я увлеченно слушал и периодически добавлял в стаканы свежего настоя. Собственно, техника электропрогрева грунта меня не захватывала. Я был технарем, числился в хороших инженерах, но про себя был к технике равнодушен, чтобы не выразиться резче. Я и до первой встречи с Глазановым знал, что он придумал втыкать в мерзлые грунты стальные прутья, подавать на эти прутья промышленное напряжение в триста восемьдесят вольт – и протекающий между электродами ток постепенно разогревал извечно мерзлую почву. На многочисленных промплощадках Норильска все котлованы копались в земле, разогретой кострами из угля, тепло больше нагревало воздух, чем ледяную почву. Огневое тепло должно проникать сверху вниз, так планировали строители, а еще Аристотель считал, что естественное место пламени на высотах и потому огонь стремится вверх, а не вниз. Строители – и не одного Норильска – Аристотеля не читали и пытались насильем преодолеть отмеченное древним мыслителем природное свойство огня. Лишь потом они с печалью устанавливали, что КПД их усилий возмутительно мал.

Владимир Глазанов построил свой электропрогрев, не нарушая, а по-своему подтверждая метафизические законы Аристотеля. Тепло возникало внутри почвы, между электродами, и потому все тратилось на разогрев вечной мерзлоты, а не на смягчение климата. И лишь когда внутреннее электротепло выбивалось наружу и земля начинала парить с поверхности, обогрев отключали. Коэффициент полезного действия – тот самый убийственный для обычного прогрева КПД – рос внушительно.

– Вероятно, ваш электропрогрев почвы станет основным для земляных работ, Владимир Николаевич? – предположил я.

Он скептически махнул рукой:

– Откуда же? Электроэнергии временами не хватает на освещение помещений, а прогрев

столько требует... Наши энергодиспетчера ругаются со строителями и часто самовольно снимают электропрогрев с питания.

Я понимал энергодиспетчеров, втайне даже сочувствовал им. Наш маленький опытный цех так часто отключали, и мы портили уже начатые исследования, немыслимые без электричества, что дружно кляли и ВЭС-2, и всех ее привилегированных потребителей. Но электропрогрев мерзлых почв являлся таким техническим рывком вперед, что я не мог не высказать восхищения. Глазанов опять махнул рукой:

– Какой уж там рывок вперед! Вечную мерзлоту отогреваем методами двадцатого века. А после? А после снова век пятнадцатый, если не десятый и не пятый. Повторяю, варварство! Ни единого экскаватора на строительстве. Отключаем электричество и снова переходим на ПП, то есть потный пар. Кирка, лопата и ручные носилки. Нет, не горжусь я своим изобретением, оно не для лагерных строительства.

– Все-таки здесь оно помогает, – пробормотал я, смущенный его осуждением своих собственных инженерных успехов.

И чтобы сменить тему, я заговорил о том, о чем всегда при встречах говорят заключенные: что с его семьей? где она? Но хоть эта тема была всегда обязательна, она от этого не делалась радостней. Семья Глазанова – жена и двое детей – осталась в Ленинграде после его ареста. Великим утешением было для него, что жена не разорвала с ним, не отказалась от «врага народа» – так поступали многие жены, стараясь защититься от грозящих репрессий. И великим счастьем для его жены, не потерявшей ни веры в невиновность мужа, ни любви к нему, было то, что ее не репрессировали, а оставили в покое на старой квартире. Но в Ленинграде сейчас голод, блокада прервала их письменное общение. До него – от вывезенного из Ленинграда товарища – дошел слух, что маленький сын Сережа умер от голода. Что с Еленой и старшей дочерью, он не знает, возможно, тоже погибли. Он мог бы послать им посылку съестного, премия за изобретения дается и дополнительным пайком. Но ведь блокада! Он старается об этом не думать, мысли о семье мучительны. Одно он знает твердо – им, оставшимся на воле, всем ленинградцам, тысячекратно хуже, чем ему в унылом бытии за колючей проволокой.

– Посмотрите, вот они, – Глазанов положил передо мной несколько фотографий – молодая женщина с красивым лицом, полный малыш, девочка немного старше брата.

– Идет наш начальник. – Я посмотрел в окно, пока Глазанов прятал свои фотографии. – Я провожу вас, Владимир Николаевич.

Глазанов разговаривал с начальником опытного цеха, я слушал. Я наслаждался, как кратко и ясно Глазанов излагает техническую суть своей судьбы. На руднике открытых работ надо произвести выброс наружной породы, чтобы раскрыть глубинную рудоносную массу. Взрывники хотят заложить несколько мощных зарядов и последовательно подорвать их. Максимальная эффективность будет, если взрывы последуют один за другим через сотые и десятые доли секунды. Приборов, которые бы гарантировали такое точное время включения запалов – таймеров, – в Норильске нет. Взрывники обратились за помощью к нему. Глазанов решил использовать свободное падение тел. Каждое тело падает в пустоте с ускорением «же», равным примерно десяти метрам в секунду. Это значит, что одна десятая секунды равна времени свободного падения тела на один метр. Этот закон он положил в основание своей конструкции таймера. Ему нужна просторная стеклянная труба высотой в два метра. В стенки трубы на определенных расстояниях нужно впаять лепестки электродов. Падающая внутри трубы стальная гирька будет замыкать электроды. Падение гирьки в воздухе мало отличается от падения в безвоздушном пространстве, стало быть, последовательность замыкания электродов точно составит те десятые доли секунды, каких требуют взрывники. Для впаивания электродов нужны хорошие стеклодувы. Они имеются только в опытном цехе – вот почему он и пришел сюда.

– Пойдемте в стеклодувную, – сказал начальник.

В стеклодувной Глазанов повторил свою просьбу. Наш стеклодув, тоже заключенный, знающий русский язык китаец, пообещал сделать стеклянный таймер по чертежу. Глазанов тут же передал ему приготовленный заранее чертеж.

Спустя несколько дней мы услышали запланированный взрыв. Мы дружно выскочили наружу за полчаса до взрыва – цеховые ходики, по которым мы устанавливали время, были механизмом с весьма своеобразным ходом, каждый боялся опоздать. Взрыв многих разочаровал.

Человеческое ухо не способно различить разницу в одну десятую, тем более сотую доли секунды. Серия последовательных взрывов прозвучала нам единым грохотом. Зато поднявшееся над Рудной и Шмидтихой пылевое облако выглядело внушительно.

В этом сборнике рассказов о встречах с реальными людьми я старался сообщить, что происходило с ними и после того, как наше общение прекращалось. Скажу, что знаю, и о Глазанове. Мы еще не раз встречались и пока были в заключении, и после освобождения. Встречи были в Норильске – на совещаниях, при выполнении соприкасающихся работ, на лекциях – и в тундре, в короткие летние недели. Глазанов был великим любителем цветов и рано уходил за пышно расцветающими жарками, я тоже любил цветы, но рано не поднимался. Мы встречались на встречном ходу – он возвращался с огромным букетом, я только шел на добычу. Мы стояли, обмениваясь новостями и мыслями.

В конце 1945 года, когда взрыв ядерных бомб над Хиросимой и Нагасаки и подувший в международных отношениях ледяной ветер заставил форсировать в стране атомные работы, начался усиленный поиск талантливых физиков. Глазанов не мог не попасть в поле зрения руководителей нашей ядерной программы. Его вызвали в Москву, предложили исследовательские темы, дали квартиру. Он воссоединился наконец с женой и дочерью. Но работа поначалу не удовлетворяла. Привыкший к полной самостоятельности в Норильске, он сетовал в письмах, что делает «неизвестно что, неизвестно для чего и неизвестно для кого». Что он не просто ворчал, я убедился спустя несколько лет, когда стал печатать повести и роман о советских и зарубежных ядерщиках. Я тогда встречался с крупными деятелями нашей атомной эпопеи и с удивлением узнавал, что они, конечно, хорошо знали, чем занимаются сами, но имели часто очень туманное представление о том, чем занимается сосед, такой же крупный физик – так велика была степень засекречивания. Глазанов, как и следовало ожидать, быстро доказал, что ученого его масштаба негоже ограничивать мелкими работами для других тружеников науки, а надо поручать самостоятельные темы, достойные его дарования. Он стал подниматься вверх по научной лестнице. В последние годы жизни он работал заместителем директора по научной части знаменитого обнинского физико-энергетического института. А умер в шестидесятых годах. Вряд ли ему самому исполнилось шестьдесят лет. Ленинградская тюрьма тридцать восьмого года, ледяные зимы и пурги в Норильске никому не укрепляли здоровья.

### **Король, оказывается, не марьяжный...**

Мой сосед по барaku, Сенька Штопор, в прошлом грабитель и шебутан, а ныне – усмиранный – слесарь пятого разряда на металлургическом заводе, обратился ко мне с просьбой:

– Серега, устрой мою маруху в вашем цеху. Доходит девка на общих. Сколько я денег на нее истратил, старшему нарядчику сапоги справил – не помогает! Будь человеком, понял!

– Человеком я был, хоть и не мог этого доказать с математической строгостью. И устроить в тепло женщину, истомившуюся на общих работах, тоже мог. Но хорошо зная Сеньку, я колебался: многие признаки показывали, что, слесарничая на заводе, он не забывал и своей старой специальности.

– Да ты не сомневайся! – зашептал Сенька. – Стану я тебя подводить? Где жру, там не гажу – закон!

Я уточнил-характеристику его марухи:

– Сколько лет? Где живет? Что умеет? Как работает?

Он дал на все вопросы исчерпывающие ответы:

– Годков – двадцать один, сок, понял! Все умеет, говорю тебе, такой бабы еще не бывало. И насчет производственного задания не беспокойся, не подведет!

Я сказал:

– Ладно, что смогу, сделаю. Вечером дам ответ. Сенька шел со мной на развод и – для силы – снабжал дополнительной информацией:

– Ляжки у нее – молоко с кровью. Налитые – озвереешь! На одной надписи до самого этого дела: «Жизнь отдам за горячую...!» На другой: «Нет в жизни счастья!»

– Иди ты! – не выдержал я. Он забожился:

– Сука буду! Век свободы не видать!

Наверное, мне не надо было вводить сенькину маруху в наш работающий коллектив. Но я не сумел отказать Сеньке. Мы с ним уже не раз «ботали по душам», выясняя то самое, о чем печалились надписи на ляжках его подруги, – есть ли в мире счастье? Сеньку счастье определенно обходило. Оно лишь отдаленно и лишь в раннем детстве общалось с ним, а верней, «прошумело мимо него, как ветвь, полная цветов и листьев», по точной формуле одного из моих любимых писателей, сказанной, правда, по совсем другому поводу. Сенька Штопор вспоминал свое детство как некий земной филиал рая – чистый домик, цветущий садик, речка в камышах, голуби на крыше, хмурый работающий отец, добрая хлопотливая мать, две сестры...

Впрочем, воспоминания были неотчетливы – прекрасные картинки в тумане. Зато изгнание из рая запомнилось отчетливо и навсегда – люди в кожанках, оцепившие дом, неистово рвущийся из чьих-то рук отец, зло рыдающая мать, рев двух коров, вытаскиваемых из хлева, ржанье уводимой куда-то лошади... Отец пропал года на три или четыре, да и вернулся не на радость – через несколько лет снова забрали – и уже навсегда.

– Началось раскулачивание, припомнили бате, что озорничал в гражданскую в какой-то банде, – говорил Сенька. – Мать и меня с сестрами, натурально, сослала, только я, не будь дурак, не захотел надрываться в уральском городке, куда нас привезли. Уже через три месяца дал деру. Сперва промышлял по мелочам, кое-как жил, потом пристал к Ваннику, может, слышал, тут пахан был, мы звали его не иначе как Олегом Кузьмичом... Ну и поволокло по кочкам, такая выпала судьба.

– Пошел по стопам отца, – подытоживал я его исповедь.

– Да нет же, батя воевал, а я промышлял. Олега Кузьмича вскорости разменяли, а мы разбежались, каждый в особку. Ничего, на жратву хватало. Ты думаешь, я в лагере впервой? Третий срок отматываю, И еще, думаю, не один срок схвачу.

– Где мать и сестры, что с ними – не знаешь?

– Откуда же? Сразу все связи побоку...

– А зачем тебе новый срок схватывать, когда выйдешь на волю? – допытывался я. – У тебя теперь специальность неплохая – слесарь.

Он насмешливо подмигивал:

– Что такое срок? Лагерь. А нашему брату лагерь – дом родной, а на воле – отпуск. Повеселимся в отпуску – и опять на работу в лагерь. Вот такие дела, Серега. Тебе не понять, ты порченный. Книжки, собрания, радио... нам на все это – с прибором!

Вот таков был Сенька Штопор, в юности Семен Михник, мой сосед и добрый собеседник. Не уважить такому человеку я просто не мог.

В цеху я пошел к начальнику. Начальник, если разговор шел не о научных фактах, обнаруженных в экспериментах, легко поддавался уговорам.

Так на нашем опытном заводике появилась маруха Сеньки Штопора, широкоплечая, румянощекая, толстозадая, веселая девка. Звали ее Стешкой, а фамилий у нее было столько, что все она сама не помнила. Ее определили в уборщицы. До обеда Стешка носилась с метлой и тряпкой, поднимая во всех помещениях пыль столбом, а после обеда пропадала. Меня это особенно не тревожило, но нашлись люди, близко принимавшие к сердцу ее таинственные отлучки.

В мою комнатуху – она называлась потенциометрической – пришел химик Дацис и мрачно пожаловался:

– Сергей Александрович, надо кончать это безобразие.

Я сидел у потенциометра и, забросив исследования электрических характеристик растворов, писал унылые стихи. Огромный, вспыльчивый и недобрый Дацис работал со мной в одной группе, и мы из-за сотых долей процента в анализах не раз ссорились до драк. Аналитик он был великолепный и не терпел, если подвергали сомнению его данные. У меня характер тоже был не сахарный.

– Кончайте, раз безобразие, – согласился я. – Собственно, вы о чем? Последние анализы, по моему, неплохие.

Дацис уселся на скамью и уперся тяжелым взглядом в стену.

– Не неплохие, а хорошие. Сколько вам надо говорить: если что не ладится, ищите у себя! Стешка плохая, каждый день убегает.

Я удивился:

– Вам-то что за горе, Ян Михайлович? Уборщицы вроде не в вашем подотчете. Запирать их на замок, как реактивы, не обязательно.

– А вы знаете, где она сейчас?

– Нет, конечно.

Дацис сказал торжественно и скорбно:

– У соседей.

– К геологам пошла?

– К геологам. Шляется из одной комнаты в другую. Что теперь о нас будут говорить – ужас просто!

Я начал терять терпение.

– Ужаса здесь не вижу. Чистоту Стеша обеспечивает, а остальное нас не касается. Хочется ей лясы точить, ну и, душа из нее вон, пусть точит.

Дацис зловеще покачал головой:

– Если бы лясы... Она ведь как? Только в те комнаты, где молодой народ: Покрутит бедрами, подмигнет, засмеется, а они потом к нам на чердак...

– На чердак?

– А куда же еще? Самое спокойное место, еще до Стешки проверено. Вчера полевик Силкин и керновщик Чилаев лезли по лестнице – последние гроши протирать. Столоверчение было почище спиритизма. Она им в темноте такие потусторонние радости закатывала... И все за десятку.

Я посоветовал Дацису:

– Бросьте эту слезку, Ян Михайлович. Стеша сама знает, как ей держаться. А если завиден чужой успех, сэкономьте на куреве и сами займитесь спиритизмом. Не хочу об этом думать.

Дацис ушел, но я продолжал думать о Стеше. Мне стало обидно за Сеньку Штопора. Он был не такой уж плохой человек, этот грабитель. Я припоминал, как горели его глаза, когда он расписывал Стешины достоинства. Черт его знает, как все обернется, если он услышит о ее поведении. У Сеньки ни при каких шмонах не находили ножа, но я, его сосед, знал, что он расстается с ножом только на время обыска. И, конечно, он таскал нож не для баловства, это я тоже понимал – такие чувствуют обиды глубоко и на расправу скоры...

«Ладно, ладно! – утешал я себя. – Что я знаю о нем, то и она знает – будет остерегаться. А – Дацису надо намекнуть, чтоб не трепался. Недаром все же говорят, что об изменах жены мужья узнают последними». Сенька, однако, узнал обо всем в этот же вечер. Мы сидели с ним на нижних нарах и хлебали «суп с карими глазками» – стандартную нашу рыбную баланду, когда в барак влетела радостная Стешка.

– Сенька! – крикнула она. – Ну денек – трех фрайеров подмарьяжила.

Он вскочил на ноги, забыв о супе.

– Врешь, падла!

Она с гордостью бросила на нары три смятые десятки.

– Факт был в ..., следы на столе. Теперь я полноценная жена, зарплату приношу. Гони за спиртом.

Сенька умчался в другой конец барака, снаряжать в поход мастеров по добыче «горючего» – его даже в самые трудные дни войны можно было достать за хорошую плату, Стешка игриво толкнула меня плечом.

– Посунься, начальничек! Даме полагается лучшее место.

Минут через пять на наших нарах появился разведенный спирт, американская консервированная колбаса и сухой лук. Сенька налил мне полкружки.

– Пей, Серега! Надо это дело обмыть.

Стешка зазвенела, затряслась, еле выговорила подавившись смехом, как костью:

– Обмыть и пропить! Мать человеков пропиваем.

Сенька хохотал вместе с ней, а Стешка, быстрс опьянев, расхвасталась:

– Ты, Сень, руками работаешь, Сережка головой, а я чем? Без чего нельзя, понял! Без ума проживешь, без рук проскрипишь, без хлеба перебедеуешь, а без этого никак – самое важное, значит!

Сенька, умиленный, поддержал ее:

– Верно, ну баба! Все в эту яму бросаем – деньги, свободу, жизнь. Ничего не жалеем. Заколдованное место!

Я сказал им с ненавистью:

– Свиньи вы! Не люди, животные! Ни стыда, ни совести, ни чести! Последний кобель с сукой порядочней – он хоть соперников отгоняет. Было бы у меня... Что бы я с вами сделал!

Я встал и пошатнулся. Сенька схватил меня за плечо и повалил на нары.

– Стешка! – крикнул он. – Плохо Сереге. Тащи воду, живо у меня, падла!

Меня укрыли бушлатом, вливали в меня воду. Я жадно глотал, зубы мои стучали по кружке. Стешка подсовывала мне под голову какое-то тряпье, вытирала мокрой ладонью лоб, говорила быстро и ласково:

– Лежи, лежи, не вставай! Ну скажи, как вдруг опьянел. И совсем не было похоже, что пьян, ну ни капельки... Вот беда какая, скажи! Может, еще закусишь чего? Поправишься!

Но закуска не могла меня поправить. Я был пьян не от спирта. Меня мучило отчаяние. Мое сердце разрывалось от скорби. Мне хотелось кричать, выть, кусаться, биться головой о стены, плевать кому-то в лицо, топтать кого-то ногами. Потом бешенство стало утихать, я забывался в чаду невероятных видений – вселенная танцевала вокруг меня вниз головой, Стеша гладила мои волосы, я ощущал тепло ее ладони, ее голос обволакивал меня. Я еще успел расслышать:

– Сенечка, может, раздеть его? Жалко бедного...

Он ответил сердито:

– Ладно, жалей! Сам раздену. А ты канай отсюда! На другое утро, после обхода начальника, Стеша пришла ко мне в потенциометрическую. Я знал, что она прибежит проведать, и приготовился к разговору.

– Что это со мной случилось? – сказал я весело. – Ничего не помню. От капли спиртного опьянел, как пес.

Но она была умнее, чем я думал о ней.

– Ты одурел, – заметила она. – Я нехороший разговор завела, а Сенька, дурак, развел... Ну, спирт сразу взял. Это бывает. Молодой ты – кровь играет.

Я попробовал отшутиться.

– Где там играет! Я недавно палец порезал, попробовал на вкус – кислятина моя кровь, можно селедку мариновать.

Она сидела на скамье, широко раздвинув под юбкой полные ноги. Глаза ее, лукавые и зазывающие, не отрывались от моего смущенного лица.

– Рассказывай! – протянула она. – Кислятину! Капнешь такой кровью на дрова – пожар! Ты себе зубов не заговаривай.

Я спросил серьезно:

– А что же мне делать? Она засмеялась:

– Смотри какой непонятливый! Что все делают.

– Нет, скажи – что? – настаивал я, снова начиная волноваться. – Прямо говори!

– Да я же прямо и говорю, – возразила она, удивленная. – Без фокусов. Истрать пару десятков, как из бани выйдешь – свеженький, легонький, не голова – воздух!

Она наклонилась ко мне, дразня и маня улыбкой, взглядом, плечами, приглушенным голосом:

– И не сомневайся – ублажу! Для тебя постараюсь – ближе жены буду. Все увидишь, чего и не думаешь!

Я тряхнул головой, рассеивая дурман, и показал на ее ноги:

– Это, что ли, увижу – надписи? Нечего сказать, удовольствие.

Она захохотала:

– А чем не удовольствие? А не хочешь, не смотри Я ведь делала для себя.

Она заметила на моем лице недоверие.

– Нет, правда! Не веришь? Сколько раз, бывало раскроюсь в бараке, погляжу на одну ляжку, порадуюсь – хорошо, когда по горячему, слаще сахару. И вспомню то одно, то другое, как было. А на другую посмотрю – заплачу – тоже полегчает. Театр в штанишках, на все требования – не так, скажешь?

Теперь и я смеялся. Мы хохотали, глядя друг на друга. Она спросила задорно:

– Или не нравлюсь я тебе? Тогда какого тебе шута надо? А то, может, деньжат жалко?

Я покачал головой.

– Нет, Стеша, ты собой очень ничего, вполне можешь понравиться. И денег мне не жалко, все бы отдал с радостью. Но не могу я по-вашему – без души. Боюсь, ты этого не понимаешь.

Она встала и вызывающе сплюнула на пол.

– А чего не понимать? На даровщинке покататься любишь. Без денег можно только с милой и Дунечкой Кулаковой... Мне цыганка ворожила на вашего брата – все короли марьяжные, деловое предприятие. А в милые я тебе не гожусь, понял! Удовольствие оказать – это моя работа, а для души я с человеком, может, плакать буду!

В этот день после обеда пропал и Дацис. Я заходил к нему в аналитическую познакомиться с результатами последних анализов, но обнаружил, что он и не приступал сегодня к разделке проб. Появился он только перед вечерним разводом и казался таким усталым и сонным, что я, не желая затевать новой ссоры, промолчал.

Вечером у Сеньки снова была пьянка. Я ушел из барака, чтоб не участвовать в ней, и весь вечер шатался по зоне. Я наталкивался в темноте то на столбы, то на проволоку. Я проклинал себя, злился на себя, гордился собой. Нет, я не такой, как они! Ах, почему я не такой? Живут же они, почему мне не жить? Человек животное – незачем себя обманывать! Что нужно Сеньке от его марухи – только простые, как мычание, отправления. Хлеб он ест с большим удовольствием, ну и правильно – любовь проще хлеба, она первичней, хлеб еще не выдумывали, а уже любили. Зачем же ему ревновать, ему хватает, пусть и другим достанется, ведь не ревнуют же, когда оставшийся хлеб берет другой? Вот, она, невыдуманная философия жизни – принимай любовь: как хлеб, сам насыщайся, дай насытиться другому. Не жадничай, тебе хватит, это единственно важное. А то обряжаешь кусок черствого хлеба как бога, не насыщаешься им – поклоняешься ему!

– Да, ты такой! – сказал я себе. – И останься таким. Каким низменным станет мир, если не обряжать любовь как бога! Нет, я не за ревность, ревность-низкое чувство, надо стать выше ее. Но они-то не выше ревности, они ниже ее, не доросли до нее. Вот так – и точка! Они – скоты, а ты – настоящий человек. И нечего тебе равняться с ними.

Я воротился в барак успокоенный. Сенька спал, распространяя запах перегара. Я смотрел на него с презрением, жалостью и чувством превосходства. Впервые за много суток я в эту ночь глубоко выспался.

Спустя неделю Дацис опять заговорил о Стеше.

– Совсем плохо с ней, – сказал он. – Пропадает девка.

– На чердаке? – осведомился я иронически.

– Нет, – возразил он серьезно. – У нее несчастье. Новый хахаль подвернулся, она с ним путается. Совсем с точки слетела – каждый свободный час к нему бегают. Представляете, что с ней Сенька сделает?

– Ему хватит, – ответил я равнодушно. – Он не жадный. Деньги она ему носит по-прежнему. Если бы тут была опасность, вам первому следовало бы побеспокоиться.

Он забормотал, смущенный:

– Почему мне? Я честно расплачивался. У нее занятие такое, все понимают.

А на следующее утро Сенька зарезал Стешу. Он ускользнул из колонны в морозном сумраке развода, пробрался в наш цех и подстерег Стешу, когда она шла на свидание со своим новым другом. Он нанес ей шестнадцать ножевых ран, семь из них были смертельными. А потом широким ударом распорол себе живот от паха до груди.

Я бежал вместе с другими к месту их гибели. Мысли мои путались. Что-то кричало во мне отчаянно и возмущенно: «Сам ты, высший человек, способен был бы на это? Только ли простые, как мычания, отправления искал он в ней? Да, правда, того, что предлагала она тебе, ему хватало, он не жадничал. Но было, значит, и нечто, потери чего он не мог ни стерпеть, ни пережить. Честно скажи, честно – ты заплатил бы за это такую страшную цену?»

Я кинулся к Сеньке. Он лежал спиной вверх, кровь широкой простыней покрыла вокруг него землю. Я пытался поднять его, звал, обнимал за плечи. Он не отвечал – его не было.

Потом я обернулся к Стеше. Бледная, раскинув руки, она лежала рядом. Платье ее было изорвано, на полных, красивых и в смерти ногах, причудливо змеясь, уходили вверх две надписи:

«Жизнь отдам за горячую...» и «Нет в жизни счастья!». Что же, не напрасно она всматривалась так часто в эту формулу своей души, все осуществилось: и не было в ее жизни счастья, и отдала она жизнь за попытку его найти.

## **В хитром домике над ручьем**

Не так уж много мне потребовалось времени, чтобы установить, что слухи о всевластии уголовников в первом лаготделении преувеличены. «Своих в доску» в этом отделении было, конечно, больше, чем в других лагерных зонах. Возможно, их здесь намеренно концентрировали, чтобы легче контролировать их действия, а также чтобы, разделенные на шайки «авторитетных паханов», они больше погружались в сведение личных счетов, чем сколачивались на коллективный разбой. Это было опасно даже при наличии многочисленной охраны и километровых «типовых заборов», то есть двойных рядов колючей проволоки. Если и было у начальства такое хитрое намерение, то оно успешно осуществилось. Уголовники делились на две обособленные касты – честников и сук. Честники или «воры в законе» составляли клан истинных или честных воров. Я не раз слышал это забавное сочетание «честный вор» от моего соседа Сеньки Штопора, он числил себя в этой блатной знати. Главной особенностью «честных воров» было то, что они не вступали в служебные связи с лагерной администрацией – работали на общих и специальных работах, кто как умел и кто на что годился, но в «лагерные придурки» – на должности конторщиков, бригадиров, каптеров, нарядчиков и комендантов – не шли, сохраняя независимость от местного начальства. «Своими не командую, прошу по-человечески, ничего, слушаются» – так скромно описывал свое назначение мой первый сосед в третьем бараке первого лаготделения, дядя Костя, пожилой пахан, в прошлом славный медвежатник, потрошитель многих сейфов с хитроумными запорами, а ныне слесарь-лекальщик ремонтно-механического завода. И доложу вам, слушались дядю Костю все уголовники куда исполнительней, чем новобранцы в армии самых ретивых сержантов из старослужащих. Впрочем, дядя Костя не примыкал ни к какому клану и не создавал своего, ибо – так разъяснили мне знающие уголовники – у него специальность высшей воровской квалификации – требует «личного искусства», а не «опоры на массы», по терминологии того времени. В данном случае, естественно, имелись в виду воровские массы – хорошо сбитые воровские шайки.

А кланы существовали даже внутри каст. Таков был маленький клан моего «крестника» – шайкой по голове – Мишки Короля. Таков был клан отчаянного – в смысле убивать «ни за что», не по делу, а по хотению – многократного убийцы Икрама, таков был зловещий коллектив Васьки Крылова. Но главным, конечно, было то, что в лагере, к тому же в любом лагере страны, кроме честников существовали и суки. Говорят, что в иных ИТЛ командовали честники, – не знаю. Ни я, ни мои знакомые, перебившие немало мест заключения, таких лагерей не знали. В нашем лагере владычествовали суки – и уверен, что таков был нормальный строй каждого «добропорядочного» лагеря НКВД. Суки – те же уголовники, часто с тем же тяжким клеймом – пятьдесят девятой статьей уголовного кодекса, карающей за бандитизм, – вступали в служебные отношения с лагерной администрацией. Суки командовали заключенными от имени администрации, являлись внутрилагерным костяком – комендантами, нарядчиками, каптерами, писарями... Только в охране им не разрешалось служить, и оружия они не могли иметь, хотя нелегально имели: ножи, заточенные напильники, кистени. Впрочем, и мы, «пятьдесят восьмая», не чурались средств самозащиты. Я с друзьями, к примеру, часто прятал в валенках либо в карманах нож, когда надобилось ночью ходить по промышленной зоне, – вряд ли он мог помочь в схватке с шайкой из трех-четырех бандитов, но душевное спокойствие гарантировал. Короче, на суках держался практически весь лагерь. И если места заключения не превращались периодически в арену кровавых побоищ, а являли собой правильно сконструированный организм, скрепленный жестокой дисциплиной, своеобразной свирепой «техникой безопасности» – в бараках можно было спокойно жить и без страха отдыхать, – то важная доля в службе порядка отводилась именно «ссученным» – комендантам, нарядчикам и многочисленным стукачам, исправно разносившим, где чем пахнет.

Между прочим, терминология лагеря не всегда адекватно описывала реальные «производственные отношения» воровских каст. Мне долго слышалось в словечках «честники»,

«вор в законе» что-то уважительное, хотя в них была лишь попытка самоуважения разбойников и насильников, людей без чести и совести, тех, кого в старину очень точно и емко именовали хриstopродавцами. В формулах «суки» и «ссученные» я улавливал осуждение, гадливое отстранение от чего-то нечистого. Но сами носители лагерной власти по-иному рассматривали себя. Когда в зоне ТЭЦ честники ухайдакали какого-то коменданта, он все повторял немеющими губами:

– Скажите нашим... умираю как честный сука... Вряд ли честнок – «честный вор» – по микрограммам содержащейся в нем общечеловеческой честности чем-либо превосходил такого же «честного суку».

Говорят, самые частые ссоры – семейные, самые долгие распри – коммунальной квартиры, самые беспощадные войны – религиозные. Вражда честников и сук никогда не затихала, превращаясь порой в поножовщину, – та семейная вражда, которая признавала лишь одно естественное завершение – кровь. После того, как Иван Дурак напустился на Икрама, тот прирезал Дурака, а «Иваново кодро» «запорол ножами» самого Икрама, я спросил у Саши Семафора, старшего коменданта Норильского лагеря, властно поддерживавшего порядок во всех наших лагерных зонах:

– Не понимаю, Саша, зачем в нашу зону из лагеря при ТЭЦ перевели Ивана Дурака? Он же, всем ведомо, враг Икрама. Сколько раз оба клялись друг друга прирезать.

– Именно потому и перевели, что грозились, – ответил Саша Семафор. – Конечно, хотелось, чтобы Иван прирезал Икрама, но это уж кому пощастит. Дурацкие у нас законы, при них без Дураков не обойтись.

– В каком смысле дурацкие, Саша?

– В самом прямом. Взяли и отменили смертную казнь. Это у нас-то, соображаете. После великого раскулачивания дети расстрелянных либо ссыльных отцов... Куда им деться? На всех жизненных дорогах – красные огни. Можете поверить, я эту бражку-лейку хорошо знаю. Вся молодежь «воров в законе» из таких: единственный им путь – в бандиты.

– Среди ваших тоже хватает кулацких сынков.

– Даже больше. Блатной мир – социальные отходы революционных переворотов. Я сам в этом смысле не исключение, если не для протокола... И в такой ситуации отменяем смертную казнь! А что с Икрамами? Они же этим пользуются. Знаете, сколько лет заключения навешано тому же Икраму? Да больше пятисот! А если точно – 525 лет! Каждые два-три месяца судят, каждые два-три месяца он – новое убийство. И новый срок отменяет все прежние – снова 25 лет. Сколько это продолжать? Единственный выход – напустить на такого Икрама духарика из наших. Вы мне не верите?

Я верил Семафору. Он был уголовник интеллигентный, умный и бесстрашный – «духарик» высшей кондиции. Как он один усмирил банду страшного Васьки Крылова, я «видел собственноручно», выражаясь по Бабелю, и об этом еще расскажу. И я хорошо помнил, как бандит из таких, двадцать раз судимых, – фамилии его не помню – равнодушно, вполне по-деловому ответил на какое-то мое замечание: «Ты со мной не ссорься, мне тебя прирезать – всего два месяца нового срока!» Ответ я принял с пониманием – два месяца назад его осудили на очередные двадцать пять лет, и он уже психологически созрел «зарабатывать» новые двадцать пять, отменявшие те, в которых он «отмотал» только два месяца. Лишь когда восстановили опрометчиво отмененную смертную казнь, стало легче и правительству радикально расправляться со своими реальными и выдуманными врагами, и лагерному начальству – поддерживать угодливыми руками сук зыбкое спокойствие в лагерных зонах.

Я долго не знал, что реальная защита от блатных в первом лаготделении – как, впрочем, и во всех остальных – обеспечивается усердными руками тех же блатных, только откликнувшихся на кличку «ссученные». И что порядок, создаваемый ими, достаточно прочен. И Мишка Король не добил меня, когда в ярости метался по зоне, отыскивая плохо запомнившегося ему дерзкого фрайерка, и больше ничего у меня не «уводили», после того как сгоряча – для первого знакомства – донага раздели, и на пайку мою не покушались, и спать не мешали, когда после ночной смены я уходил в «дневной похрап». В общем, и с уголовниками жить было можно – полуживотным, чисто физическим существованием. А впоследствии, взглядываясь в лагерное бытие, я с удивлением обнаружил, что и в нашем первом, самом «блатном» лаготделении настоящие уголовники,

профессионалы воровского и разбойного промысла, составляют меньшинство – настолько малое меньшинство, что если бы значение лагерников сосчитывалось, как на вахте, по головам, то мало кто вообще бы заметил, что лагерь именуется «блатным». Но в зоне люди числились не по головам, а по нахрапу и ловкости рук. Глотка у настоящего уголовника–духарика или лба – луженая, а руки такие умелые на нечистые ловкости, что следовало лишь поражаться. В лагерном царстве процветала показуха. Глубоко уверен, что она началась в нашей стране именно здесь, в исправительно-трудовом лагере, истинном мире туфты, – и уже отсюда пошла победно шествовать вширь и вглубь.

И не прошло много времени, как я – и с немалым удивлением – обнаружил, что даже в нашем третьем бараке уголовники берут лишь ором и матом, но не числом. И здесь преобладали бытовики и мы, «пятьдесят восьмая». И чем дальше шло, тем это явственней виделось среди блатного лицедейства, среди того непрерывного спектакля, какому в бараках предавались, и какой с увлечением разыгрывали саявки и шестерки, суки и честноки, духарики и лбы, важные «авторитетные воры» и солидные пожилые паханы – в общем, красочный и шумный мир всяческих «своих в доску». С началом войны и внешне лагерь поменял обличье. С принципиальными отказчиками, открыто презиравшими любой труд, управлялись быстро и жестоко – фронт требовал реального труда, даже по-старому «заряжать туфту» становилось трудней, а уж дерзко отлынивать от работы!.. Формально любой лагерник мог не трудиться и получать, оставаясь в бараке, «гарантию» – паек тюремного заключенного. Но реально это было равносильно рытью себе могилы: никакая «гарантия» не гарантировала, что лагерное начальство вытерпит такое безобразие. Бытовиков с небольшими сроками и мелкое ворье досрочно освобождали и отправляли на фронт. Воровская знать притихала и пригибала плечи – и в лагере кончалось былое приволье: надо было работать, все силы отдавать работе, фронт требовал никеля, военного металла, без него не отлить танковой брони, пушечных стволов – «диверсанты, шпионы, вредители, террористы» трудились усердней и лучше любого из «своих в доску», и прочих воровских «друзей народа» – лагерное начальство быстро сообразило, на кого, не афишируя это и не признаваясь в том, надо ставить. Один знакомый уголовник – из умных – сказал моему собригаднику химику Яну Дацису, человеку злomu и непредсказуемому в поступках:

– Врезал бы тебе в хавало, да нельзя: подынешь хай, что нарочно увечу, чтобы не дать идти на работу. Еще пришьют вредительство. Живи, пока война!

Вот такие были внешние обстоятельства моего бытия в третьем бараке, когда, вернувшись вечером с работы, я обнаружил на соседней койке вместо увезенного куда-то Провоторова нового заключенного.

– Козырев, – сказал он, протягивая руку. – Николай Козырев. Переведен в Норильск из Дудинки, там работал в порту.

К нам, подлетел дневальный барака Николай Рокин.

– Сергей, новенького подселил специально. Он попросил, чтобы сосед был из ваших. С обоих по поллитра. По случаю войны согласен на замену: пятьдесят граммов спирта или одну пачку махорки с каждого.

– Шиш тебе, а не пачку, – ответил я. – На две скрутки наберу.

Рокин так обрадовался, что стало ясно – и на такой дар не надеялся.

В бараке в тот вечер творился очередной спектакль: разбушеввался электрик Людмила. Вообще-то у него было и другое имя, ближе отвечавшее его «мужскому происхождению», но знали его только «придурки» из УРЧ – учетно-распределительной части. А сам Людмила давно примирился с женским прозвищем. Худой, подвижный, немногословный, он временами впадал в истерику, и тогда с ним мог справиться только дневальный Рокин – и справлялся не силой, а уговором: после короткой беседы с Рокиным ярость Людмилы превращалась в сонливость, он уже не выискивал повода для драк, не набрасывался на «встречных, продольных и поперечных», как формулировал его буйство тот же Рокин, а примачивался на нары – не обязательно свои – и сваливался в мутный сон. Приступы бешенства у Людмилы вспыхивали обычно после выпивки, выпивки с началом войны стали редки, зато буйство после них яростней и картинней.

– И часто это у вас? – с тоской поинтересовался новый сосед, показывая на бесновавшегося около стола Людмилу, тот стремился смахнуть со стола все миски с супом и разогнать всех ужинающих, а его в дюжину рук укрощали. «Всех завалю!» – надрывался Людмила, дико

перекосив лицо, но за нож не хватался – буйство устраивалось по «среднему разряду».

Козырев продолжал:

– И ведь он может кого-нибудь поранить, он же подлинный сумасшедший.

– Не поранит, – сказал я. – Не тот «напой», хватил с полстакана, не больше. Колька его сейчас усюветит.

Рокин уже спешил к Людмиле, самая красочная часть пьяной истерики кончилась. Козырев, отвернувшись от стола, напомнил:

– Вы не ответили: часто это у вас?

– Раньше было чаще. В нашем бараке жили три бытовика с женскими именами и, вероятно, с женскими функциями: Варвара, Маша и Людмила. Все трое проиграли себя в карты, так началось их превращение в женщин. Варвару недавно освободили и послали на Фронт, Маша исчез, остался один Людмила – бесится за троих.

И я рассказал новому соседу, как меня самого поразили три парня с женскими именами, когда я поселился в этом бараке. Варвара был плотный мужчина с крепкими мускулами, работяга по влечению, а не по принуждению – в быту тихоня и скромница. Маша, двадцатилетний красавец, был истериком посильней Людмилы и так привык к своему женскому имени, что не отделял его от своего естества. «Маша, ты уже брилась?» – крикнул при мне один уголовник, возившийся с самобрейкой. И Маша громко ответил: «Вчера брилась, сегодня не буду». Зато впадая в истерику – и внешне беспричинную, не от вина, не от оскорбления, а на «пустом месте», – Маша выл и бушевал, дрался руками, ногами и зубами, и умирался лишь связанный. Машу любили в бараке, даже в драках его не избивали, а лишь валили и связывали простынями. И держали спеленутым, пока он не затихал и не просил воли. Не только близкие дружки, но и просто соседи с охотой угощали Машу – он был сластена – шоколадом и конфетами, если удавалось уворовать в пищевой каптерке или честно купить в лавочке.

– Отвратительно! – сказал Козырев. – Ненавижу мир мрази и плутовства. Не выйти ли нам погулять по зоне?

Мы гуляли до полуночи меж бараков, выбрались на бережок Угольного ручья, посидели в кустах, прислушиваясь к мирному бормотанью воды, быстро бегущей по склону Шмидтихи. Козырев показал на маленький домик повыше того места, где мы сидели, в нем одном не были освещены окна:

– Что там за учреждение?

– Хитрый домик, так его называют уголовники, – ответил я. – Резиденция оперуполномоченного. Канцелярия стукачей. В общем, цех по кустарной выработке липовых преступлений и отнюдь не липовых сроков. Дай нам бог, Николай Александрович, не попадать в обзор хозяев этого домика.

Так начались наши ежевечерние прогулки вдвоем по зоне, их прервали только грянувшие морозы – зима в тот год прибежала рано. Но и в холода, когда было ясно на небе, Козырев хоть на несколько минут выбирался наружу, и я сопровождал его. Он ненавидел наш барак. Он страдал оттого, что видел вокруг себя лица, на которые профессия разбоя и воровства ставила очень выразительную печать. Он не так даже удивлялся, как возмущался, что я сравнительно спокойно мирюсь с окружением. Ни он, ни я еще не подозревали, что мне предстоит забросить профессию физика и стать писателем. Но интерес к людям, даже потерявшим человеческое обличье, – во мне был неистребим.

Я не сдружился с подонками и отребьем, но и не отвращал от них любопытствующих глаз. Козырев не понимал этого и сердился на меня. И если погода не способствовала прогулкам, он валился на койку и засыпал. Он даже не читал в бараке. Он не мог читать под мат соседей и рев «качающих права», то есть выясняющих взаимные отношения, а это совершалось ежедневно.

И когда задувала пурга, он не выходил наружу, как я ни упрасивал. Он не любил пурги, даже забитое тучами небо было ему нелюбо. Воздух, туманный от бешено несущегося снега, вызывал в нем отвращение. В пургу я старался хоть на короткое время, но выбраться наружу – испытать телом силу ветра. Он считал это бессмысленным пижонством. В небе он признавал только ясность. Вероятно, это происходило от того, что он не только по профессии был астрономом, но и по душе чувствовал себя сопричастным всему мирозданию. И когда исполинский звездный мир вдруг пропадал, а вокруг оставался лишь крохотный, нелепо ревуший

кочок пространства, Козырев почти заболел. И, как я уже говорил, сон становился ему единственным лекарством от хвори.

Что он астроном – и уже тогда известный, я узнал в первые дни соседства. Все было незаурядно в этом человеке, все свидетельствовало о природном таланте, обостренном воспитанием в интеллигентной семье, выдающимися учителями и великими книгами. Ему было всего двадцать лет, когда он с блеском закончил Ленинградский университет, в двадцать три года он стал профессором и видным ученым Пулковской обсерватории. А уже в двадцать шесть лет, в 1934 году, его имя стало ведомо всем астрономам мира – он разработал теорию протяженных звездных атмосфер и выяснил свойства излучения, создающегося в таких раскаленных атмосферах. Его теория вскоре была обобщена молодым индийско-американским физиком Чандрасекаром – и стала в научном мире называться теорией Козырева-Чандрасекара. Закончив изучение атмосфер, облекающих светила, Козырев перешел к исследованию самой знаменитой звезды, нашего Солнца, – его заинтересовала великая загадка солнечных пятен, он выяснял, какова глубина этих пятен, как они вступают в равновесие с солнечной атмосферой. И в разгар новых работ его постиг удар судьбы – арест.

– Меня посадил директор Пулковской обсерватории Герасимович, – сумрачно говорил Козырев в одну из первых прогулок по зоне. – Вот уж от кого не ожидал такого предательства... Впрочем, не предательства – клеветы. Вы что-нибудь слышали о Герасимовиче?

Я не только слышал о Герасимовиче, но и читал его книгу «Вселенная при свете теории относительности», в моей библиотеке эта книжка была из любимых – блестящая монография о великой теории Эйнштейна с позиции не физика, а астронома, даже философа. Герасимович так оригинально выстроил научный материал, столько увидел нового во всесторонне расписанном принципе относительности, что можно было только поражаться. И восхищаться.

– Да, Борис Петрович был человек блестящий, – печально подтвердил Козырев. – И в личном плане, и как ученый. Столько глубоких работ! Такая широта научных влечений! Вероятно, не было у нас другого астронома с таким спектром фундаментальных интересов. И солнце, и звезды, и космические лучи, и энергия в космосе, и история науки... Вы знаете, что его погубило? Почти четыре года проработал в Гарвардской обсерватории – и так его принимали, так ценили американские ученые!.. Естественно, его арестовали в первые же посадки и приписали шпионаж: что еще можно приписать крупному астроному, общавшемуся с иностранными учеными? И в тридцать седьмом расстреляли, а перед расстрелом заставили выдумать шпионскую организацию, он туда включил и меня, я ведь уже переписывался с иностранными учеными. Правда, за границей не бывал – это «учли», ограничились пятью годами тюремного заключения. Но, как видите, самим надоело держать меня в тюрьме, и выпроводили в Норильский лагерь.

– Но ведь Герасимович понимал, что расстрела ему не избежать, раз он столько лет провел в Америке. Он мог уйти в могилу, не стаскивая за собой вас, Николай Александрович.

– Вероятно, уже не мог, – задумчиво говорил Козырев. – Я много думал о нем и старался себе представить состояние Бориса Петровича. Крупный ученый исследователь звездного мира, никакой не политический деятель, и плевать ему, вероятно, на земные распри... А его топчут ногами, харкают в рожу – ты шпион, ты террорист, ты только прикидывался званием астронома, в душе жаждал одного – свалить советскую власть! Признавайся, гад, кто тебя поддерживал, кого сам завербовывал в преступную организацию!.. Он изнемог душевно и телесно от чудовищной лжи обвинения, от «допытных» методов... Думаю, так это было. Нет, он прямо не обвинил меня в антисоветских действиях, только причислил к своим сторонникам и помощникам. В смысле научном – это было верно. Но ведь наука следователей интересовала меньше всего...

– Пять лет ни за что ни про что! – негодовал я. – Астронома оторвали от звезд и впахнули в земную грязь. Кому и зачем это надо?

– Вас тоже оторвали от науки и впахнули в грязь, да на десять лет, а не на пять. Давайте поговорим о чем-либо более приятном.

Вскоре я узнал, что он не напрасно отводит разговор от сроков заключения. Настоящая дружба создается не вдруг. Еще не пришло для него время на полную откровенность. Я не возражал против тем приятней, чем доставшиеся нам сроки заключения. Я возвращал Козырева к его любимой науке – астрофизике. Я тоже увлекался этой наукой – как любитель, а не как знаток. Перед арестом я даже мечтал разработать тему «Физический смысл неевклидовых геометрий» – и

собирал относящийся к теме материал. И в камерах срочных тюрем в Вологде и Соловках – больше двух лет пришлось в них просуществовать – я усердно и безуспешно выдумывал новую физическую геометрию космоса, так я выпендренно называл свои научные потуги. И лишь окончательно убедившись, что физика мирового пространства мне не дается, забросил бесплодные попытки одолеть ее, Менше всего я мог тогда догадываться, что все, не сделанное мной в науке, послужит неплохим фоном для фантастических романов, которые я впоследствии начну сочинять.

– Вы спрашиваете, что меня теперь занимает? – переспросил Козырев. – Знаете, одна проблема пока не набрала большой четкости, но скоро, уверен, станет самой кардинальной из всех астрофизических проблем. Откуда берется энергия звезд? Почему они горят, не сгорая? Все время думаю об этом.

И о жаре, заставляющем звезды светиться, он говорил, с таким душевным жаром, что и меня опаляло его вдохновение. Он вспоминал своих старых знакомых, ныне знаменитых ученых – Георгия Гамова, семь лет назад бежавшего за границу, ныне профессора в Штатах, Виктора Амбарцумяна, родившегося в один с ним год – ровно месяц отделяет их дни рождения, – в один с ним год закончившего Ленинградский университет и, как и он, ставшего в Пулковской обсерватории аспирантом академика Аристарха Аполлоновича Белопольского.

– Виктор пошел далеко, пойдет еще дальше. Но знаете, меня больше привлекает Гамов, Джордж, как он теперь именуется. Вот уж свободный ум! Однако я с ним не согласен. Гамов открыл туннельный эффект – отдельные частицы могут своеобразно преодолеть энергетические барьеры – так сказать, не перескочить поверх них, а проскользнуть сквозь. Впрочем, зачем я вам это говорю, вы ведь сами физик. Так вот, два замечательных физика, Аткинсон и Хоутерманс, использовали туннельный эффект Гамова для доказательства, что в звездах могут происходить ядерные реакции с гигантским выделением энергии.

– Что-то слышал об этом, – сказал я без уверенности.

– Наверно, слышали. Между прочим, Фриц Хоутерманс, очень левый, почти коммунист, еще до моего ареста переехал к нам, работал в Харьковском физико-техническом... Возможно, его тоже арестовали, все-таки немец, многих в Харькове брали, я слышал об этом в тюрьме. В Бутырках сидел и Лев Ландау, отличный физик, вы с ним не встречались там? Так вот, о Гамове... Впрочем, не о Гамове, а о дальнейшем развитии его теории. Недавно я слышал по радио, что в Америке немецкий эмигрант Ганс Бете создал теорию выгорания водорода в гелии внутри Солнца – и это он считает удовлетворительным объяснением, откуда берется энергия горения звезд. То есть она в превращении водорода в гелий. Без этой удивительной ядерной реакции – кстати, самой распространенной во Вселенной – Вселенная была бы мертва.

– Великолепная теория! Между прочим, нам иногда разрешают посещать – под конвоем, разумеется, научно-техническую библиотеку. Надо будет посмотреть последние журналы, там, наверное, есть и о теории Ганса Бете.

– Посмотрите. Только, знаете... Я не разделяю ваших восторгов по поводу ядерных реакций в звездах.

– Вы не согласны с этой теорией, Николай Александрович?

– Не то... Она, возможно, верна. Но как бы вам сказать? Ее недостаточно. Моя мысль идет в другую сторону. Я бы искал источник мировой энергии в неравномерном течении времени. Эйнштейн доказал, что реальное время во Вселенной нестабильно, зависит от скорости, от массы, от структуры пространства... Я бы пошел дальше. Время особый физический процесс, оно не может не влиять на рождение энергии.

– У вас готова разработка этой идеи?

Он вздохнул:

– Только идея. Постоянно думаю... Но готовые разработки... Нет, до них далеко.

Я вскоре стал догадываться, что мучает Козырева. Его несколько раз вызывали в «хитрый домик», однажды куда-то увели под конвоем из нашей зоны и несколько часов его не было. Николай Рокин, наш дневальный, одаренный способностью всепонимания и даже долей внефизического вездесутствия, сказал мне «по секрету»:

– Тянут твоего соседа на второй срок. Жмут беднягу.

«Параша» Рокина так встревожила меня, что я захотел объясниться с Козыревым. Он хмуро покачал головой:

– Неприятности есть, это верно. Но сейчас не время говорить о них. Подождем, пока определится обстановка.

Однажды утром Козырев не пошел на работу, а остался в зоне. Вечером он сидел на своей койке молчаливый, ужинать не пошел. На нем лица не было. Я сказал:

– Николай Александрович, не пора ли...

Он прервал меня:

– Хочу посоветоваться. Выйдем наружу, здесь слишком много глаз и ушей.

Мы снова ходили между бараками. И вероятно, впервые говорили не о звездах и не о загадках науки. Козырев как-то порадовался, что в отличие от своего расстрелянного шефа Бориса Герасимовича получил за преданность звездам довольно «божеский» срок – пять лет заключения. Можно было утешаться, что по условиям 37-38-го годов легко отделался. Но оказывается, те, кто арестовывал его, не считали, что он уже отделался от них. В его деле выискивают новые провинности – грозят новым сроком.

– И оправдаться от новых обвинений невозможно? Сегодня же не тридцать седьмой год.

– Какое оправдание? Оправдываются, если есть вина. А если вины нет, только обвинение? Помните, как ответил Вольтер, когда его спросили, может ли он оправдаться в краже булочки ценой в два су, которой он и не видел? Он ответил: найму адвоката, истрочу десять тысяч франков и докажу, что был далеко от той булочки в два су. А если вас обвинят, что хотите украсть собор Нотр-Дам? Немедленно убегу из Парижа, ответил Вольтер, такое обвинение опровергнуть немыслимо.

– Вас тоже обвиняют в краже какого-нибудь собора?

– Еще хуже. Честно признаются в собственной оплошке – дали слишком малый срок за преступления, которых не было. За недоказанные преступления наказывают десятью годами, а не пятью, таков обычай. И пригрозили, что в будущем году вместо воли получу дополнительные пять лет. Но дело не только в этом.

– Что же еще, Николай Александрович?

– Мерзко говорить!.. Предложили стать информатором. В этом случае простят себе, что недодали мне срока заключения. И выйду я «по звонку», так они это формулируют. Потребовали, чтобы завтра дал окончательный ответ. Вот и думаю: как ответить?

Я засмеялся, хоть было не до смеха.

– Ничего вы не думаете, Николай Александрович. Если бы у вас было хоть малейшее колебание, как отвечать завтра, вы не заговорили бы со мной об этом. Вы уже приняли решение. Но почему именно вам они предложили идти в стукачи? Так непохоже на вас!

– Вот, вот, именно этим и обосновали предложение. Знаете, расчет по-своему умный. Во-первых, сказали, никто на вас не подумает, что вы информатор, – значит, не будут бояться откровенничать. А во-вторых, вы честный человек, ни на кого клеветать не захотите, личных счетов ни с кем сводить не станете. А нам так важно знать правду, мы так путаемся в бесконечной лжи, которой нас заваливают стукачи без стыда и без совести. Вы для нас своей порядочностью, своей правдивостью – истинный клад. Вам будем всецело доверять – вот так меня уговаривают.

– Иезуиты! – сказал я.

– Иезуиты, конечно. Вы считаете, что я прав?

– Будут, будут вам дополнительные страдания... Но в тысячу раз горше потерять уважение к себе. Вы выбираете правильный путь, Николай Александрович, для вас просто нет иного пути.

Мы еще поговорили и воротились в барак. Козырев скоро уснул, он так измучился, что уже не было сил на бодрствование. Я размышлял о том новом, что определилось в последние месяцы. Война уже не грозила быстрым поражением и не манила лживым видением быстрой победы. И паническое выискивание «притаившихся врагов народа», что так обрушилось на нас в первые месяцы войны, даже самые ретивые «третьеотдельцы» преодолели. И расстреляли Кордубайло, наглого организатора мифического повстанческого подполья в Норильске, и выпускали обратно в лагерь – с новыми сроками, естественно, – членов его несуществовавшей организации. Ошалелая «показуха бдительности» спала, лишь мутная пена еще держалась на поверхности. Теперь заключенные должны работать на войну, а не валяться на тюремных нарах. Наказывать требовалось уже не только для галочки бдительности, а – желательно – по реальной вине, этого требовали нужды войны. Да, ныне и третьему отделу понадобились новые информаторы –

честные, правдивые, благородные... Боже мой, какая наивность! Неужели и вправду они надеются найти для бесчестного дела честных и благородных исполнителей?

Утром Козырев ушел на работу раньше меня, мы встретились поздно вечером. Он уже объявил свое решение – никаких тайных услуг от него не ждать, он не подходит для роли соглядатая и доносчика. Его спросили, знает ли он, чем это ему грозит, он ответил, что знает, но решения не изменит.

– Лютер говорил: «Здесь я стою, я не могу иначе».

– Вы не Лютер, но, как и он, не смогли преступить через требования совести, Николай Александрович.

– Разговор на этот раз был не в большом доме, а в хитром домике над ручьем. И во время беседы появился один лейтенантик – лицо тонкое, а речь путаная и малокультурная. Глуп не по облику. Какая-то противоестественная помесь человека с каракатицей. Он начал кричать на меня, на него на самого цыкнули. Теперь буду ждать, выполнят ли угрозу новых кар.

Козыреву вскоре объявили, что дело его пересмотрено. И по новому приговору он наказан не пятью годами заключения в тюрьме, а десятью годами лагерных работ. Место отбывания нового срока – Норильский исправительно-трудовой лагерь.

Козырев и раньше не жаловал нашего барака. В нем было много больше уголовников, чем он мог вынести. Но прежде утешала мысль, что в следующем году – на волю, терпеть недолго. Этого утешения уже не было. Мысль, что с такими людьми жить еще много лет, угнетала. Он теперь сам вытягивал меня на прогулки даже в скверные погоды. Однажды я процитировал ему Мандельштама: «Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать». Он запротестовал:

– Не тоска! Отвращение! Совсем другое чувство, Я хотел бы переменить барак. Мечтаю поселиться у геологов. Там – культура: чистота, еду носит дневальный, не беги сам с миской. Ни мата, ни ссор, понятия этого гнусного – качать права – и в помине нет.

– Так попросите туда перевода. Может быть, разрешат. Особенно если сами геологи походатайствуют за вас.

– Уже пробовал. Геологи не возражают, лагерное начальство – ни в какую. Я теперь металлург, должен жить с металлургами. Они тоже в хороших условиях. Жить со строителями, землекопами или шахтерами – там хлебнешь горюшка. Вот так отвечают.

Все это было верно, конечно. Металлурги числились привилегированными в зоне. А геологи были лагерной аристократией. В их бараке, наверно, тоже имелись и бытовики, и даже уголовники, но они там терялись. В геологическом бараке господствовала интеллигенция: люди, общение с которыми доставляло душевную радость – профессора Владимир Катувский, Владимир Федоровский – в прошлом большевик с дооктябрьским стажем, создатель Минералогического института, не только ученый, но и поэт, первооткрыватель рудного Норильска и арктический исследователь Николай Урванцев, геологи Юрий Шейман, Омар Сулейменов, Владимир Домарев, Петр Фомин, Соколов, Мурахтанов – и еще с десятков специалистов, скрашивавших свое заключение тем, что были удостоены труда, каким занимались бы и на воле – труда по специальности, а не только для табели лагерного нарядчика. И в том бараке проживал наш общий с Козыревым друг, поэт и мыслитель, сын поэтов отца и матери, блестящий рассказчик и стилист... Впрочем, о нем я напишу отдельно, он этого заслуживает.

Страстное желание покинуть наш полублатной барак все больше томило Козырева.

– Почему бы вам не бросить опытный цех и не перейти на Большой металлургический завод? – обратился он ко мне однажды. – Я организовал там службу теплоконтроля, но какой я приборист! А все эти термомпары, пирометры, газовый контроль – ваша же специальность, – вы там сделаете больше и лучше меня. А я переведусь к геологам и выпрошусь в экспедиционную партию, им нужен геодезист и астроном. Прошу – переходите на БМЗ!

Я задумался. Предложение Козырева было своевременным. Пришла пора расставаться с опытным цехом. Я проработал в нем три года – достаточно, чтобы даже стены надоели. Было еще две причины сменить место работы. Я ссорился с моим начальником Федором Кириенко. Он был удивительный человек, Федор Трифионович. Раб науки – именно раб ее, а не мастер, – он развернул исследования гидрметаллургических процессов. И радовался, когда новые факты подтверждали старые законы. Меня это не устраивало. Я жаждал опровержения, а не подтверждения законов. И мы разошлись, когда я восстал на книжные закономерности. Соли кобальта в растворе окисляют

хлором, окисленный кобальт выпадает в осадок, осадок отфильтровывают. Такова была схема получения кобальта, очень нужного для промышленности и авиации металла – он потом был среди первых стратегических материалов, запрещенных для продажи в СССР. Все было хорошо у нас с Кириенко, пока я не стал доказывать, что кобальт раньше выпадает в осадок под действием щелочных окислителей, а уж осадок потом окисляется. Кириенко не стерпел такого научного самоуправства. Мы наговорили один другому резкостей. Дерзости от заключенного вольный начальник Федор Трифионович Кириенко стерпел, это было для него не так существенно. Но посягательства на табличные справочники не вынес. Сомнение в науке было ему нестерпимей политических провин. Я пригрозил, что улизну из опытного цеха, он пригрозил, что засадит меня в карцер за отлынивание от труда, то есть от исследований металлургических процессов точно по его программе.

Была еще одна причина уходить из опытного цеха, кроме ссоры с начальником. Работники этого цеха недоедали. Было вдоволь науки и ноль приработков. Наука наполняла мозговые извилины, но не желудок. С началом войны паек заключенного сохся. Мы не опухали от голода, как, по слухам, бывало у вольных на «материке», но и не бывали сыты. Кириенко, живший одной наукой, и для себя не выпрашивал премий, и нам не «выбивал» дополнительных пайков, как делали другие начальники, особенно на Большом металлургическом заводе – самом сытом месте тогдашнего Норильска. Предложение Козырева означало переход в полусытость, если даже не в сытость полную, – очень существенное преимущество.

Но была и важная причина оставаться на ОМЦ, сознательно обрекая себя на скудость: я не хотел расставаться с дорогим мне человеком, моей сотрудницей. Поколебавшись, я ответил Козыреву отказом. Отказ сохранял свою крепость всего несколько дней. Скрыть неслужебные отношения не удалось. Моей сотруднице пригрозили, что она сменит вольное существование на жизнь заключенной в одной из лагерных зон Норильска, если срочно не покинет опытный цех. Узнав об этом, я сказал Козыреву:

– Согласен, Николай Александрович. Договаривайтесь со своим начальством.

Кириенко я ничего не раскрыл, но стал выходить на работу во вторую смену. Вечером и работать было спокойней, и меньше было чужих ушей и глаз. Кириенко знал, почему мне так дороги вечерние часы, но это его не тревожило. Он возмущался, лишь когда порочили законы физической химии и гидрометаллургии. Я приходил в барак ночью, Козырев спал – мне уже казалось, что он забыл о проекте служебных перемещений.

Но однажды на утреннем разводе Козырев разбудил меня. Я видел во сне концерт. Я сидел в большом зале Ленинградской филармонии и слушал Шопена. Музыка наполняла меня, рука Козырева, схватившая мое плечо, мешала. Не открывая глаз, я отмахнулся от него:

– Николай Александрович, музыка же... Еще несколько минут...

– Музыка? Какая музыка? – удивился он.

Я открыл глаза. В уши ворвался утренний шум стоголового барака, готовившегося на развод, – мат, крики, стук ложек, зычные призывы нарядчиков, выкликающие своих бригадников, – в общем, все то, чего я не слышал во сне. Из репродуктора, повешенного на столб в середине барака, лились негромкие звуки рояля и оркестра. Козырев на мгновение застыл, повернув лицо к музыке, которой не услышал в гаме развода. Спустя минуту из репродуктора донеслось:

– Мы передавали концерт Шопена для фортепьяно с оркестром.

– Удивительно! – воскликнул Козырев. – Мы одновременно слышали разные звуки – я барак, вы оркестр. Сергей Александрович, не выходите днем на работу в опытный цех. Вас сегодня доставят на беседу с начальством БМЗ – Николаем Дмитриевичем Кужелем и Александром Романовичем Беловым. В принципе все договорено.

Жизнь в заключении сделала очередной виток. Я говорил и с Кужелем и с Беловым. Они приняли мое предложение – создать при заводе большую лабораторию термоконтроля, выделили две комнаты для нее в обжиговом цехе. Уже на другой день приказом начальника Управления металлургических заводов Владимира Зверева меня перевели на промплощадку – три года прошло с той осени, когда я изнемогал, пробивая там ломом «крупноскелетную» вечную мерзлоту. И я ушел не один. Федор Исаакович Витенз, один из инженеров ОМЦ, согласился и на промплощадке работать вместе.

На исходе недели на новое место нашей работы явился разозленный Кириенко.

– Да вы с ума сошли, – сказал он. – Такие мы начали исследования! Вы понимаете, от чего отказываетесь? Что теряете?

– Понимаю, Федор Трифионович. Отказываюсь от ссор с вами в связи с разным толкованием физико-химических закономерностей. Отказываюсь от вечной нашей голодухи, потому что у вас приработков никаких, а здесь можно и кустарно что-нибудь сварганить на потребу вольных рабочих. С такими потерями я примирюсь.

– Я буду протестовать, – сказал он. – Я дойду до начальника комбината Александра Алексеевича Панюкова!

Я пожал плечами.

– Федор Трифионович, вы же умный человек. Вы серьезно думаете, что Панюков отменит приказ своего заместителя Зверева? Мне кажется, Зверев не из тех, кто разрешает поправлять себя. Впрочем, вы его лучше знаете, чем я.

Кириенко сердито смотрел на меня. Он боролся с собой – отступить или сделать еще одну попытку?

– Послушайте. – Он понизил голос: – Понимаю – скудный паек. Нам тоже не жирно, поверьте. Знаете что? Я буду передавать вам часть своего пайка, тайно, чтобы не пронюхали... А вы воротитесь в цех, и продолжим наши исследования... Столько раскрылось интересного!

Я часто злился на него, часто восхищался его бескорыстной преданностью исследованиям металлургических процессов. Сейчас я был растроган. У него была семья – прекрасной души жена Софья Николаевна, маленькая дочка, родители... Вряд ли семье хватало его пайка. Таких жертв – и щедрых, и небезопасных для него – нельзя было принимать.

– Федор Трифионович, я ценю ваше отношение... Но дороги назад мне нет, вы должны это понимать.

Он повернулся и ушел не попрощавшись.

Козырев переехал в барак геологов и восторженно известил – наконец-то чувствует себя человеком, ибо среди настоящих людей, а не среди бандитов, закамуфлировавшихся в человекообразии. Он определился в поисковую партию и до зимы пропал где-то в тундре – на вольном воздухе и на вольных хлебах.

А я на новом месте столкнулся с обстоятельствами, для понимания которых не было опыта. К лаборатории примыкал коттрель – система электрофильтров, улавливающих пыль из плавильных и обжиговых печей. На частичках пыли создавался электрический заряд, заряженные частицы прилипали к электродам, и, когда их налипало много, электроды обесточивались и пыль сыпалась в бункера. В этой пыли, выносящейся из металлургических агрегатов, и никеля, и меди, и кобальта, а особенно платины и платиноидов было даже больше, чем в руде, поступавшей на завод: исправная работа электрофильтров гарантировала существенную прибавку товарной продукции завода.

Только ее не было – исправной работы электрофильтров. И вместо того, чтобы оседать на электродах – проволочках из нихрома, никель-хромового сплава, – дорогая пыль свободно разносилась по Норильской долине. А электроды разъедала кислота, ее было полно в газах, выносящихся из печей. И та же кислота разъедала стены электрофильтров, ядовитый газ вырывался сквозь щели и душил людей. Падала тяга – и печи сбрасывали нагрузку.

Начальство завода потребовало, чтобы я разобрался, почему образуется серная кислота и что сделать, чтобы ее больше не было. Создали техническую комиссию для исследования аварий на электрофильтрах, я стал секретарем комиссии. Белов вызвал меня в свой кабинет.

Требуйте всего, что нужно, но катастрофу с электрофильтрами – срочно ликвидировать! И учтите – наш оперуполномоченный, старший лейтенант Зеленский, заинтересовался электрофильтрами. Это опасно, вы меня понимаете?

Я понимал Александра Романовича Белова. Я уже видел старшего лейтенанта Зеленского, того самого, которого Козырев назвал противоестественной смесью каракатицы с человеком. В обжиговом цехе грейферный кран переносил какой-то груз по цеху. Внезапно отключилось энергопитание, кран раскрылся, груз рухнул на чугунные плиты пола. Питание отключалось часто – электростанция работала не на пределе, а за пределом возможного, бывали и похуже аварии, когда внезапно обесточивались линии. Я видел, как падал груз – никто не пострадал, ничто не повредилось, даже разъяренный крановщик материл небо и землю не громче обычной реакции на

такое пустячное происшествие. И я находился в заводоуправлении, когда туда вошел оперуполномоченный Зеленский и схватился за телефон. Зеленский посмотрел на меня – не выйду ли? – но я не вышел, и он начал при мне разговор с каким-то своим начальником:

– Умышленное действие на грейхверном кране, – сказал он хрипловатым сдавленным голосом с сильным южным акцентом. Такими приглушенными, полными важного предупреждения голосами говорят, информируя о чрезвычайных происшествиях, которые, однако, не должны стать известны. – Принимаю меры дальнейшего пресечения.

Он говорил, а я рассматривал его. Он был невысок, строен, чуть прихрамывал при быстрой ходьбе. У него было тонкое лицо, узкие щеки, точеный нос – лицо интеллигента. А голос был груб и некультурен, голос не вязался с лицом и фигурой. Если бы я услышал такой голос из соседней комнаты, не видя его хозяина, я вообразил бы себе совсем другого человека – высокого, плотного, крупнощекого, с бесформенным носом, насквозь прокуренного (Зеленский не курил)... Думаю, у человека, с каким разговаривал Зеленский, имелись сведения о кратковременной аварии, на электростанции – и он отнюдь не связывал ее с «умышленными действиями на грейхверном кране». Лицо Зеленского вытянулось, сдавленный от возбуждения голос как бы механически распрямился. – Понял, буду информировать.

Исследование неполадок быстро раскрыло причины аварии на электрофильтрах. Строители плохо выложили стенки коттраля. Война требовала никеля, завод пускали в страшной спешке – было не до аккуратной работы. Летом все шло благополучно, но холода стерли радужную картину, сквозь щели в стенах врывался ледяной воздух, температура газа падала с 300-350 градусов до 200-250. А при такой температуре серный газ, обильно поставляемый печами, легко соединяется с парами воды – в серную кислоту. Кислота же разъедала электроды и механизмы. Вывод был прост: заделать стены, утеплить газоходы – и все неполадки кончатся. Я писал протоколы комиссии, начальник комбината генерал Панюков подписал приказ, и строители кинулись усердно – с энтузиазмом, как отметили в газете, – исправлять то, что сами недавно напортачили.

Оперуполномоченный Зеленский только и дожидался такого поворота событий. Картина аварии была ясна, оставалось решить, кого арестовывать.

Один за другим строители и работники завода вызывались к Зеленскому. По технической логике события он должен был начать вызовы на «собеседования» с меня, расследовавшего аварию, но он меня не тревожил. Ко мне приходили строители, конвертерщики, ватержакетчики, обжиговщики – все заключенные, естественно. И жаловались, что Зеленский требует признания, что именно их плохая работа стала причиной превращения серного газа в серную кислоту и осаждения капелек серной кислоты на механизмы.

– Одного срока не отсидел, навешивают другой, – жаловался Либин, единственный в Норильске специалист по электрофильтрам. – От вашего заключения зависит, удастся ли нам отделаться от этого мозгляка Зеленского, вы появились на заводе недавно и за аварию не отвечаете. Выскажите свое мнение.

– Я уже свое мнение высказал. Оно в написанном мной отчете об аварии, а также в приказе начальника комбината.

– Не отступайте от этого. Пожалуйста, не отступайте!

Зеленский вызвал меня последним. И не в ту комнатку на заводе, где он принимал свою «клиентуру», а в главную свою резиденцию – в «хитрый домик над ручьем», разместившийся на окраине лагерной зоны. В барак после вечернего развода прибежал встревоженный нарядчик.

– Тебя в десять вечера ждет оперуполномоченный, – сказал он, понизив голос. Вызов к оперуполномоченному радости не сулил – нарядчик, неплохой парень из мелких уголовников, понимал, что на меня будут что-то «навешивать». – Так что готовься!

– Готовься! – это же самое повторил Витенз, заменивший Козырева на соседней койке. – И сдержись! Ты можешь всякого в ярости наговорить, этого не надо – он будет мстить. И если я засну, разбуди, когда вернешься. Но я не засну, я буду тебя ждать.

Зеленский знал, как воздействовать на неустойчивую психику людей, вызываемых на «собеседование».

Он сознательно допрашивал меня последним, а не первым. И, пригласив на десять вечера, продержал до одиннадцати, когда вызвал к себе. Он был один в своем кабинете, ни книг, ни газет

у него не было – просто сидел за столом и муторно ожидал, пока я дойду до изнеможения, до того накала и перегара, когда намеченную жертву можно брать голыми руками. Методы были слишком дешевыми, чтобы действовать. Следовательно с двумя ромбами в петлицах, полгода мучивший меня на Лубянке, был гораздо умней, чем этот человечешко с хриплым заплетающимся голосом и лейтенантскими звездочками на погонах.

– Давно нам надо было побеседовать, – сказал он так, словно приглашал взаимно порадоваться, что встреча наконец состоялась. – Вы, конечно, знаете, почему я вас вызвал?

– Скажете, узнаю, гражданин уполномоченный!

Он озадаченно посмотрел на меня. Ему не понравился мой голос. Он продолжал развивать задуманный план разговора.

– Понимаю, знаете. Нехорошее, очень нехорошее дело – электрофильтры. Страна так нуждается в никеле. Вы ведь знаете, что никель идет на танки и на орудия! И такие аварии в технологическом процессе! Очень нехорошо, правда?

– Очень нехорошо. Что вообще хорошего в любой аварии?

– Я знал, что вы согласитесь со мной. Любая авария – плохо, а эта – особенно. Весь же технологический процесс затронула скверная тяга в газоходах! Я верно излагаю события?

– Совершенно верно, гражданин уполномоченный!

– Тогда пойдем дальше. Раз произошла авария, значит, на то были причины. Так сказать, виновники несчастья. Вы согласны со мной?

– Полностью согласен. Зеленский придвинул к себе бумагу и карандаш.

– Поговорим теперь о конкретных виновниках. Кто, по-вашему, больше всех отвечает за нарушения технологического процесса?

– Не кто, а что, гражданин уполномоченный. Он удивился. – Как вас понимать?

– В самом простом смысле. Соединились в узел нехорошие объективные обстоятельства. Грянули морозы и оледенили газопроводы. Сильная пурга выносила все тепло из стен. В результате температура газа упала и сконденсировалась серная кислота. А кислота, как известно...

Он раздраженно прервал меня:

– Я читал приказ Панюкова о ликвидации аварии на электрофильтрах. Незачем повторять это.

Я постарался придать своему лицу самое глупое выражение.

– Но ведь в этом приказе очень точное объяснение, очень исчерпывающее. Я не осмелюсь ни дополнять, ни исправлять решения начальника комбината. Кто я, и кто генерал Панюков?

Он вышел из себя. Он решительно не годился на ту непростую роль, которую взялся выполнять.

– Что вы мне суете в нос генерала Панюкова? Он генерал, пока выполняет свои обязанности как положено! Уже не одного генерала – и повыше Панюкова – мы брали, когда они забывались... Отвечайте – будете нам помогать?

– Не понял, гражданин уполномоченный... В смысле – против начальника комбината?

Он сдержал раздражение. Он еще не был уверен, точно ли я так глуп, каким кажусь. И старался снова говорить спокойно.

– Оставим в покое Александра Алексеевича Панюкова. Он на своем месте, вы на своем. Будете ли помогать нам разоблачать скрытых врагов советской власти, которые своими тайными кознями чуть не сорвали работу оборонного завода?

Я понял, что пора расставлять все знаки препинания в невразумительном тексте.

– Безусловно буду, гражданин уполномоченный. Для этого нужно только одно – чтобы я увидел этих врагов советской власти. Но я полностью согласен с приказом начальника комбината, что не скрытые враги, а жестокие морозы, свирепые пурги...

Он встал. Он понял: из меня не выжать того, что ему желалось.

– Идите. И можете быть уверены, у вас не будет оснований жаловаться на то, что к вам относятся хуже, чем вы того заслуживаете.

– Благодарю вас, гражданин уполномоченный, на добром слове, – сказал я смиренно.

Витенз еще не спал. Он с тревогой смотрел на меня. Меня трясло, я не мог побороть возбуждения.

– Все в порядке, – ответил я на немой вопрос друга. – У меня теперь не будет оснований

жаловаться на него, так он сказал. Думаю, мне, как Козыреву, навесят новый срок за то, что не оправдал их ожиданий.

– Глупости, – сказал Федор. – У Козырева было всего пять, довести пятерку – проще простого. А ты уже имеешь десятку. Добавить сверх нее и для третьего отдела непросто, нужно заводить новое дело. Он тебя оставит в покое, уверен в – этом.

Нового срока мне не навесили, но и оставить меня в покое Зеленский не пожелал – об этом в следующей главке.

Очень неполным будет мое повествование, если не расскажу о дальнейшей судьбе Николая Александровича Козырева.

Он все же не досидел «до звонка» навешенного ему второго срока. Обстановка в стране хоть и медленно, но теплела. Сохранились друзья и знакомые, высказавшие сомнение – может ли специалист по звездам стать профессиональным шпионом? В сорок четвертом году Козырева вызвали на переследствие и, продержав несколько месяцев в Бутырках, выпустили на волю. Он говорил мне, что использовал свое вторичное пребывание в тюрьме для усовершенствования гипотезы рождения энергии из неравномерного тока времени.

Еще тридцать лет после освобождения он плодотворно трудился в экспериментальной и теоретической астрономии – сделал важные открытия в физике Венеры, Юпитера и Меркурия. И главным его достижением, вызвавшим всеобщее волнение в астрономическом мире, стало открытие вулканизма на Луне, издавна причисленной к абсолютно мертвым небесным телам. В 1958 году, изучая большой рефлектор Крымской обсерватории, он сфотографировал лунный кратер Альфонс и обнаружил вулканические выходы водорода из центральной горки кратера. За эту и другие выдающиеся работы Международное общество астрономов наградило Козырева Большой золотой медалью.

А работы по новой теории физического времени, как главного источника космической энергии, Козырев не закончил. Он оборудовал в Пулковке специальную лабораторию для экспериментов с энергвременем. Я был в этой лаборатории. Она производила впечатление довольно кустарного учреждения, мало приспособленного для тех тонких и тончайших экспериментов, какие требовались. Идеи Козырева так радикально разрушали все привычные представления о физике времени и природе энергии, что признанные ученые их отвергали «с порога», не тратя времени на аргументацию. В печати несколько академиков – не хочется называть их фамилий – грубо отозвались об уже проделанных Козыревым экспериментах – только на том основании, что эксперименты им не нравились своей целеустремленностью. Пулковское начальство учитывало отрицательное отношение официальной науки к астрофизическим воззрениям Козырева – и не отпускало средств на расширение его лаборатории. Между тем в ней были найдены интересные явления, нащупаны схемы еще неизвестных закономерностей – но не было материальных возможностей довести исследования до конца. До самой смерти Козырева в 1983 году мы с ним переписывались и встречались и у него в Ленинграде, и у меня в Калининграде. Неприязнь официальной науки к его теоретическим концепциям его расстраивала, но не обескураживала. Он не прекращал исследований. И они становились все глубже и шире, постепенно превращались из чисто астрофизических в общеполитические. Основанная им лаборатория продолжает работать и после его кончины, хотя и не привлекает к себе почетного внимания. И если она подтвердит предсказанные Козыревым закономерности, если энергетическая природа времени будет экспериментально доказана, совершится один из самых замечательных в истории науки переворотов. И тогда станет ясно, что в Козыреве мы потеряли не только замечательного астронома, но и великого мыслителя. И еще одно узнают все: мало с кем судьба поступила так несправедливо, как с ним. Лучшие годы жизни несправедливо лишила величайшего человеческого блага – элементарной свободы существования, а потом, вернувшегося на свободу, столь же несправедливо лишила научного внимания, окружила холодной атмосферой превентивного неприятия, равнозначного примитивному непониманию.

## **Жизнь до первой пурги**

Стрелки лагерной охраны попадались разные. Большинство были люди как люди, работают с прохладцей, кричат, когда нельзя не кричать, помалкивают, если надо помолчать. «Ты срок

тянешь, я – служу, – без злости разъяснил мне один вохровец – Распорядятся тебя застрелить – застрелю. Без приказа не злобствую». Думаю, если бы ему перед утренним разводом вдруг приказали стать ангелом, он не удивился бы, но неторопливо, покончив с сапогами, принялся бы с кряхтением натягивать на спину крылышки.

Мы любили таких стрелочков. Чем равнодушной был человек, тем он казался нам человечней. Может, и вправду, это было так. Зато мы дружно ненавидели тех, кто вкладывал в службу душу. Люди – удивительный народ, каждый стремится возвеличить свое занятие, найти в нем нечто такое, чем можно погордиться. Пусть завтра унавоживание полей объявят высшей задачей человечества, от желающих пойти в золотари не будет отбоя. Сделать человека подлецом проще всего, внушив ему, что подлость благородна. Человек тянется к доброму, а не к дурному. Ради мелких целей поднимаются на мелкие преступления. Но великие преступления, как и великие подвиги, совершают только ради целей, признанных самими преступниками великими.

Это, если хотите, философское вступление в рассказ. А вот и сам рассказ.

Служил в нашей охране стрелок по имени Андрей – высокий, широкоплечий, широкоскулый, большеротый – писаная картинка крестьянского лубка. Это был выдающийся энтузиаст лагерного режима. О нас он, видимо, сразу составил исчерпывающее представление и потом не менял его. Мы были враги народа, предатели, шпионы, диверсанты, вредители и террористы, в общем, иуды, замахнувшиеся подлой лапой на благо общества. А он, когда подошел его призывной год, был определен охранять народ от злодеев, отомстить им за преступления и показать другим, что «преступать» опасно. Он нашел в своем призыве высокое призвание. И ненавидел же нас этот красавчик Андрей! Он охранял нас со страстью, издевался над нами идейно, и если плевал нам в лицо, то только во имя общего блага. Он не знал, что такое каста, но не уставал подчеркивать, что мы с ним – разных категорий: он – высшее существо, человек с большой буквы, тот самый, который звучит гордо. Ну а мы, естественно, звучали плохо, и нас немедленно не истребляли по тем же соображениям, по которым не ведут под нож чохом все стадо: живые мы могли принести больше пользы, чем мертвые. Я часто размышлял, что получилось бы из этого парня, внуши ему с детства расовую теорию: курносый и мелкозубый, он, конечно, не смог бы быть причислен к нордической породе, но зато у него была ослепительно белая кожа – очень существенное преимущество перед остальными четырьмя пятыми человечества. Еще чаще я думал о том, какой бы из него вышел, при его изобретательности и увлеченности, незаурядный инженер или мастер, родился он не в тот год, когда родился.

Обязанности его были несложны – совместно с другими охранниками принять нас на вахте во время утреннего развода, провести километра два по тундре и сдать на заводской вахте, откуда мы – уже своим ходом – разбрелись по производственным объектам. Но в эту оскорбительную простоту движения колонны он вдохновенно вносил захватывающие сценические эффекты.

Пересчитав нас, он отбегал в сторону, щелкал затвором винтовки и объявлял:

– Колонна, равняйся! Смотреть в затылок переднему. Шаг вправо, шаг влево – пеняй на себя! Охрана стреляет без предупреждения! Шагом марш!

Не проходили мы и ста метров, как он вопил:

– Передний, приставить ногу!

Он обходил замерзшие ряды, вглядывался пылающим взором в наши потупленные лица, потом тыкал винтовкой в какого-нибудь старичка, согнутого годами и несчастьями, и орал:

– Тебя команда не касается, шпион? Выше голову, гад! Держать равнение, шизоики!

«Шизоики» в данном случае означало только «карцерники», обитатели ШИЗО – штрафного изолятора. Старичок испуганно вздергивал плечи, и колонна двигалась дальше. А спустя минуту Андрею казалось, что кто-то злобно идет не в ногу. На этот раз он разряжался речью, грозя нам всеми земными карами. Такие остановки происходили раза четыре или пять, пока мы добивались до заводской вахты. Не было случая, чтобы два километра пути мы преодолели меньше чем за полтора часа.

В дни, когда лил дождь, Андрей особенно изощрялся. Он вел нас медленно, останавливался чаще, говорил дольше и не сдавал на вахту, пока мы не промокали насквозь. Зато после дождя он гнал нас, как овец в загон. Мы скакали, проваливались в лужи, падали, хрипели, обливались потом. Он не щадил себя, чтобы не пощадить нас. И не дай бог кому-нибудь из колонны протестовать! Мы, «пятьдесят восьмая», конечно, не протестовали. Подавленные обруженными

на наши головы обвинениями, мы терпели любое измывательство. Мы входили в положение Андрея – он-то ведь не знал, что реально мы все невинны, вот он и старается, а как же иначе? Он не был бы идейным человеком, если бы выказал к нам любовь. Но уголовники не были обучены идеологически выдержанному смирению. То один, то другой яростно ругался из рядов. Андрей только этого и ждал.

– Кто нарушает порядок? – гремел он. – Выходи в сторону, диверсант!

Никто, разумеется, не выходил. Двухтысячная колонна стояла в каменном оцепнении. Андрей щелкал затвором.

– Выходи! – бушевал он. – Выходи, пока не хуже!

Колонна не шевелилась. Тогда Андрей подавал новую команду:

– Становись на колени!

По колонне пробежала судорога. Андрей, дав в воздух предупредительный выстрел, наставлял винтовку на первые ряды:

– Передний, ну! Сполняй команду!

Первые ряды медленно опускались в грязь, за ними вторые, третьи, четвертые... Андрей бежал вдоль колонны, проверяя, все ли опустили в лужи колени, за ним с рычанием мчались овчарки. Начinalи суетиться и покрикивать другие охранники. Обычно они не помогали ему, но и не одергивали. По природному добродушию они стеснялись обращаться с нами, как он, но понимали, что это недостаток, а не достоинство: Андрей проявлял с преступниками бдительность, до которой им было далеко. В трудных случаях они побаивались оставаться безразличными и тоже орал на нас.

Бывали дни, когда мы приходили на работу такие усталые, мокрые и грязные, что тратили по часу, чтобы опомниться и почиститься. Начальство, узнав об этом, сделало внушение охране. После этого Андрей уже не ставил нас на колени по дороге на промплощадку, зато тем больше он свирепствовал на обратном пути.

Как-то под проливным дождем он ровно на час уложил всю колонну в грязь недалеко от вахты лагеря.

В этот вечер Мишка Король объявил во всеуслышание:

– Все! Жить Андрею до первой пурги!

Вскоре в каждом бараке толковали о том, что судьба Андрея решена. Я полез с расспросами к моему соседу Сеньке Штопору:

– Не понимаю, что это значит: жить до пурги? Вы что, собираетесь напасть на него, воспользовавшись метелью? Но ведь другие охранники не допустят расправы с товарищем.

Сенька отмахнулся.

– Заранее не будем трепаться. Недолго ждать – увидишь сам. В лагере никто не жаловался на недостаток стукачей, и через несколько дней сам Андрей узнал, что его приговорили к смерти. Он остановил колонну и вызывающе крикнул:

– Кто это мне ножом грозит? Выходи, побеседуем.

Колонна, по обыкновению, молчала. Андрей позубоскалил над нашей трусостью и в заключение пригрозил:

– Пока вы меня ухайдакать соберетесь, я вас сто раз сгною!

На следующее утро он объявил, беря винтовку наперевес:

– Так нет смелого? А жаль, проверили бы, что бьет дальше – нож или пуля.

Эта забава продолжалась больше месяца – каждый день Андрей припоминал, что на него точат нож, и издевался над угрозами. Скоро всем нам так приелись разговоры о его предполагаемой гибели, что мы потеряли веру в ее серьезность и раздражались при упоминании о ней, как от дурной шутки. А между тем осень кончилась, и ударили первые морозы. По тундре поползли зимние туманы, в какую-то ночь разразилась пурга. Утром, когда мы пошли на работу, ветер не достигал еще и шести метров в секунду. Но радио передало, что на поселок движется циклон и надо готовиться к буре метров на тридцать. И вот в это утро кто-то за воротами вахты, уже находясь в безопасности, крикнул:

– Сегодня тебе хана, Андрюшка! Пиши письма родным!

К вечернему разводу скорость ветра достигала двадцати пяти метров в секунду. Ледяной ураган грохотал и выл, и сотрясал стены зданий. Обильный, мелкий, как песок, снег заваливал

дороги, бешено крутился в воздухе – пурга выпала классическая: «черная». Самым скверным в ней было то, что мороз почти не спал, температура выше тридцати градусов не поднялась. Каждый из нас перед выходом наружу обматывал лицо шарфом или полотенцем, оставляя лишь щелку для глаз, многие натягивали фланелевые маски, хотя они хуже защищали от ветра. Мы знали, что ветер продолжает усиливаться и по дороге придется несладко.

На вахте мы увидели, что лагерное начальство знало, чем грозили Андрею, и приняло свои меры. Обычно нас сопровождали восемь-десять конвоиров, сегодня их было не меньше двадцати. Кроме того, они устроили обыск. Сами еле удерживаясь на ногах, они обшаривали нас с такой тщательностью, какой не бывало и перед праздниками.

– Ножи ищут, – прокричал мне в ухо Сенька Штопор. – Дурачье! Попки!

Ножей конвойные не нашли, но отобрали у кого-то бутылку спирта, а у двух других по буханке белого хлеба. Пока шел обыск, мы основательно промерзли, хотя от прямых ударов ветра нас защищали недавно выведенные стены цехов. Потом из крутящейся, освещенной прожекторами мглы донесся яростный голос Андрея:

– Равнение на переднего! Ногу не сбивать! Пошли. Мы двинулись, проваливаясь в свежие сугробы, наталкиваясь один на другого. За линией цеховых стен буря бешено обрушилась на нас. Только здесь, в открытой тундре, мы поняли, что такое настоящая «черная» пурга. Предписанный нам порядок движения – по пять в ряд, каждый идет самостоятельно – был мгновенно разрушен. Мы судорожно хватались друг за друга, ряд смыкался с рядом. Теперь мы противопоставляли буре стену человек в десять-двенадцать, каждый крепко держал под руки своих соседей. Колонна, как и прежде, растягивалась на полкилометра, но это было уже не механическое сборище людей, подчиненных чьей-то внешней и чуждой воле, но одно, предельно сцементированное гигантское тело.

Дорога пролегла вдоль линии столбов и мачт, соединявших электростанцию с промплощадкой. Большинство лампочек было уже разбито пургой, но некоторые еще пронизывали тусклым сиянием неистово несущийся снег. У одного из столбов мы увидели стрелка, сраженного бурей. Ветер катил его в тундру, стрелок, не выпуская из рук винтовки, отчаянно цеплялся за снег и вопил – до нас едва донесся его рыдающий голос. Мы узнали его – это был хороший стрелок, простой конвоир, он не придирался к нам по пустякам. Сенька Штопор дико заорал, вероятно, не меньше десятка рядов услышали его могучий рев, заглушивший даже грохот пурги:

– Колонна, стой! Взять стрелочка!

Догоняя передних, мы передавали приказание остановиться. Задние, налетая на нас, останавливались сами. Человек пять, не разрывая сплетенных рук, подобрался к стрелку, подтащили его к колонне. Он шел в середине нашего ряда, обессиленный, смертной хваткой схватясь с нами под руки. Винтовку его нес крайний в ряду, у него одного была свободна вторая рука. Изредка ветер вдруг на мгновение ослабевал, и тогда мы слышали благодарные всхлипы стрелка:

– Братцы! Братцы!

Еще три или четыре раза вся колонна останавливалась на несколько минут, и мы, передыхая, знали, что где-то в это время наши товарищи выручают из беды обессиленных конвоиров.

Великая сила – организованный человеческий коллектив! Нас шло две тысячи человек, каждый из нас в эту страшную ночь был бы слабее и легче песчинки, но вместе мы были устойчивее горы. Мы пробивали бурю головой, ломали ее плечами, крушили ее, как таран крушит глиняную стену. Ветер далеко унесся за обещанные тридцать метров в секунду, мы узнали потом, что в час нашего перехода по тундре он подбирался к сорока. И он обрушивался на нас всеми своими свирепыми метрами, он оглушал и леденил, пытался опрокинуть и покатить по снегу, а мы медленно, упрямо, неудержимо ползли, растягиваясь на километр, но не уступая буре ни шагу.

У другого столба мы увидели Андрея. Пурга далеко отбросила его в сторону от колонны, он еще иступленно боролся, напряжением всех сил стараясь удержаться на ногах. Огромная черная колонна, две тысячи человек, двигалась мимо, не поворачиваясь. Никто не отдал приказа остановиться, а если бы и был такой приказ, то его не услышали бы.

Недалеко от лагерной вахты, на улице поселка, где не так бушевал ветер, мы, размыкая руки, выпустили наружу спасенных конвоиров. Стрелки схватили свои винтовки, выстроились, как

полагалось по уставу, вдоль колонны, но, измученные, не сумели или не захотели соблюдать обычный порядок. Несчитанные, мы хлынули в распахнутые ворота лагеря. Пурга неистовствовала еще три дня, мы в эти дни отсиживались по баракам, отсыпаясь и забивая козла. А на четвертый день, когда ветер стих, в тундре нашли замерзшего Андрея. Перед смертью он бросил винтовку, пытался ползком добраться до поселка. Видевшие клялись, что на лице его застыло ожесточение и отчаяние.

## Духарики и Лбы

Я, конечно, духариком не был. Для этого у меня не хватало ярости, того уважаемого в лагере ухарства, когда жизнь ставится ни против чего – из одного желания поиграть своей головой. Я не цеплялся особенно за жизнь, но и не пренебрегал ею, как второстепенной вещью. Меня всегда одолевало любопытство посмотреть, что же в конце концов выйдет из невразумительной штуки, названной моей жизнью.

Еще меньше меня можно было причислить к лбам. Невысокий и широкоплечий, только перебравшийся за тридцать годков, я по возрасту и по силе мог бы, пожалуй, занять местечко среди лбов. Зато мне недоставало других неперемных кондиций. Лоб, в общем, вполне удовлетворен своим лагерным существованием. Он немислим вне лагеря с его каптерками, кухнями, бесплатным кино и недорогими девками с большой пропускной способностью. На воле лоб сникает, он неспособен обеспечить себе самостоятельно сносное существование. На густо же унавоженной лагерной почве он расцветает, как ее естественное порождение. Доходяги лишаются последних сил, работяги вкалывают вовсю, придурки гнут спины в вонючих лагерных канцеляриях, лорды-начальники трудят мозги на производственных объектах – и все это делается, чтобы создать удобства лбам. Лоб шагает по зоне в одежде первого срока, повар черпает ему погуще и побольше, нарядчик не торопится гнать его на развод, культурник первому вручает талончик на новую кинокартину. Не сомневаюсь, что именно лбы придумали поговорку: «Кому лагерь, а кому дом родной!» Во всяком случае, они с вызовом бросают ее в лицо начальству – своему и приезжему, хоть и знают, что их за это не похвалят. Начальство почему-то обижается, когда лагерь сравнивают с родным домом, хоть дома иным зачастую хуже. Обычный его ответ исчерпывается угрюмой фразой: «Вы здесь не в санатории – понимать надо!»

Нет, я не был лбом, меня попросту дурно воспитали. Мать твердила мне в школьные годы: «Лакеев у тебя нет – убери за собой!» Я бездоказательно считал, что только заработанный собственными руками хлеб вкусен. И хоть до меня доходила лишь половина того, что я вырабатывал, я все же не был способен выдрать у другого изо рта недоданную мне часть. Три зверя грызли меня ежедневно беспощадными пастями, меня сжигали три жестоких страсти, абсолютно неведомые нормальному лбу – тоска по воле, тоска по женщине, тоска по жратве. Я знал, что на воле мне сегодня было бы, возможно, и хуже, чем в лагере. Там, на воле, меня заставили бы в конце концов и клеветать на соседей, и предавать друзей, и кричать при этом «ура!» по каждому поводу, а пуще без повода. Здесь же можно молчать и сохранять про запас чистую душу, честно трудиться и отдыхать... Все равно, там была воля, широкий простор на все стороны, земля без колючей проволоки, небо без границы – я бредил волей. А женщины мне были нужны не те, что нас окружали. Женщины садились рядом со мной в кино, томно толкали меня бедрами на разводе, брали меня под руку на переходе от зоны лагеря к заводской, намекали, что могут уединиться на полчасика в кусточки под заборчиком – женщины были кругом. Я же плотью и мыслью стремился к ЖЕНЩИНЕ. Они угадывали мое состояние, но не разбирались в нем. Они не могли предложить мне того, в чем я нуждался. Это было сильнее меня. Я не мог примириться с тем, что женщина не судьба, а отправление, нечто необходимое, но не чистое – хорошо помойся после свидания... Нет, пусть это будет на день, на час (над вечной страстью я сам первый посмеюсь), но это должен быть непременно поворот жизненного пути, слияние самого тебя с недостающей твоей половиной... Представляю себе, как хохотали бы наши лагерные подружки, если бы я вздумал при встрече в уединенном уголке излагать им эту забавную философию. Любовь они признавали лишь такую, которую можно взять в руки. Я мог, конечно, предложить им забаву для рук, но что было делать мне с моей душой?

Что же касается тоски по еде, то о ней много говорить не приходится. Я готов был в любом

месте есть, кушать, жрать, трескать и раздирать зубами – было бы что...

Итак, я не годился ни в духарики, ни в лбы. Это мне стало ясно уже при первом знакомстве с лагерной жизнью. И мало-помалу у меня выработалось определенное отношение к тем и другим. Духарики, обычно худые и стремительные, с горящими глазами и истеричным голосом, казались мне просто больными – я старался их не задевать. А упитанных, всегда довольных собой, неумных лбов я презирал и не стеснялся высказывать им это в лицо. Я ненавидел их, как всегда ненавидит работающее смиренное существо живущего его соками высокомерного трутня.

От одного из лбов мне стало известно, как же я сам теперь именуюсь по принятой в лагере терминологии. Это было перед утренним разводом. Я проснулся позже обычного и боялся, что не успею до выхода добыть еды. Очередь продвигалась быстро, но впереди меня стояло человек полста. И тут, отпихивая локтями задумавшихся, в голову очереди стал пробираться типичный лоб – здоровенный детина с носом в кулак и лбом в ремешок. Ему ворча уступали, а во мне вспыхнуло бешенство. Я нарочно выдвинулся в сторону, чтоб он меня задел. Он, не церемонясь, толкнул меня.

– Посунься, мужик! Ишь, ноги расставил! На лице у меня, видимо, показалась такая ярость, что он невольно попятился.

– Канай отсюда, гад! – не то прошипел, не то просвистел я. – Пропади пока живой, сука! Ну!

Секунд пять он колебался, соображая, стоит ли ради тарелки супа затевать драку, неизбежным концом которой будет суток десять ШИЗО, потом весь как-то уменьшился и осторожно отступил в конец очереди.

– Ну, и злой фраер пошел! – услышал я его оправдывающийся голос.

– Духарик? – недоверчиво поинтересовался кто-то.

– Не... Битый фрей!

Мне отпустили черпак супа, и, молчаливо ликуя, я прошел мимо посрамленного лба. Наконец-то я получил истинное признание. Я был именно «битый фрей», человек, умеющий постоять за себя, не «порчак», освоивший лагерный жаргон и лебезящий перед уголовниками. В этом определении «битый фрей» звучал оттенок уважения. Моя опасливая брезгливость к духарикам и презрение ко лбам было теперь закреплено в самом названии, припечатано словом крепче, чем сургучом.

Вскоре я, однако, убедился, что слишком уж прямолинейно, а следовательно, поверхностно толкую лагерные взаимоотношения.

С наступлением зимы количество невыходов на работу всегда увеличивается. Пятьдесят восьмая статья, всякие там шпионы, диверсанты, саботажники и агитаторы против советской власти и тут показывали свою двурушническую породу. Они плелись на производственные участки в пургу и мороз, их бросало в дрожь при мысли, что кто-то подумает, будто они способны отказаться от работы. И они припухали до черного отупения, вкалывали до последнего пота, обледевали, но не уходили, пока их не позовут. Благодарность им за это доставалась одна и та же. Начальство хмурилось: «Вот гады скрытные – ведь враги же, а вид – будто всей душой за нас!» А бытовики и блатные издевались: «Втыкайте, пока не натянули на плечи деревянный бушлат! Спасибо получите – плюнут на могилку!»

Уголовники держат себя по-иному. Они не враги, а друзья народа, следовательно, никто и не ждет от них, чтобы они распинались для общего блага. Жизнь дана им только одна – они лелеют ее, скрашивая приправой отнятых у других благ. В плохую погоду приятней отлеживаться в тепле, чем дрожать в котловане. По количеству отказчиков лучше, чем по термометру и метеорологической вертушке, можно судить о градусах мороза и метрах ветра.

С отказчиками в лагере разговор непрост. Одних сажают в ШИЗО и силой выводят на штрафные объекты. Других «перековывают», пока отказчикам не надоест агитация или не улучшится погода. А третьим, самым опасным или «авторитетным», срочно раздобывают в медпункте освобождение от работы. По-настоящему лагерное начальство страшится лишь организованного коллективного невыхода, ибо в такие происшествия незамедлительно вмешиваются всегда нежеланные деятели третьего отдела.

И поэтому, когда Васька Крылов, известный всему лагерю бандит, объявил утром в своем бараке: «Дальше все – припухаем в тепле!» и его поддержали одиннадцать сотоварищей, начальство встревожилось не на шутку. Его пример мог пойти в плохую науку. Ваську со всей его

«шестерней» тут же изолировали. Я прогуливался по зоне, когда их повели в кандей, как иногда называют в лагере штрафной изолятор, он же по-старому – карцер. Под охраной десятка стрелочков шли двенадцать уголовников, типичные лагерные лбы – откормленные, наглые, весело поглядывающие на встречных. Высыпавшие наружу лагерники дружелюбно насмеялись над ними. «Ну, до весны!» – кричали им. – «Встретимся на том свете! Похаваете свой жирок, принимайтесь за кости». Шагавший впереди Васька Крылов – медведь, встретив в лесу такую рожу, пустился бы наутек – широко ухмылялся изуродованным ртом. «Отдохнем в санатории! – рявкнул он. – Айда к нам, кому пурга переест плешь!»

Двенадцать отказчиков водворили в рубленную избу ШИЗО, на двери навесили замок, а рядом поставили охрану. Специальной охраны для ШИЗО по штату не полагалось, но Ваську Крылова без охраны могли вызволить подчиненные воры, он был из «авторитетных».

Теперь, по мнению лагерного начальства, перековка шайки Крылова в работяг являлась лишь вопросом времени. Отказчикам выдавалась «гарантия», то есть основной паек без добавки за труд – шестьсот граммов хлеба и поллитра баланды в сутки. На такой кормежке в Заполярье и ребенок долго не протянул бы, а лбы ощущали врожденное отвращение ко всем видам диеты, кроме усиленной. «Голод почище мороза – смиряется!» – рассуждало начальство.

Однако день катился за днем, пошла вторая неделя, а «кодло» Васьки Крылова и не помышляло о смирении. Они хохотали в кандее так, что было слышно снаружи, устроили какие-то свои – без видимых карт – игры и требовали побольше угля для печки. Над трубой ШИЗО во все часы клубился густой дым – отказчики усердно заменяли пищевые калории тепловыми. Входящих наряжчиков и комендантов они встречали жалобной по содержанию, но веселой по исполнению песенкой, чем-то вроде саботажного гимна отказчиков:

Лучше кашки не доложь,  
А от печки не тревожь!

Особенно усердствовал сам Васька. Его звероподобный рев заглушал репродукторы в зоне. Настроение у него было преотличное. Он продолжал петь, развалиясь на нарах, даже когда командовали: «Встать!» А с тревожившими его покой лагерными «началами» разных калибров и рангов он толковал снисходительно и благодушно и не сердился, когда ему грозили уголовной ответственностью за саботаж. Только раз, при появлении в карцере полковника Волохова, начальника лагеря, Васька своей волей сполз с нар и, хотя не вытянулся в струнку, но и не поплеывал в потолок, и не начал объяснения с обязательного у него матового загиба.

– Чем же ты оправдываешь свое возмутительное поведение, Крылов? – строго допрашивал Волохов. – Почему отказываешься от работы? Когда, наконец, ты поймешь, что труд у нас дело чести, славы, доблести и...

– Геройства, – хладнокровно закончил Васька. – Так это же у вас, гражданин начальник, а не у нас. Я же вор в законе.

– Но товарищи твои честно трудятся.

– Не все, гражданин начальник, не все. Кто способен, тот вкальвает. А я, к примеру, на лопату и на кайло вовсе неспособный. Хотел бы, да не могу.

– Это еще почему?

– Семь раз больной, гражданин начальник: пайки мало, а двух не хватает.

Волохов поглядел на рожу Крылова, о которой в лагере говорили, что ее «за семь ден не обгадишь», и распорядился начальнику зоны Грязину:

– Постройте их силой и на бытовой карьер! Может, на свежем воздухе мозги у них немного прочистятся.

Крылов оказался достаточно благоразумным, чтобы не оказывать прямого сопротивления. Когда бригада отказчиков шла через зону на вахту, мы смогли убедиться, что тощая «гарантия», которой нас всех так пугали, изумительно способствует накоплению жирка. Не только сам Крылов, но и все в его «кодле» имели такой вид, как будто провели недельку у тещи на блинах. Они перемигивались с другими лагерниками и, хоть не кричали, чтобы не раздражать конвоя, но делали руками зазывающие жесты, – айдате, мол, к нам – не пожалеете!

Погода в тот день выпала свеженькая – мороз в сорок градусов и ветер метров около десяти в

секунду: Как отказчики провели день на бутовом карьере, мы не знали, но вечером стало известно, что ни один не притронулся к инструменту. Привели их обратно уже после развода, и коменданты постарались, чтобы никто не попался навстречу.

Начальство не хуже нас понимало, что упрямство отказчиков поддерживается отнюдь не «гарантией». Коменданты теряли силы в поисках пищевых ручейков, тайно просачивающихся в карцер. Буханки хлеба, приносимые из каптерки, пронзались штыками, чтобы обнаружить запеченное в тесто более существенное нутро. В ведре баланды, доставляемой из кухни, болтали черпаками не только охранники, но и старшие по вахте, и даже, – в один из дней – начальник нашей зоны Грязин. Хлеб был как хлеб – сырой и землистый, баланда вполне оправдывала свое название – жиденький пшеничный суп с селедочными головами. Ровно через десять минут после того, как ее вносили в кандей, дым из его трубы становился черным и отвратительно пахнул селедкой. Заключенные, пробежавшие по зоне, останавливались и, ухмыляясь, бормотали:

– Печку заправляют баландой, чтоб аппетиту не портила. Ну, лбы!

На исходе второй недели забастовки лбов Мишка Король принес в наш барак потрясающую новость.

– Начальство точит новое оружие против Васьки. Ни штыком, ни приказом их не взять. Завтра на Васькино кодро напустят духарика!

Сенька Штопор, мой сосед, заменивший на нарах ушедшего на волю дядю Костю, усомнился:

– Нет у нас в зоне духарика против Васьки. Может, ты пойдешь выводить?

– Зачем я? – возразил Мишка. – Один на один я бы еще попробовал на Ваську, а их двенадцать.

– В том-то и штука, что двенадцать, – спорил Сенька. – И у них ножи закованы, а у Васьки – топор в глухой заначке. Попки три раза шмон устраивали, да куда – мимо слона пройдут, не заметят.

– Ножи у них есть, – согласился Мишка. – И топор заначен. Только завтра им хана – из Дудинки Сашка Семафор прибывает. Этот их всех передухарит.

С Сашкой Семафором я тогда еще не был знаком, но слыхал о нем много. В нашем лагере он являлся, вероятно, самым «авторитетным» среди уголовников. Это, и вправду, была яркая личность. Недоучившийся студент, он еще в институте связался с ворами, встал во главе большой шайки и, как матерно божились все его знавшие, совершил среди бела дня потрясающее по дерзости ограбление областного банка. Любое слово его звучало приказом для уголовников, любое желание становилось законом. Впоследствии он служил старшим комендантом нашей зоны, и мы с ним иногда встречались и разговаривали. К сказанному надо добавить, что он был строен и красив своеобразной женственной красотой, почти никогда не ругался и никого не «брал на оттяжку». Отбывая срок, он дважды уходил в бега, переодетый в женское платье. В последнем побеге он дошел до того, что, занимая каюту на пароходе, гулял по палубе и снисходительно принимал ухаживания пассажиров, интересовавшихся миловидной и умной девушкой. Если бы Семафор случайно не наткнулся на хорошо знавшего его человека, он беспрепятственно добрался бы до Москвы, а там не так уж тяжело потеряться ловкому вору.

Разумеется, на другой день я принял меры, чтобы увидеть собственными глазами, как будут выводить отказчиков на работу. Это было не так уж сложно – я передал в цех, что выйду в вечернюю смену, а с утра назначен получать в каптерке новенькую телогрейку. Подобное оправдание в глазах любого начальника являлось веским. А что вечером придется отправиться на работу в старье, меня не очень смущало – лишь немногим, кому полагалось новое обмундирование, удавалось им разжиться, если они пропускали первый день выдачи. Это как раз и произошло со мной. Во всяком случае, неполученная телогрейка первого срока частенько выручала меня, когда не хотелось рано вставать или шли слухи, что днем привезут свежую кинокартину.

Утренний развод в нашей зоне тянулся обычно с шести до девяти часов. Вначале уходили строители, потом шахтеры и рудари, за ними мы – металлурги и лагерная интеллигенция. До половины девятого я дремал на верхней наре, прослушал последние известия, позавтракал и вышел наружу. ШИЗО было окружено вохровцами. Коменданты и нарядчики плотной кучкой стояли в достаточном отдалении от запертых дверей. Знакомый нарядчик поманил меня:

– Интересуешься?

– Конечно.

– Становись со мной, чтоб не прогнали. Сейчас Сашка пойдет.

Вскоре из конторы вышел начальник нашего лаготделения Грязин в окружении вохровских офицеров и чинов из третьего отдела. Среди них вышагивал – несмотря на мороз, в одной черной телогрейке – незнакомый мне быстрый, худощавый парень.

– Сашка! – шепнул нарядчик. – Что будет!.. Я не отрывал глаз от Семафора. Он мало отвечал укрепившемуся во мне представлению о духарике, как развинченном, шебутном, почти полоумном существе, всегда хмуром и дерзком, всегда готовым дико завопить и, бешено вращая глазами, кинуться с ножом на нож. Саша Семафор был подтянут и четок, весел и ровен. Он остановился перед нашей кучкой и, улыбнувшись, протянул руку одному из нарядчиков.

– Здравствуй, Петя. Год не виделись. Как твоя язва желудка? Что-то не похож на больного.

– Выздоровел, Саша, – сказал обрадованный вниманием нарядчик, – Посадили за одно дельце на месяц в ШИЗО – с голодухи начисто сожрал проклятую язву, и операция не понадобилась.

К Семафору подошел озабоченный Грязин.

– Все подготовлено, Саша. Может, еще чего надо?

– Нет, ничего, – сказал Семафор. – Как договорились, замок снимают сразу, но двери открывают лишь по моему приказанию.

Охрана отомкнула замок и вытащила засов из петель. Два вохровца держались за половинки дверей, готовые распахнуть их по первому сигналу. Семафор подошел к изолятору и постучал кулаком в дверь. Было так тихо, что мы услышали, как внутри заворочались и заворчали люди.

– Васька! – крикнул Семафор звонким высоким голосом. – Узнаешь меня? Это я, Сашка Семафор. Явился по ваши души!

В ответ раздался нестройный мат. Не было сомнения, что Семафора узнали. Потом шум в кандее притих, и оттуда донесся бас Крылова:

– Явился, так заходи. Посмотрим, где душа у тебя!

– Васька, – продолжал Семафор. – Значит, так. Есть сведения, что у вас пять ножей и один топор – утаили при шмоне – правда?

И опять загрохотал голос Васьки Крылова:

– Да двадцать четыре кулака. Тоже не забывай.

– Значит, так! – кричал Сашка. – Договоримся по честному: ножи и топор сдаете, а сами айда на работу. Даю две минуты на размышление.

Новый взрыв мата продолжался не менее минуты.

– Ножи и топор вынесут в твоём теле! – ревел Крылов. – Только переступи через порог, сука!

Сашка Семафор быстро переглянулся с бледным Грязиным и закричал, напрягая свой негромки голос:

– Правильно, Вася! Вы меня ухайдакаете, точно. Но раньше я троих завалю! Троих ложу я, остальные рубят меня. Ты меня знаешь, Васька, и все вы меня знаете. Слово Сашки Семафора – камень! Вы слышите меня, ребята? Троих – я, остальные – меня. Через минуту вхожу!

На этот раз из ШИЗО не донеслось ни шороха. Саша сделал знак вохровцам и выхватил из внутреннего кармана телогрейки длинный, как кинжал, нож-пику, так называют такие ножи в лагере. Все это произошло одновременно: стремительно распахнулись двери, пронзительно сверкнул нож, и яростным голосом Семафор крикнул:

– Готовься, первые трое!

Он ворвался в карцер, занеся над головой «пику», а все мы непроизвольно сделали шаг за ним, хоть никому из нас нельзя было переступить порога: вохровцы и начальство входят в зону без револьверов и винтовок. Нарядчики и коменданты и подавно ничем не располагают, кроме кулаков: оружие это мало годится для битвы с двенадцатью вооруженными бандитами.

Удивительная штука психика: как только Семафор перепрыгнул через порог, нам всем услышались дикие вопли, стук падающих тел, звон сталкивающихся ножей. Уже через три секунды мы поняли, что это обман чувств: в изоляторе было могильно тихо.

Мы стояли окаменев, не дыша, и еще раньше, чем в легкие наши ворвался непроизвольно задержанный воздух, из ШИЗО стали выходить люди. Впереди четко шаггал побледневший, но

улыбающийся Семафор, за ним опустивший голову Васька Крылов, и – гуськом за Васькой – вся его бражка отказчиков. В руках у Васьки вихлялся топор, другие отказчики держали ножи. Васька бросил топор к ногам Грязина, ножи отобрали вохровцы. Семафор стал рядом с Грязиным и смотрел, как коменданты строят отказчиков в колонну для вывода на работу.

Грязин, ликуя, ударил Семафора по плечу. Тот засмеялся.

– Восемь ножей было у ребят, – сказал он, – Разъясните вашим вохровским Шерлок Холмсам, гражданин начальник, что они задарма едят казенный хлеб.

– Не восемь, а девять, – поправил Грязин ласково. – Ты забыл о своем ноже. Тоже придется сдать, Саша.

– Ах, еще мой! Лады, раз надо, так надо! – Семафор полез во внутренний карман и достал оттуда крохотный ножичишко, примерно с треть его боевой «пики». – Вот он. Получайте в натуре.

Грязин покачал головой.

– Это не тот, Саша.

– Как же не тот? Обыщите, если не верите! – Семафор с готовностью выворачивал свои карманы. – Или прикажите вашим сыщикам из вохры устроить вселенский шмон. Эти постараются.

– Постараются! У двенадцати бандитов не нашли, у тебя найдут! Не думал, что ты считаешь меня таким дураком.

Семафор выразительно пожал плечами, показывая, что говорить больше не о чем.

Спустя некоторое время, когда мы поближе познакомились, я напомнил Семафору об усмирении давно уже к тому дню расстрелянного за убийства Васьки Крылова.

– Объясните мне, Саша, вот что, – сказал я. – Откуда эта шайка брала еду? Ведь ясно, что они не сидели на «гарантии».

– Нет, конечно. Они столовались, будьте покойны – сало, мясо, сахар, одних тортов не хватало.

– Но как же это ускользало от глаз охраны? Ведь еду надо было пронести в карцер.

– А как от них ускользнули ножи и топор? Их тоже приносили снаружи. Попки, чего от них требовать! Повара знали, что, если они не накормят Ваську с его козлом, нож в брюхо им гарантирован, как только те выйдут из кандея. Специально для таких дел имелось ведро с двойным дном: вниз кладется что посытнее, а на второе дно наливается баланда – мешай ее черпаками, пока не надоеет.

Я подумал и еще спросил:

– А почему вы не наказали поваров, когда узнали об их мошенничестве?

Он удивился моей непонятливости:

– А зачем мне их наказывать? Я не начальник лагеря, за воровство на кухне не отвечаю. И к чему? Это ведро могло и мне при случае пригодиться. Никто из лагерных комендантов не гарантирован от штрафного изолятора. Вы думаете, я мало сидел в кандее?

## **Валя отказывается от премии**

Женские бараки существовали в каждой из наших лагерных зон, но женщин и в лагере, и в поселке – «потомственных вольняшек» либо освобожденных – было много меньше, чем мужчин. Это накладывало свой отпечаток на быт в зоне и за пределами колючей проволоки. Женщины, как бы плохо ни жилось им в остальном, чувствовали себя больше женщинами, чем во многих местах на «материке». За ними ухаживали, им носили дары и хоть их порой – в кругу уголовников – и добывали силой, но добывали как нечто нужное, жизненно важное, в спорах – до поножовщины – с соперниками. Их не унижали фактом своего существования, не подчеркивали ежедневно, что ныне, в силу крупного поредения мужчин, они, женщины, хоть и приобрели первозначимость в труде и семье, но с какой-то иной вышки зрения стерлись во второстепенность. Женщины ценили свое местное значение, оно скрашивало им тяготы сурового заключения и жестокого климата. Я иногда читал письма уехавших подругам, оставшимся на севере: очень часто звучали признания – дура была, что не осталась вольной в Норильске, а удрала назад на тепло и траву. Есть здесь и тепло, и трава, только здесь я никому не нужна, а вкалывать надо почище, чем в Заполярье.

Такой порядок существовал до войны и первые годы войны, пока в каждую навигацию по

Енисею плыли на север многотысячные мужские этапы. Война радикально переменяла положение. Сажать в лагеря молодых «преступивших» мужчин стало непростительной государственной промашкой, их, наскоро «перевоспитав», а чаще и без этого, отправляли на фронт. Это не относилось, естественно, к «пятьдесят восьмой», но и поток искусственно выращиваемых политических заметно поубавился – до конца войны, во всяком случае. И вот тогда прихлест женщин в лагеря стал быстро расти. В основном это были «бытовички», хотя и проститутки и профессиональных воровок не убавилось, они просто терялись в густой массе осужденных за административные и трудовые провинности.

Хорошо помню первый большой – на тысячу с лишком голов – женский этап, прошагавший мимо нашего лаготделения в зону Нагорное, выстроенную для них. Коменданты и нарядчики еще с вечера разнесли по зоне потрясающую весть – в Дудинке выгружают женщин, ночью их повезут в Норильск, днем они прошествуют на Шмидтиху. Из нашей зоны был хорошо виден вокзал внизу, и еще с утра свободные от работ высыпали к проволочным оградкам – не пропустить прихода поезда с женским этапом. В нормальный день стрелки на вышках не подпустили бы так близко к «типовым заборам» отдельных заключенных, соседство зека с проволокой можно было счесть и за попытку к бегству с вытекающими из того последствиями. Но сейчас у проволочных изгородей толпились не единицы, а сотни, и ни один не рвался в ярости либо в отчаянии рвать проволоку – «попки» благоразумно помалкивали.

Я в эти дни выходил в вечернюю смену и, конечно, не захотел пропустить женского этапа. Но в низины зоны – она строилась террасообразно, вокзал лучше был виден из нижних бараков – не пошел, там уж слишком густела толпа, а пристроился недалеко от вахты – здесь тянулось шоссе от вокзала до рудника открытых работ и угольных шахт.

– Подходят, подходят! – заорали из нижней толпы.

Выгрузка этапа всегда дело долгое, а женского этапа особенно. Женщины, в отличие от даже самых непокорных уголовников, мало считаются с криками и руганью конвойных. И прошло не меньше часа от прихода поезда, прежде чем мы увидели ряды женщин, медленно поднимавшихся по горной дороге мимо нашего лаготделения.

Это был первый чисто женский этап, который мне довелось видеть – и он врубился в сознание навсегда. Еще многие тысячи женщин должны были прибыть в Норильск, еще многие годы поставка в лагеря женщин составляла важную долю героических трудовых усилий государственной безопасности. Но картина, подобная той, что открылась мне в первом этапе, уже так незнакомо ярко не повторялась. Шел сорок третий год самого кровавого столетия в истории человечества, шла самая жестокая война из всех, какие человечество знало. До нас, нестройно толкающихся у проволочного забора и живших в искусственном, сравнительно благополучном мире, вдруг страшным обликом дошло, какие сегодня условия на «материке», на воле, которой нам всем так не хватало, к которой мы так жадно стремились...

День был неровный и недобрый, шел сентябрь, самый непостоянный месяц в Заполярье. В дни этого месяца бывает, что светит солнце, и красно пылают тундровые мхи и кустики, томным золотом сияют лиственничные лески. Но бывают и муторные ледяные дожди, и первые снежные метели, и гололеды, рвущие электролинии и обламывающие ветви деревьев. В тот день была просто плохая погода, без особых выбрыков природы. Глухое небо просеивало мелкий дождь, под ногами хлюпало. С верховьев Угольного ручья – междугорья Шмидтихи и Рудной – дуло по-обычному, то есть для нас уже привычно, для новичков севера – нестерпимо. Мы стояли у проволочных изгородей и смотрели на женщин, а женщины шли мимо и смотрели на нас. Мы с нетерпением ждали встречи с женским этапом, готовились, уверен, приветствовать подружек по несчастью веселыми криками, шутками, острыми лагерными словечками. Вместо криков и шутливых поздравлений мы молчали. Мы были подавлены. Не я один, все, стоявшие по эту сторону проволочного забора. Мы реально увидели картину, казавшуюся каждому непредставимой.

В лагере уже начали выдавать зимнее обмундирование, но пока получали его строители, работавшие на открытом воздухе. В нашей эксплуатационной зоне лишь геологов снабдили полущубками, остальные еще носили летне-осеннюю одежду – кто щеголял в телогрейках первого срока и кожаных сапогах, кто кутался в «беу» на плечах и чиненную сто раз обувь. Но какая бы одежда ни была на нас, мы не мерзли и не мокли. Лагерное начальство твердо – по собственному

неоднократному опыту – знало, что плохая одежда неотделима от множющихся невыходов на работу. А массовые невыходы грозят выговорами и наказаниями и даже – тоже было проверено – грозным вопросом: «А по чьему вражескому заданию вы систематически срываете план?..» И летняя одежда у нас была летней одеждой для севера, в ней можно было перебедрать и неморозные снега, и неледяные ветры, и промозглую сырость с дождем.

А мимо нас тащились трясущиеся от холода, смертно исхудавшие женщины в летней одежде – да и не в одежде, а в немислимои рвани, жалких ошметках ткани, давно переставших быть одеждой. Я видел молодые и немолодые лица со впавшими щеками, открытые головы, открытые ноги, голые руки с трудом тащившие деревянные чемоданчики или придерживавшие на плечах грязные вещевые мешки. И меня, и всех, кто стоял со мной у забора, резануло по сердцу – в этапе были и совершенно босые, даже тряпок, скрепленных веревками, не было у них. Женщины двигались по диабазовому щебню нашей горной «грунтовки», кто проваливался с хлюпаньем в лужи, кто вскрикивал, напарываясь на острый камень.

– Сволочи! – прошептал кто-то около меня. Я догадывался, к кому относится это проклятье.

Вдоль женского этапа, с винтовками наперевес, браво держа дистанцию, вышагивала охрана. Не знаю, чего уж наши стрелочки боялись – того ли, что женщины бросятся через колючую проволоку к нам, не добредя до своей законной «колючки», или что повалятся наземь перед нашей вахтой? Возможно, им хотелось показать нам и этапу, что они начальство, вершители судеб людей низшего сорта и верные охранители тех, кого надо охранять от таких, как мы. Но только проходя мимо нас, они громко и сердито покрикивали: «Не сбивать шаг! Держи равнение! Пятерка, шире шаг! Кому говорю – не высовываться! Эй ты, иди вперед, а не вбок!»

Женский этап двигался в гору в молчании, женщины не переговаривались между собой, не перекликались с нами. Только одна вдруг восторженно крикнула соседке, когда они поравнялись с вахтой:

– Гляди, мужиков сколько!

– Живем! – отозвалась соседка.

Я потом выспрашивал знакомых, наблюдавших женский этап, слышали ли они еще какие-нибудь восклицания, обращения. И все подтверждали, что этап в тысячу женщин проследовал мимо нас в молчании. Только эти две женщины, которых я слышал, как-то выразили веру в наше доброе отношение и надежду на улучшение жизни.

В нашей зоне допоздна не стихали шумные разговоры. Нас словно прорвало, когда последняя пятерка этапа прошла угловую вышку. Я постоял, послушал, что говорят, и воротился в свой барак – готовиться к вечерней смене. Но и на заводе – в управлении, в цехах, в конторах только и бесед было, что о женском этапе.

– Ну, голодные же, ну, доходные – страх смотреть! – кричал один.

– Подкормятся. Наденут теплые бушлаты и чуни, а кто и сапоги, неделю на двойной каше – расправятся. Еще любоваться будем! – утешали другие.

– Надо подкормить подруг! – говорили, кто был помоложе. – Что же мы за мужики, если не подбросим к их баланде заветную баночку тушенки.

– ... буду, коли своей не справлю суконной юбчонки и, само собой, настоящих сапог! – громко увлекался собственной щедростью один из молодых металлургов. – У нас же скоро октябрьский паек за перевыполнение по никелю. Весь паек – ей!

– Кому ей? Уже знаешь, кто она? – допытывался его кореш.

Металлург не то удивлялся, не то возмущался.

– Откуда? Еще ни одной толком не видал. Повстречаемся, мигом разберусь, какая моя. И будь покоен, смазливая от меня не уйдет.

– Вот как повстречаться? – деловито прикидывал опытный лагерник. – В какую промзону их выведут? Если на рудник и шахту, пиши пропало – там местных мужиков навалом. На разводе еще поглядим на красуль. А чтоб по-хорошему – не пощастит!..

– Нечтяк! – радостно кричал тот же металлург. – Выпрошу у знакомого коменданта пропуск на рудник – и подженюсь до освобождения.

Мой друг Слава Никитин, механик плавильного цеха, поделился со мной своими скорбными наблюдениями над женским этапом:

– Что делается на воле, Сергей? Юбку одна придерживала рукой, чтобы шматьями не

отвалилась. Руки голые, шея голая, на голове одна волосяная кудель... И все в своем домашнем, ни на одной казенного. Ну, поизносились на пересылках и на этапе, понимаю. Но хоть бы одно настоящее пальто, хоть что-то похожее на настоящее платье...

– Война, Слава. И голодуха в тылу. Были, наверное, у каждой и пальто, и хорошее платье, и ботинки. У кого украли на пересылках, другие отдали за подкормку. Голод не тетка, слышал такую философскую истину?

Мысль Славы, всегда прихотливая, скакнула в сторону.

– Ты их хорошо рассмотрел? Я всех сразу определил. Ты знаешь, я физиономист.

– Красивых не заметил, – осторожно высказался я. – Так, средней стати. Женщины, в общем, как женщины. С печатью времени на челе.

– Причем здесь чело? Стихи, наверное? Красивая, некрасивая – не физиогномистика, а парикмахерское любование. Я вот о чем. «Пятьдесят восьмую» видно издалека, их не было, за это ручаюсь. И блатных не густо, десятка два-три от силы. Короче, бытовички. Чего-то по случаю уворовала, почему-то в колхозе не дотянула трудодней, на работу без оправдания не вышла... В общем, народ, а не интеллигенция. Нам шили преступления, каких в натуре не было. Этим и шить не понадобилось, сами преступали законы. У каждой своя вина.

– Что называть преступлениями, Слава? И вообще: в ту ночь, как умерла княжна, свершилось и ее страданье, какая б ни была вина, ужасно было наказание.

– Опять стихи? – подозрительно осведомился он. – Поверь моему дружескому слову, когда-нибудь тебя за стихоплетство...

– Стихи, Слава. Только не мои. Мне до таких стихов, как Моське до слона.

– Это хорошо, что не твои. Рад за тебя, – сказал он, успокоенный. – Не то услышит грамотный стукач и накает, что стихотворно клеветешь на государственную политику справедливого возмездия за преступления. В смысле строгого наказания всего народа за самую малую вину перед народом. Это тебе будет не умершая княжна.

В рассуждениях Славы Никитина я не всегда различал, где он серьезен, а где иронизирует.

Он, конечно, был физиономист, но особого толка – находил с первого взгляда в лицах то, чего в них и в помине не было. Особенно это проявлялось, когда он предсказывал скверные намерения и скрытые преступления по тому, как человек смотрит исподлобья, либо по хитрой улыбочке, по нехорошему голосу, по порочным, а не трудовым морщинам на щеках. Он хорошо знал уголовников и ненавидел их – это помогало правдоподобно предсказывать, что они совершат в любой момент. Но с нормальными людьми он чаще ошибался, он мало верил в исконную добропорядочность человека. Я как-то сказал ему, что Гегель считал человека по природе своей злым, а не добрым – и с этой минуты Слава уверился, что в истории был один настоящий философ – конечно же Георг Вильгельм Гегель. А если Слава ошибался, и объект его обвинительной физиогномистики не совершал скверных поступков, Слава вслух утешался: «Трус, не посмел на этот раз. Но ты еще увидишь – такое вытворит, что охать и хвататься за голову!»

Ошибся Слава и в классификации женского этапа. «Пятьдесят восьмая» статья присутствовала не густо, но все же была. А профессиональной воровкой и проституткой в этом этапе являлась чуть ли не каждая третья. Со следующими этапами их еще прибывало. Профессия, названная древнейшей, была не только первой из человеческих профессий, но и самой живучей. Формально за проституцию не преследовали, реально же активистками этого, видимо, очень нужного ремесла забивали все лагеря страны. Норильск не составлял исключения.

До первого женского этапа, о котором я рассказывал, женщин не селили в особых зонах, а размещали их в бараках во всех лаготделениях – лишь немного в стороне от мужских. Это особых трудностей не причиняло, даже коменданты не суетились чрезмерно, пресекая слишком уж наглые – чуть ли не на глазах посторонних – свидания парочек. Но к концу войны большинство женщин водворили в женские лаготделения. Женщин в Норильске стало гораздо больше, а на предприятиях и в учреждениях создавалось впечатление, будто их ряды поредели. Только специалисток не трогали со старых мест, для остальных женщин начальство придумало специфически женское занятие – ручные наружные работы. Конечно, их одели в лагерную одежду, достаточно надежно защищавшую от холода и дождя, конечно, их подкормили, чтобы не валились от бессилия на переходе из зоны жилья в зону труда. Но вольного общения с мужчинами женщинам старались не давать – сколько это было возможно.

Это, естественно, не всегда было возможно. Любовь прокладывала свои дорожки в самой глухой чаще начальственных запретов.

Я как-то шел на границе зоны. На другой стороне проволочного забора, на улице поселка, бригада женщин разгребала лопатами снег. По эту сторону несколько мужчин перешучивались с женщинами. Одна кричала:

– Ребята, передайте Пашке из ремонтно-механического, что завтра наша бригада выводится на расчистку снега у плавильного. Пусть не собирает большого трамвая. Машка тоже будет, сегодня у нее освобождение. Пусть Костя из воздуховки приходит, она выйдет ради него, а то ей еще болеть.

– Передадим! – орали с хохотом мужчины из промзоны. – Придет ее Костя, не сомневайся. И насчет трамвая для себя не волнуйся – будет!

Так совершался уговор о деловом и любовном свидании. И «трамвай», то есть группу любовников для одной соберут, и некоего Костю на любовную встречу с другой приведут: каждой – свое.

Как я уже сказал, появление специальных женских зон только для общих работ привело к уменьшению женщин на промышленных площадках, где уже действовали разные заводы и цехи. И значение женщин, оставшихся на заводах и в учреждениях, – и без того заметное в условиях, как любят писать в газетных статьях, «подавляющего большинства» мужчин – быстро возросло. А как велико было это значение, доказывает забавное происшествие, случившееся на нашем Большом Металлургическом заводе в середине сорок четвертого года.

Мы сидели в кабинете начальника плавильного цеха, ожидая важного совещания. В директорском фонде появилось несколько килограммов масла, мешок сахара и ящик махорки, нужно было распределить это богатство по цеховым службам для премирования лучших заключенных. Я пришел со списком своих лаборантов и прибористов, другие тоже держали в руках бумажки с фамилиями.

Рядом со мной, за столом, покрытым красным сукном, сидели Ярослав Шпур, мой приятель, старший мастер цехового ОТК, и мало знакомый нам Мурманчик, лагерный работник, что-то вроде заведующего клубом или инспектора культурно-воспитательной части. Мы знали, что в недалеком прошлом он был профессором истории музыки в известной всей стране консерватории, долго бедовал на общих работах и в тепло попал сравнительно недавно, заплатив за это, кому следовало, извлеченным изо рта золотым зубом.

Мы со Шпуром тихо беседовали, а Мурманчик сидел молча и прямо, ни к кому не оборачиваясь и ни с кем не разговаривая. Он был лет сорока, седоватый, худой и хмурый. Левый его глаз подергивался тиком, правый глядел пронзительно и высокомерно.

– Серьезный мужик, – шепнул я Шпуру. – Не могу без улыбки смотреть на него.

– Серьезный, – согласился Шпур тоже шепотом. – Не все легкомысленные, как ты. Надо уважать положительных людей.

В кабинет вошел начальник цеха Владимир Ваганович Терпогосов, и совещание началось. Собственно, никакого совещания не было. Мы знали заранее, сколько человек каждому из нас надлежит представить на премирование, и молча протягивали Терпогосову наши списки. Он ставил утвердительную галочку против фамилии или вычеркивал ее своим огромным, как жезл, начальственным карандашом – раньше такими карандашами пользовались одни плотники. Мой список был просмотрен в минуту и сдан сидевшему здесь же секретарю. О кандидатурах электриков и механиков слегка поспорили («Штрафовать вас нужно за безобразное обслуживание, а не награждать» – высказался Терпогосов), потом и эти списки отправили на исполнение.

Но над бумажкой Шпура Терпогосов задумался.

– Это кто же Семенова? – спросил он, постукивая карандашом о стол. – Не Валя?

– Валентина, – ответил Шпур.

На подвижном лице Терпогосова изобразился ужас.

– Ты в своем уме. Шпур? Да ведь это шалашовка! Сколько раз ты сам приходил ко мне с просьбой убрать ее подальше от вас. Хуже Вали нет работницы на заводе, а ты вздумал ее премировать.

Все, что Терпогосов говорил, было правдой, но Ярослав не признавал правды, если она колола глаза. Недаром его считали самой упрямой головой на заводе. Я знал, что Валю он внес в

список для количества, чтобы полностью выбрать отпущенный ОТК лимит премий, а не для того, чтобы ее персонально облагодетельствовать. Мысль о том, что он не сумел отстоять своего работника, была для него непереносима. Мгновенно всплыв, он кинулся в спор, готовый сражаться до тех пор, пока не пригрозят карцером за строптивость или не прикажут убираться из кабинета – это было простейшим окончанием затеваемых им дискуссий. Начальство довольно часто прибегало к подобным категорическим решениям в запутанных случаях.

Раздосадованный Терпогосов прервал Шпура уже на третьем слове и обратился к нам.

– Вы знаете Валу. Прошу высказать свое мнение.

Да, конечно, Валу мы знали. И высказать мнение о ней могли. Совещание у Терпогосова проходило, когда на нашем заводе имелось всего пять женщин и они работали среди пятисот мужчин. Однако и это было еще не все. Валя была не только одна из пятерых, но и единственная – молодая, красивая, веселая и доступная каждому, кто не сквалыжничал, добиваясь ее. О ее неутомимости и щедрости в любовных делах рассказывали прямо-таки невероятные истории, и она их не опровергала. Поклонники ее никогда не соперничали, им хватало – главным образом, за это ее и превозносили. А я, если на всю честность, даже не подозревал до нее, что у девушек бывают такие великолепные серые глаза, такие тонкие, солнечного сияния длиннющие волосы и такая дьявольски узкая талия при широких – почти мужских – плечах. И мы знали, конечно, что контролером ОТК она только числится, во всяком случае, слитков никеля с ее клеймом не смог бы разыскать самый дотошный приемщик. Зато Валя легко обнаруживалась во всех местах, где ей не полагалось быть – на рудном дворе, в электромастерской, в конструкторском бюро, в коридоре заводоуправления, на газоходах, в потайных комнатках аккумуляторных и высоковольтных подстанций. Обычно ее кто-нибудь сопровождал, девушке одной небезопасно слоняться среди изголодавшихся мужчин, и каждый раз это был другой сопровождающий – в зависимости от того, куда она забредала. После наших выступлений Шпур потух. Даже он понял, что дальше спорить нет смысла.

Но тут попросил слова Мурмынчик.

Мы говорили сидя, он церемонно встал. Проведя рукой по стриженной голове – прежде у него, вероятно, были густые волосы – он проговорил сухо и неторопливо: «Я разрешу себе не согласиться с уважаемым большинством» – и после этого произнес настоящую речь, – не три минуты, не пять, наконец, как принято было на совещаниях, а на все сорок. Он не высказывался в прениях, как мы, но словно читал лекцию, распределяя материал от звонка до звонка. Но суть была не в метраже его речи. Суть была в том, что уже через минуту мы, зачарованные, не отрываясь, смотрели в его лицо, ловили каждое его слово, упивались его глуховатым, страстным голосом – он умел говорить, этот не то инспектор КВЧ, не то заведующий клубом.

О чем он говорил? Не знаю. Что-то о бедных девушках, которых мы толкаем на преступление своей бездушностью. Или, может, о том, что человеку свойственно питаться и стремиться к уюту и что униженный, лишенный уюта и достаточной пищи, истощавший и одинокий, он ни перед чем не остановится, чтобы удовлетворить свои естественные влечения. Во всяком случае, хорошо помню, Мурмынчик призывал нас поверить в чистоту человеческой души и обещал, что на доверие никто не ответит подлостью.

– Скажите самому гадкому преступнику, только искренне, от сердца скажите ему: «Верю, что ты хороший, верю и знаю это о тебе» – и человек станет лучше. А здесь не преступник, восемнадцатилетняя наивная девушка, что она знает, что умеет? Протяните ей руку помощи, она не отвергнет ее, нет! – так великолепно закончил свое выступление Мурмынчик, не то инспектор, не то заведующий.

Долгую минуту мы молчали, придавленные его обвинениями.

– Н-да! – ошеломленно сказал Терпогосов.

– Именно! – мрачно подтвердил Ярослав Шпур.

– Ничего не возразишь! – поддержал еще кто-то. Терпогосов был человек вспыльчивый, добрый и решительный. На заводе его любили все – заключенные, вольнонаемные, даже четыре остальные – кроме Вали – женщины. Он вообще был из тех, кто должен нравиться женщинам. Думаю, быстрее всего к нему привязывались дети и собаки, ибо у детей и собак особое чутье на хорошего человека. Но проверить эту уверенность я не мог – детей в нашем поселке почти не было, а местных собак с первого дня их жизни воспитывали в ненависти к людям, меняя их

природный характер по правилам передовой науки.

– Ладно, – сказал Терпогосов Мурмынчику. – Если у этой Вали сохранилось хоть десять процентов тех душевных качеств, о которых вы говорили, заглухнуть им не дадим.

И он распорядился секретарю:

– Срочно разыскать и доставить сюда Валю!

Пока Терпогосов просматривал оставшиеся списки, я заговорил с Мурмынчиком:

– Приходилось слышать знаменитых профессоров, таких ораторов, как Луначарский, – сказал я. – Но ваша сегодняшняя речь по форме лучше всего, что я до сих пор слышал.

Он даже не обернулся. Мое мнение его не интересовало.

Я продолжал:

– Такое великолепное умение, конечно, помогает работе культурника.

Тогда он немного смягчился и проворчал:

– С бандитами тоже надо разговаривать, как с людьми.

– И я так думаю. Но вот на профессиональных проститутках из Нагорного лаготделения даже ваша речь вряд ли подействовала бы.

Он сказал сухо:

– Во всяком случае, я кое-что сделал, чтобы не умножать их армию.

– Не понимаю вас.

– Сейчас поймете. В наше отделение временно перевели одну женскую бригаду – слышали? Половина – чечено-ингуши и прочие проштрафившиеся в войну народности. Так вот, там было четверо девушек, еще не испорченных девушек, понимаете? Боже, как их обрабатывали! Таскали подарки, вещи и еду, устраивали на легкую работу, в теплое помещение – только чтоб поддались. Ну, одна не стерпела, завела лагерного «мужа», нашего же коменданта, сейчас она работает в больничной лаборатории. А трех я отстоял, я вдохнул в их души стойкость. В отместку их заслали на карьер, мучают холодом и голодом, непосильным трудом. Но они вытерпят до конца. Я в них уверен.

У меня было дурацкое свойство, оно всегда мне мешало – я не столько вслушивался и вдумывался, сколько вглядывался в то, что мне говорили. Я увидел этих троих девушек, полузамерзших, грязных, вечно голодных. Они ломали Кирками бытовой камень, их засыпал снег, опрокидывал ледяной ветер. И дома, в зоне, их не ждет друг – случайный и недолгий, но горячий и верный – они бредут под конвоем, мечтая только об отдыхе, единственном доступном благе.

– Да, до конца, – сказал я. – До конца своего срока, конечно. Сейчас им по двадцати, этим девушкам, на волю они выйдут рано состарившимися тридцатилетними женщинами. Так и не видать им жизни!

– Что вы называете жизнью? – возразил он сурово. – Нужно точнее определить этот неясный термин.

Мы не успели определить неясный термин «жизнь». В кабинет ворвалась оживленная Валя. Она остановилась у стола, взмахнула своими удивительными праздничными волосами, улыбнулась дерзкой, самоуверенной, манящей улыбкой. Она откинула назад голову – ее большие, широко расставленные груди были нацелены на нас, как пушки, серые глаза светились, яркие губы приоткрылись. Нет, она не дразнила нас, одиноких, она знала, что ее вызвали по делу. Но она была уверена, что никакое дело не помешает нам любоваться ею, она лишь облегчала нам это непереносимое занятие.

– Я здесь, гражданин начальник, – сказала она Терпогосову звонко. – Ругать будете?

Терпогосов не глядел на нее. Он был тогда неженатым, так ему было легче с ней разговаривать.

– Вот что. Валя, – сказал он. – Ругать тебя, конечно, надо – поведение не блестящее... Тут мы премии распределяли для лучших работников. Ну, до лучшей тебе далеко... Однако есть мнение – поддержать тебя авансом, материально помочь встать на честную дорогу, а ты в ответ на это исправишься. Как – не подведешь нас? Оправдаешь доверие?

– Простите, гражданин начальник, – сказала Валя, – а велика премия?

Терпогосов вспыхнул, мы тоже почувствовали неловкость – речь шла о высоких принципах, а Валя примешивала к ним какую-то базарную торговлю.

– Да не маленькая, – ответил Терпогосов, стараясь сдержать раздражение, – но и не

огромная, конечно. Время военное, фонды скудные. Ну, полкило сахара, граммов двести масла, пачка махорки...

– Одну минуточку! – воскликнула Валя. – Я сейчас вернусь!

И не успели мы остановить ее, как она выбежала из кабинета. Мы в недоумении переглядывались. Терпогосов озадаченно рассмеялся, Ярослав Шпур нахмурился, один Мурманчик холодно глядел поверх наших голов – левое нижнее веко у него подергивалось.

Валя возвратилась назад меньше чем за пять минут. Она с усилием тащила увязанный пакетом пуховый платок. Широким движением рванув узел, она вышвырнула на стол содержимое пакета. По сукну покатались коробки мясных консервов, пачка сахара, килограммовый ком масла, печенье, папиросы. Это было, конечно, не лагерное довольствие, тут собрали, по крайней мере, полумесячный паек вольнонаемного.

– Раз у вас фонды скудные, я немного добавлю, – с вызовом сказала Валя. – Мне не жалко, все это я заработала за сегодняшнее утро.

Терпогосов первым овладел собой.

– Что ж, добавка твоя принимается, – сказал он. – А пока можешь идти.

Когда мы немного успокоились, я обратился к Мурманчику:

– Мне кажется, все-таки на эту Валу ваши речи не подействуют – не так разве?

Он ответил высокомерно:

– Не знаю. Я с ней еще ни разу по-настоящему не беседовал. Не хочу гадать.

### **Ящик с двойным дном**

Это малозначительное происшествие произошло вечером шестого ноября сорок четвертого года. Я готовился встретить годовщину революции. В лагере нам, конечно, было не до праздников. Некоторые из официальных торжеств – например, день сталинской конституции – мы сознательно проводили не в бараке на отдыхе, а как обычный день в цехе – мы лучше всех знали, как эта хорошо написанная конституция выглядела на практике. У нас не было причин кричать ей ура. Но Новый год и Первое мая мы отмечали. И разумеется, самый высокий из наших праздников, годовщину штурма старого мира, мы чтили свято и неукоснительно. Мы не очень торжествовали в этот день, для радости не набиралось достаточно оснований – нам иногда казалось, что многие из лучших принципов революции навек утрачены или унижены. Но мы вспоминали ленинские идеи, а не действительность. Мы говорили друг другу: «Люди пришли и уйдут, идеи останутся:– они еще возобладают!» А в этот год была и своя особая причина для торжества – фашизм отступал, на всех фронтах, война шла к концу.

Итак, я готовился к празднику. Я достал заветную бутылку со спиртом, предназначенным для заливки в приборы, и честно разделил ее пополам: первую половину – для технологии – убрал в шкаф, вторую – на вечер – долил водой и выставил за окно остудить. Потом я оглядел мои съестные запасы. Еды набралось невпроворот, или – точнее – «невпроед»: буханка черного хлеба, сухой лук, сухая картошка и запасенная еще с лета банка свиной тушенки с лярдом. Всего здесь могло хватить человека на три-четыре. Как раз столько нас и должно было собраться – я, мой друг Слава Никитин и лаборантка Зина, моя ученица, озорная и хорошенькая девочка, которую я оберегал от местных соблазнов и именно с этой целью пригласил поужинать с нами. В молодежном общежитии у них подготавливалась пьянка, обычно такие «мероприятия» заканчивались скандалами, мы же со Славой были народ смирный.

Это, конечно, не шампанское и даже не портвейн, – бормотал я, доставая остуженную бутылку – на дворе стелился сорокаградусный мороз, и тепло из спирта улетучивалось быстро, – но на крепость жаловаться не будут.

В этот момент зазвонил телефон. Я сунул бутылку в тумбочку и схватил трубку. Это был Слава.

– Ты знаешь, что произошло? – спросил он. В его голосе звучал надрыв. Таким мрачным тоном Слава разговаривал лишь с начальством, когда выпрашивал спирт на «желудок»: у него начиналась язва, которую он одурманивал градусами, чтоб не разрослась. Для меня, своего близкого друга, Слава приберегал иные тона: насмешку, веселую презрительность, радостный смех. Ничего этого сейчас и в помине не было.

– Не знаю, – признался я. – А что?

– А то! Забился как паук в свою лабораторию. Подрубаев только что закончил доклад на торжественном партийном собрании завода.

– О чем же доклад?

– О последних достижениях астрономии! О чем доклад шестого ноября? Разумеется, о седьмом ноябре. Об Октябрьской революции – понятно?

– Теперь понятно. Не вижу пока повода для огорчений.

– Сейчас увидишь. Знаешь, что он сказал в докладе? Он говорил о тебе! Он кричал о тебе, размахивая кулаком. Он брызгал на тебя слюной. Он ругал тебя последними словами.

– Подрубаев? Обо мне? Кричал?

– И размахивал кулаком! И ругался! И брызгал слюной!

– Не понимаю. Слава, ты всегда преувеличиваешь!

– Никаких преувеличений. Говорю тебе, он докладывал об Октябрьской революции. А как можно при этом забыть о тебе? Подожди, не перебивай! Он сказал, что нас, то есть их, вольняшек, со всех сторон захлестнули заключенные всяческие террористы, шпионы, вредители и прочие контрики. Многие из этих гадов пробрались на командные посты, в их руках ключевые позиции на заводе, по существу они ведут производство.

– Но ведь это правда – мы ведем производство...

– Говорю, не перебивай! Он сказал, что завод отдан в лапы врагу, понимаешь? И что мы работали хорошо лишь для вида, чтобы скрыть свое змеиное нутро. И что эти «мы», террористы-механики, шпионы-химики и диверсанты-металлурги, – это – я, ты, Наджарьян, Либин, Лопатинский, Кирсанов, Витенз, Калюсский... И что нас надо окружить жестокой бдительностью и беспощадным недоверием. И что вместо этого многие партийцы дружат с нами, таскают нам продукты... Он вопил на весь зал: «Мы будем гнать таких людей из партии, отдавать их под суд за связь с заключенными! Потеря бдительности – преступление, пусть все это помнят!» Каково?

– Кто тебе рассказал?

– Электрик Сорокин. Он пришел с собрания расстроенный, достал из несгораемого шкафа немного спирта – и деру! «Боюсь оставаться – еще какая-нибудь сволочь донесет Подрубаеву». Вот так оно очаровательно поворачивается.

Я молчал.

– Ты чего раздышался как паровоз? Не сопи изреки что-нибудь.

– Что мне сказать? В том, что он помянул нас бранью, неожиданного не вижу. Вот если бы он объявил, что мы достойны сожаления за несправедливую участь, похвалил за работу – точно неожиданность!

– Еще чего захотел!

– Да, захотел! Всегда буду хотеть правды, как бы она ни была неожиданна.

– С тобой скучно разговаривать! Ты желаешь невозможного.

– По-моему, ты желаешь того же, иначе не огорчился бы от доклада Подрубаева.

– Ладно. Всех благ! Иду в зону спать.

– Слава, мы же намеревались поспрадовать. У меня спирт, закусь.

– Нет настроения. Спирту я уже нахлестался. Поцелуй от моего имени Зиночку, от своего ты никогда не решишься на такой смелый поступок. Пусть все теперь пропадет, черта с два я буду им работать как проклятый, слышишь, Сережка? Черта с два! Больше дураков не найдут!

– Слава!..

– К дьяволу на рога! Чтоб сутками не вылезать с печи, при ремонте неделями спать на столе в конторке – нет уж, хватит! Под конвоем на аварию, это пожалуйста, а больше ни шагу, ясно! Не смей, не хочу слушать! Я тебе уже сказал – иди в задницу! Поцелуй Зиночку! Я пошел.

Он бросил трубку. Я сидел перед телефоном подавленный. Нет, я не лгал Славе, утешая его, что в докладе не вижу ничего неожиданного. Доклад, о котором я мечтал, нельзя было прочитать на торжественном собрании, если только не появилось желания распротиться со своей головой. Я не мог переварить другого. Я не понимал, как такую речь произнес Подрубаев.

Он появился у нас недавно – воевал на Кольском полуострове, демобилизовался из армии после ранения и надумал потрудиться где-нибудь на полюбившемся ему Севере. Специальности у него не было никакой, так, семь классов образования и парочка краткосрочных курсов. В лагерной

системе Берия партийная работа была на задворках, на нее шли с неохотой еще и потому, что партийные работники получали мизерные оклады в сравнении с хозяйственниками и третьестепенными. В этом особом мире партийные должности старались превратить в партийные нагрузки, именно нагрузки – дополнительная ноша сверх основной, нечто, что можно, покрывающая, тащить через пень колоду. Нужно было ни на что не годиться как администратор или очень уж крепко любить эту деятельность, чтобы согласиться у нас на пост освобожденного партийного работника. Мне казалось, что в Подрубаеве действуют обе эти причины. Он, конечно, в производстве не разбирался и командовать людьми не умел. И он любил свою малоавторитетную в наших местных условиях работу! В его речах полузабытое слово «партия» звучало если и не так часто, как всемогущая формула «Сталин», то, во всяком случае, довольно весомо. Кое-кто из тех, кто распоряжался нашими жизнями, уже начал на него косо поглядывать. Мы, разумеется, предвидели, что ужиться в Норильске Подрубаев не сумеет, и спорили, каков будет его конец – просто ли перебросят на другую должность, вышибут ли с бесчестьем на «материк», или подберут ключи посерьезней.

Мне он нравился. Он разговаривал со мной как с человеком. Он спрашивал о моем прошлом, интересовался, почему я сижу и есть ли у меня шансы на досрочное освобождение. Он не мог не знать, что подобные расспросы строгойше запрещены, но пренебрегал запретом. После какого-то разговора мы дружески пожали руки. У него было хорошее лицо – открытое, курносое, большеротое, с умными голубыми глазами. Люди с такими лицами веселы и бесхитростны. И этот человек злобно позорил нас, заключенных, грозил наказаниями тем, кто к нам хорошо относится! Таков был факт. Факт этот нельзя было принять, он был слишком отвратителен! Другой пусть, от другого бы я стерпел – но Подрубаев! Меня корчило от омерзения, мне хотелось наждаком содрать с кожи память о нашем недавнем рукопожатии.

«Он же мог не называть фамилий! – горестно размышлял я. – Его предшественники так и докладывали на торжественных собраниях – глухая фраза о заключенных, но – никаких фамилий. Нет, ему захотелось лизать ноги начальству, он и лизал, публично лизал, зарабатывал подленький авторитет у подлецов!»

Я кипел, меня мучило и распирало. Я вскочил и, матерясь, забежал по своей крохотной комнатке. Движение быстро утомило меня. Я спросил себя – чего ты распахивался, дурак? Крыша тебе на голову свалилась, что ли? Какой-то прохвост обругал тебя, только всего! Мало тебя оклеветали и поносили? К брани не привыкать, возьми себя в руки. Это еще не самое страшное – брань. Вежливые следователи, бесстрастные судьи куда пострашнее – они не ругаются, а ломают жизнь.

Я прикрикнул на себя – довольно, слышишь, довольно! Они хотели отравить тебе праздник, не дай им этой радости! Все можно у тебя отнять – личное счастье, свободу, здоровье, даже саму жизнь. Но до мыслей, до чувств, до мироощущения твоего им не дотянуться. Они не всевластны, нет! Солнце так же поднимется на небо, те же звезды выйдут вечером на дежурство – славь мир, раскинувшийся вокруг тебя, он недостижим для жадных лап! Славь праздник рождения нового века, величайший из праздников твоих – его у тебя не отнимут! Повернись к пройдохам спиной, гляди вперед: горизонт затянут тучами, но над тучами – ясное небо! Так празднуй же свое небо, забудь хоть на час о затоптанной сапогами земле!

Эти выпранные мысли успокоили меня. Я всегда утешал себя абстрактными рассуждениями. Они вздымались до таких вершин, где высота превращается в пустоту. Чем они были темней, тем казались мне глубже. Давно доказано, что каждый сходит с ума по-своему. Во всяком случае, каждый по своему успокаивается.

Я вышел в соседнюю комнату. Две моих лаборантки, комсомолки Зина и Валя сидели у стола, тихо беседуя. Они конечно, слышали, как я метался по своей комнатке, может быть, до них донеслась и брань. Я не стал уточнять, давно ли они тут. Валя, очевидно, тоже раздумала идти в свое общежитие, где после торжественного собрания ребята устроят пьянку. Втроем мы скучать не будем. Праздник удастся на славу. – Девчата! – сказал я, любясь их милыми рожицами. Зина была порывиста, худа и дерзка на язык, коротышка Валя едва ли произносила больше двух слов в час (самая смиренная среди лаборантов). – Закатывайте рукава. Вот сухая американская картошка. Если через полчаса она не разварится, как белорусская бульба или, на худой конец, украинская и бараболя, то грош вам цена. Не ждите тогда, что я подышу женихов среди наших ребят.

Они со смехом схватили пакет с картошкой. Зина носилась из угла в угол, включила плитку, достала соль и масло. На спираль поставили жестяную банку из-под томата, отлично заменяющую у нас кастрюлю. Вода уже собиралась закипеть, как дверь на лестницу раскрылась и на пороге появился Подрубаев.

Если бы в нашу комнатуху ворвался Змей Горыныч, он произвел бы на моих девчат меньшее впечатление, чем Подрубаев. Они вскрикнули, побледнели и окаменели. Они глядели на него округленными глазами. Я сразу понял, что они осведомлены о его сегодняшнем докладе. Злой, настороженный, Подрубаев медленно приближался. Пока он шел, я лихорадочно обдумывал, чем его появление грозит Зине и Вале. Они были вдвоем, следовательно, приписать интимную связь со мной не удастся. Зато в самой страшной – духовной связи с заключенным он вполне сумеет их обвинить. А за это обычно выгоняют из комсомола и дают «двадцать четыре часа» – немедленную высылку.

– Это еще что за куховарство? – спросил он лаборанток, переводя с одной на другую недобрые глаза, – Кто вам разрешил остаться в нерабочее время?

За девушек поспешил ответить я:

– Все в порядке, гражданин начальник. – Я не мог назвать его сегодня обычным обращением Василии Федотович. – Я задержал девчат, чтобы они заполнили рабочие журналы. Записи сделаны, и лаборантки уже собрались уходить. А картошку варю я, надо же отметить праздник...

Он слушал меня с недоверием. Он хмуро следил, как девушки торопливо одеваются. Сам он даже не расстегнул шубы, хотя в комнате было жарко – нас подогревала через стену обжиговая печь.

– В другой раз чтоб этого не было, – сурово сказал он мне и лаборанткам. – Идите домой и помните, что здесь производство, а не гулянки.

Девушки не ответили. Первой выбежала Зина, за ней поспешила более медлительная Валя. Я запер за ними. Подрубаев кивнул на другую дверь, через которую он вошел:

– Эту тоже! Надо побеседовать без помех.

Я повернул ключ и во второй двери. Лицо Подрубаева вдруг стало меняться, злые складки на щеках распрямились, глаза подобрели. Передо мной стоял тот Подрубаев, которого я знал до этого дня.

Только теперь он расстегнул свою тяжелую шубу – вытащил из одного кармана бутылку шампанского, из другого завернутый в бумагу пирог. Бутылку и пирог он поставил на стол, а рядом положил наполовину использованную рабочую карточку вольнонаемного – талоны на сахар и масло. После этого он крепко потряс мою руку обеими руками.

– С праздником, Сергей! От души желаю, чтоб на двадцать восьмом году революции ты наконец получил свободу. Следующий Октябрь встретим у меня дома. Мы с женой отоварили по литру две бутылки шампанского, так что эту можешь спокойно... А пирог жена испекла для тебя, вы незнакомы, но это ничего, я ей говорил о тебе – видишь, тонкий, чтобы незаметно в кармане. Ну, я пойду, дома заждались, я ведь полтора часа после заседания переждал в кабинете, пока уберутся. Народ всякий, сам понимаешь.

– Возьмите у меня деньги, – сказал я, доставая кошелек.

Он с укором посмотрел на меня.

– Зачем ты меня обижаешь? Я же от души! Жена тоже передает привет. Я вас потом познакомлю, она такая сердечная!.. Ну извини, я пошел.

Он с осторожной торопливостью спустился по темной лестнице, а я возвратился в свой кабинетик. Прежде всего я выставил на холод бутылку шампанского, потом вызвал вахту лагеря. По телефону не видно, заключенный ты или «вольняшка», и мы этим временами пользовались. Я постарался, чтоб мой высокий, «неубедительный», как утверждали приятели, голос звучал на этот раз медленно и низко – охрана, как и большинство людей на земле, уважала басы, а не тенора.

– Старший дежурный по вахте старшина Семенов слушает, – отрапортовал в трубке быстрый голос. Сразу было понятно – служака, молодой, всеми силами выставляющийся парень.

– Кто, Семенов? – прорычал я, – Ага, Семенов! Значит так, Семенов, пошлешь немедленно стрелочка в пятнадцатый барак и извлеки оттуда сукина сына Никитина, механика плавильного цеха. На ватерjackете авария, надо его сюда. Никитина знаешь, Семенов?

– Так точно, товарищ начальник! – отбарабанил старший дежурный. – Никитина знаю. Сам

пойду для верности. А куда доставить зека Никитина?

– Куда? Мда... надо подумать. Я то ухожу домой, гости ждут. Вот что, Семенов. Доставишь зека Никитина в лабораторию теплоконтроля и сдай под расписку начальнику лаборатории. За срочность доставки отвечаешь лично. Ясно?

– Ясно, товарищ начальник! Простите, товарищ начальник, с кем я разговариваю?

– Не ожидал, Семенов, – прохрипел я утробно. – Кого-кого, а меня ты должен узнавать по голосу. Фамилию-то я могу назвать всякую – соображаешь?

– Правильно, товарищ начальник! Сообразил! Будет исполнено, товарищ начальник!

Я отсмеялся и посмотрел, готова ли картошка. От сухой картошки шли свежие запахи. Она булькала и разваривалась, готовясь превратиться в пюре. Я присел около плитки на табуретку и, помешивая варево, задумался. Я размышлял о себе, о Славе, о Подрубаеве, об убежавших в страхе Вале и Зине, о незнакомой сердечной женщине, испекшей мне пирог, – о всем нашем странном времени. Передо мной одно за другим возникали лица людей, проносились темные фигуры – я пытался уловить в их облике смысл эпохи, ее глубоко запрятанную, невидимую с поверхности суть. Но эпоха не походила на отдельных людей, даже миллионы лиц и фигур не исчерпывали ее. Надо было разбираться не только в облике и поступках, но и в тайных мыслях и чувствах всех этих людей, а я не мог разобраться в самом себе – где мне поднять такую задачу? Помню, что некоторое время меня занимал вопрос, кто кого больше испугался, когда Подрубаев очутился лицом к лицу с девушками – они его или он их? Потом я решил, что больше всех испугался я, и покончил на этом бесцельные размышления.

На лестнице загрохотали шаги двух человек. В лабораторию ввалился покрытый снегом, совершенно ошалевший Слава. За ним, не отпуская его дальше чем на шаг, двигался невысокий, востроносый стрелок с винтовкой.

– Вы будете начальник теплоконтроля? – спросил он.

– Я. В чем дело?

– Приказано вручить вам под расписку зека Никитина по случаю аварии на плавильной печи.

– Понятно. Присядьте, пока я напишу расписку. Слава с тревогой схватил меня за руку.

– Какая авария? Где? Кессоны прогорели, что ли? Я должен немедленно бежать на ватержакет...

Я сделал знак глазами, чтоб он больше не смел меня расспрашивать. С этой минуты Слава был уверен, что случилось несчастье, о котором при постороннем нельзя и упоминать. Я еще подлил масла в огонь, бушевавший у него в груди.

– Успокойтесь, Никитин! – сказал я строго. – Авария такого сорта, что придется возиться всю ночь. Раньше отпустим конвой, а потом займемся ею. Ваша фамилия, старшина?

– Семенов, – стрелок с жадностью втянул в себя запах, струившийся из консервной банки на плитке. – Повезло вам – картошку достали...

– Заключением всегда везет, разве вы не знали? – сказал я, вручая ему расписку. – Как погода на дворе Семенов?

– Дует пурга-матушка! И морозец градусов тридцать. Теперь мне топать обратно два километра. Желаю успеха в ликвидации аварии. В такой день авария – ой, нехорошо... Начальство сердилось по телефону, просто страх!..

– Минуточку, старшина! – Я вынес из своей комнаты бутылку разбавленного спирта, три стакана и тушенку. – Заправься на дорогу!

Мы подняли стаканы и чокнулись.

– За здоровье Октября! – сказал стрелок и набросился на еду. – Чтобы вам свободу поскорее, ребята!

Когда он ушел, Слава, до того старавшийся сохранять спокойствие, бешено сорвался с места:

– Совесть у тебя есть? Что случилось? Я позвоню в плавильный цех.

– Возьми стаканы и спирт и перенеси их в мою комнату, – ответил я. – Это единственное, что от тебя требуется. Остальное я сделаю сам.

– Не шути! Я чуть с ума не сошел, пока добирались. Хотел прямо в цех, стрелочек заупрямился – нет, только к тебе. Пойми же, меня с нар подняли, я ничего не знаю! Так есть авария или нет на ватержакете? Болван, чего ты молчишь?

Я сел у стола и важно вытянул ноги.

– Не вижу почтения, Слава. Не забывай, что я написал на тебя расписку – до утреннего развода ты у меня в руках. Короче, болван отставляется. С ватержакетом ничего не произошло. А теперь открой форточку и достань бутылку шампанского!

### **«Ноги» для бесконвойного хождения**

В 1943 году в Норильский комбинат прилетел новый главный инженер – Виктор Борисович Шевченко. А так как в это время начальник комбината Александр Алексеевич Панюков находился, по случаю болезни, в длительном отпуске на «материке», то Шевченко сразу уселся в оба верховных комбинатских кресла – начальника и главного инженера.

Появление нового руководителя было ознаменовано собранием в ДИТРе – доме инженерно-технических работников – местных начальников всех рангов и калибров. На этом собрании Шевченко произнес свою тронную речь. О том, как происходила встреча главного начальника с подчиненным ему начальством, нам с воодушевлением поведал главный энергетик Большого металлургического завода.

– БМЗ – Сергей Яковлевич Сорокин, присутствовавший на собрании.

– Ребята, он невысок, полный, лысый и вообще – полковник, – рассказывал Сорокин в своем кабинете группе самых близких своих зеков – мне, Василию Лопатинскому, Мстиславу Никитину, Павлу Кирсанову. – А шинель у него, ребята, я посмотрел, обтрепанная, не то с чужого плеча, не то от рождения второго срока. И пуговица одна повисла, нитка длинная, не сегодня завтра оборвется. Еще не видал таких несолидных полковников. Нашим орлам из третьего отдела, ну, Племянникову или Двину из УРЧ лагеря, не говорю о начальнике лагеря Волохове, он ни в подметки... А что говорил! Что говорил!

– Ха, полковник! – легкомысленно высказался Кирсанов. – И генералов видали на этой должности Панюков – генерал-майор, наш бывший Авраамий Завенягин генерал-лейтенант был, теперь, наверное генерал-полковник. Простым полковникам Норильский комбинат не под силу.

– А что он все-таки говорил? – поинтересовался Никитин.

– Вот я и говорю – что говорил! Непостижимо, одно слово. Только вот что, ребята, вы у меня контрики... Так чтоб на сторону – ни звука. Лишь для внут-ренного употребления.

Для внутреннего употребления у нас был спирт который, кстати, для моей лаборатории в количестве от трех до пяти килограммов в месяц – как когда – визировал тот же Сорокин. Но мы, разумеется, дали слово быть немее могил.

– Он бывал у Лаврентия Павловича Берия, – продолжал Сорокин выбалтывать служебные тайны своим приближенным зекам. – Встреч с Завенягиным – бессчетно! И пообещал товарищу Сталину, что увеличит в этом году выдачу никеля на двадцать процентов. В момент, мол, когда погнали немцев от Сталинграда, истинное преступление, если металлурги сорвут производство танковой брони, а без никеля какая же броня? Вот такая была речь, ребята.

– Крепенько, – неопределенно высказался осторожный Лопатинский, по профессии бухгалтер, а не металлург, но разбиравшийся в производстве никеля глубже иных молодых специалистов.

– Внушительно! – поддержал Кирсанов, старший мастер электропечей. – Электропечи справятся, если не подведут ватержакеты.

– О чем и говорю! – Сорокин наконец спохватился, что пора придавать почти товарищеской беседе видимость делового обсуждения. – Все упирается в ватержакеты. Мстислав Иванович, вытянет плавильный цех увеличение на двадцать процентов? Филатов сказал, что вытянет, он металлург хороший...

– Вздор! – отрезал Никитин, старший механик плавильного цеха. Он знал свои ватержакеты гораздо лучше, чем самого себя. От плавильных агрегатов он никогда не ожидал ничего непредвиденного, а как сам поступит в следующую минуту, не был способен предугадать.

– В каком смысле – вздор?

– В самом обыкновенном. Чепуха! – Никитин обычно не затруднял себя техническим обоснованием своих производственных решений. Зато и не ошибался в них. Он изрекал, а не доказывал, но изрекал точно.

– А вы как думаете? – обратился ко мне Сорокин.

– Согласен со Славой. Ватержакеты работают на пределе. Чтобы выплавить большие руды, нужно вдвухать в печи больше воздуха, а откуда его взять?

– Учтено! – быстро сказал Сорокин, – На самолетах везут новую воздуходувку. Шевченко и об этом говорил. Она даст прибавку воздуха даже на тридцать, а не на двадцать процентов. Он все предусмотрел.

– Ничего полковник не предусмотрел, Сергей Яковлевич! На ватержакеты воинские приказы не действуют. Скорость воздуха в трубе около пятидесяти метров в секунду. И в черную пургу такого урагана не бывает. И соответственно – жуткое сопротивление в трубах, а оно пропорционально квадрату скорости, вы сами это знаете. Поставите новую воздуходувку, увеличите расход энергии, но добавки воздуха не получите – все съест увеличившееся сопротивление в воздухопроводах. Новая воздуходувка будет забивать старые, а не усиливать их.

– Положеньице! – бормотал огорченный Сорокин. – Завтра Шевченко созывает совещание металлургов и электриков. Увеличение электроэнергии мы ему пообещаем, а подачу воздуха? Воздуходувная станция числится за мной. Что я ему скажу?

– А вот так и скажи, как объясняет Сергей, – немедленно откликнулся Никитин. – Так, мол, и так, полковник, рискованное дали обещание. Одобрить вашу опрометчивость не могу, ничего не выйдет с увеличением никеля. Плавильные агрегаты покорны инженерным расчетам, а не воинским приказам – точные у Сергея слова, их и повтори вслух.

– Ну, ты! – окрысился Сорокин. – Чтобы такое при всех! В вашу отпетую компанию не собираюсь!

Никитин ухмылялся, мы были спокойны. Мы знали, что Сорокин к дельным работникам, вольные они или заключенные, относится одинаково хорошо, а в интимных разговорах иногда удивлялся, почему нас посадили, а он уцелел, а ведь могли и его, раба божьего, за то же «без никакой вины» посадить. Он почти с отчаянием закончил:

– Наговорили! Одна надежда – не спросит меня полковник. Да я и не металлург, а энергетик. Пусть за никель отвечают Белов с Филатовым.

Весь вечер мы в бараке перетрепывали планы нового начальника. И удивлялись, как бесцеремонно обманывают самого Сталина нереальными обещаниями. И все согласились, что если бы Шевченко был из гражданских, то его за беспардонное вранье правительству вскорости бы посадили, но он полковник НКВД, а НКВД самое дорогое Сталину учреждение вывернется.

А в середине следующего дня ко мне прибежал курьер и срочно вызвал к начальнику БМЗ Белову.

Александр Романович Белов сердито прохаживался по кабинету. И так посмотрел, что я сразу сообразил: случилось что-то очень уж плохое. Начальник БМЗ никогда не позволял себе грубости с заключенными. Но тон, каким он заговорил, свидетельствовал, что он еле удерживается от ругани.

– Да вы с ума сошли! – так начал он. – Кто вас тянул за язык? В вашем положении молчание не золото, а жизненная необходимость. И кому высказали свои сомнения? Сорокин же не понимает, когда и что принято говорить. Он сегодня брякнул: «Ничего не выйдет с прибавкой воздуха, так считает наш начальник теплоконтроля». Шевченко накинулся на Сорокина, потом и мне досталось. «Вредителю, диверсанту, шпиону верите, а мне нет! Кто у вас заправляет технологией, кого подпускаете к техническому руководству?» Вот такие формулировочки! А за формулировочками – выводы. Вы не дурак, должны понимать, что наделали.

– Что я говорил Сорокину – правда, Александр Романович, – попробовал я защититься.

Белов раздраженно махнул рукой:

– Правда или неправда – это не имеет значения сейчас. Идет война, правительству даны ответственные обещания, их надо выполнять, а не оспаривать. Вечно попадаете в глупейшие истории! Ведь предупреждал после недавней драки с вольнонаемным, что защищать больше не буду. Теперь вас обвинят во вражеской агитации, в попытке опорочить правительственное задание. Это не кулачная схватка, от таких обвинений не оправдаться!

Я молчал, морально убитый. Обвинение в драке с «вольняшкой» было неотвержаемо. Собственно, драки не было, была защита от грабежа. Лаборатории теплоконтроля выделили несколько американских нержавеющей трубок. Они были такие длинные, что в наших комнатах не помещались. Мы поставили их встojак на лестнице. Там они и находились с неделю, потом ко

мне ворвался мой мастер, недавно попавший в окружение на войне и награжденный после вызволения из него десятилетним сроком, и закричал, что нас грабят. Мастер был парень дюжий, мог легко справиться с двоими, но предпочел – еще не освоился с лагерными обычаями – не защищать кулаками свое добро. Я выбежал на лестницу. Дело было серьезное. На большом ватерjackете перегрузили руды, не хватило кокса и воздуха, печь начала остывать – грозило «закозление». От «козла» обычно избавлялись тем, что вдували водопроводными трубами кислород из баллонов в недра печи через нижнюю летку. Трубки сгорали, одна сменялась другой, но температура возрастала и образовавшийся было «козел» расплавлялся. На этот раз в плавильном цехе побоялись, что не хватит наличных труб, и послали рабочих на розыски новых. Кто-то вспомнил, что в теплоконтроле имеется партия труб высшего качества. Двоих рабочих немедленно отрядили за ними. Когда я выскочил на лестницу, трубы уже тащили вниз. Я ринулся выручать свое имущество. Один из похитителей убежал, другой, не выпуская добычу из рук, орал, что без труб не вернется, авария на печи нешуточная. Но позиция для борьбы у него была незавидная, он стоял на лестнице внизу, я – наверху. Я использовал свои тактические преимущества – трубы вырвал, ударив его концом одной из них. Он покатился вниз и, матерясь, удалился.

А к вечеру меня вызвали к Белову. У него сидел забинтованный рабочий. На столе лежала справка из санчасти, что у потерпевшего следы избиения железным предметом. Одновременно выяснилось два важных фактора – авария на ватерjackете ликвидирована и без моих труб, а похититель их вольнонаемный рабочий подал заявление, что подвергся зверскому нападению со стороны заключенного, когда принимал срочные меры к ликвидации аварии.

Александр Романович молча выслушал мое объяснение, потом обратился к рабочему:

– Сними повязки и покажи, как избили.

Тот поспешно распеленал лицо. Одна щека превратилась в сплошной не то синяк, не то «багряк», глаз над «багряком» внушительно заплыл. Белов набросился на меня:

– Безобразие – по одной щеке били! В следующий раз, когда будут грабить импортное оборудование бейте по всему лицу. Неплохо и руки покалечить.

А ошеломленному рабочему приказал:– Арестовывать за грабеж не буду, а попадешься еще раз, сниму броню – и на фронт!

Когда рабочий ушел, Белов рассмеялся:

– На этот раз дешево отделались! Но могло быть и хуже, если бы аварию сразу не преодолели. Оперуполномоченный Зеленский уже звонил – не подходит ли случай под террористический акт заключенного против вольного или хотя бы под саботаж ликвидации аварии? Я ответил, что подходит лишь под попытку вредительского использования ценнейшего оборудования и защиту от такого вредительства. Он вас не терпит, Зеленский. Будьте осторожны. В другой раз совершите глупость, могу и не суметь защитить.

Вот об этом случае и напоминал Белов. Он продолжал:

– Я сказал Виктору Борисовичу, что вы неплохой работник, на заводе в преступлениях не замечены. Но Шевченко и слушать не захотел, так вы его рассердили. В четыре часа он вызовет вас к телефону для объяснений. Будете говорить по моему аппарату. Я буду здесь же, но меня не будет. Включу селектор и послушаю ваш разговор, ни словом не намекайте, что я поблизости. Пока подождите в приемной, без пяти минут четыре входите. Секретарю скажите, чтобы никого к нам не пускала.

Даже перед судом в Лефортовской тюрьме в апреле 1937 года я так не нервничал, как перед разговором с Шевченко. Тогда, шесть лет назад, я еще наивно верил в правосудие. Шесть лет тюрьмы и лагеря вытравили из меня «гнило-либеральные» иллюзии объективности любых судилищ. Вероятно, я был очень бледен – Белов посмотрел на меня с сочувствием, показал на стул, придвинул ко мне телефон, а сам откинулся на спинку своего кресла.

Ровно в четыре из селектора вынесся густой директивный басок:

– Большой металлургический, мне нужен начальник теплоконтроля.

Я поспешно ответил в трубку:

– Слушаю вас, гражданин начальник комбината.

И сейчас же начался разнос. Шевченко не говорил, а орал:

– Слушаете? Это я хочу услышать, с каким умыслом вы распространяете вздор о печак!

Такую чепуху, такую ерунду, такую нелепость! Мы мобилизуем трудовой коллектив на помощь фронту, а вы вредными слушками всех дезорганизуете. И находятся пустомели, что верят вашим преступным выдумкам! Отвечайте – с какой целью ведете подозрительную агитацию?

Я молчал. Много лет прошло с того дня, но и сегодня с жуткой отчетливостью помню свое тогдашнее состояние. Меня заполонило отчаяние – это самое точное слово. Я понял, что оправдания бесцельны – полковник госбезопасности, возведенный в главные инженеры комбината цветной металлургии, не захочет слушать ни объяснений, ни оправданий. Я не сомневался, что где-то неподалеку старший лейтенант той же госбезопасности Зеленский жадно прислушивается по своему селектору к нашему разговору и с привычной легкостью переводит ругательства Шевченко в пункты всеохватной 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР. Я был обречен. Я молчал.

В голосе Шевченко раздражение смешалось с гневом:

– Что там у вас – телефон сломался? Почему молчите? Еще раз спрашиваю – почему не отвечаете?

С тем же ощущением обреченности я ринулся в ответ как в пучину – вниз головой.

– Я не отвечаю, гражданин начальник комбината, потому что не понял ваших слов.

– Русского языка не знаете?

– Русский язык знаю, но термины, которые вы употребляете, мне незнакомы. В технике их не используют.

– Какие незнакомые термины я употребил? Называйте!

– Да почти все, что вы сказали, гражданин начальник комбината. Вздор, чепуха, ерунда, преступный умысел, подозрительная агитация, пустомели... Ни в одном учебнике металлургических процессов я не встречал таких названий. Я ведь думал, что вы будете меня расспрашивать о техническом состоянии воздухопроводов...

На несколько секунд замолчал и Шевченко. Я бросил взгляд на Белова. Он наслаждался разговором. Его так восхитил мой отпор, что он уже почти примирился с моим неизбежным арестом. Я понимал его. На заводе я был все же нужен, и ему не хотелось терять толкового работника. Дерзкий разговор делал невозможным сохранение меня в лаборатории. Но что я напоследок хоть «плюну в кастрюлю с борщом», смягчало для него неизбежные оргвыводы.

Но разговор вдруг принял неожиданный и для меня, и для Белова поворот. В голосе Шевченко теперь слышались не раздражение и гнев, а насмешка. Он собирался – во всеуслышание селектора – поиздеваться надо мной.

– Хотите поговорить о технике, а не о преступных помыслах? Хорошо, пусть техника. Отвечайте сразу – без подготовки и без подсказки. Там у вас, наверно, кто-нибудь рядом сидит, так пусть он помалкивает. Чем измеряете скорость воздуха?

– Приборами Пито и Прантля, – ответил я быстро.

– Откуда получили Пито и Прантля?

– Сам изготовил.

– По какому методу делали измерения и расчеты?

– По методике германского общества инженеров.

– Приведение к нормальным условиям было?

– Пересчитали на нуль градусов и давление в одну атмосферу.

– Измерительный аппарат? Как его очищаете? Рабочая жидкость?

– Микроманометр Креля. Очищали кислотой с хромпиком, рабочая жидкость спирт-ректификат. Разброс показаний могли подкорректировать методом наименьших квадратов, но не было нужды, разбросы несущественны.

– И получили пятьдесят метров для скорости воздуха?

– Так точно, гражданин начальник комбината. Пятьдесят метров в секунду.

– Чудовищно! Невероятно и недопустимо! Термины нетехнические, но иногда ругань – самая правильная терминология. Теперь слушайте меня внимательно. Немедленно повторите измерения скорости воздуха в десяти точках воздухопроводов. Продолжительность измерений – шесть часов при нормальном режиме плавильных печей, показания снимаются через каждые десять минут. Данные наносите таблицей на ватман с чертежом воздухопроводов и мест замеров, пересчитываете на нормальные условия и лично доставляете мне в десять утра в Управление

комбината. Задание ясно?

– Задание ясно, но полностью выполнить не смогу.

– Что сможете и чего не сможете?

– Измерения и пересчеты сделаю, на ватман схему воздухопроводов нанесу. Но лично доставить не смогу. У меня нет «ног».

Впервые в голосе Шевченко послышалось удивление:

– Вы калека? Мне об этом не говорили.

– Только в косвенном смысле, гражданин начальник комбината. Я подконвойный. Пропуска для выхода с промплощадки в город не имею.

– Хорошо. В половине десятого к вам придет курьер и заберет материалы. И передаст вам для прочтения мою книжку по контролю металлургических процессов. Мою в смысле написанную мной самим. Довожу до вашего сведения, что моя инженерная специальность технологические режимы в металлургии. Ученая степень кандидат технических наук. Думаю, с инженером Шевченко вам будет легче использовать свои любимые технические термины, чем с полковником Шевченко. Действуйте.

Селектор замолк. Лицо Белова сияло. Я медленно отходил от трудного разговора.

– Как вы его! Нет, как вы его! – в восторге твердил Белов. – И не ожидал от вас такой смелости, и Шевченко не ожидал. Он ведь пригрозил, что арестует вас за подрыв правительственных заданий. Я вам этого не сказал, чтобы сразу не ударились в панику. Теперь он вам плохого не сделает, ведь многие включили селектор и слушали, как вы его отчитывали. Нет, как вы его поставили на место!

– Александр Романович, – сказал я с упреком, – почему вы не сообщили, что он специалист по контролю металлургических процессов? Совсем ведь иной разговор мог получиться.

– Сам не знал, что он пишет книги. И никто не знал. Он впервые это высказал. А насчет разговора не беспокойтесь. Разговор – лучше и не пожелать! Теперь меня и другие поддержат, если понадобится вас защищать.

В эту ночь из моей лаборатории никто не ушел. Все лаборанты – в основном вольнонаемные девчонки и пареньки из сибирских городков и сел – остались, не спрашивая времени. Все понимали, что разразился аврал, надо каждому постараться. У меня были свои правила, приводившие в ярость нормировщиков и кадровиков, если узнавали о них, – но кадровики не узнавали, среди трудяг лаборатории доносчики не уживались. Суть правил была проста: работать, когда работа, и не притворяться работающим, когда работы нет. Это означало, что в дни авралов «вкалывают до опупения», а в незагруженные дни можно и прогуляться в тундру за ягодами, и возвратиться раньше смены в общежитие для вольных – или лагерь для зеков – лишь не попадаясь на глаза административным «придуркам»: пойманных на прогулах строго наказывали. Мой тогдашний помощник – и сердечный друг на всю нашу остальную жизнь – Федор Витенз показывал в эту ночь, что способен не только неумоимо ходить вдоль воздухопроводов, но и бодро бегать по ним, – а трубы из воздуходувной станции в плавильный цех поднимались в иных местах над землей на высоту двухэтажного дома. О мастере Мише Вексмане и говорить не приходилось. Подвижный и почти такой же худой, как и я тогда, он по любому воздухопроводу мчался, не уступая мне ни метра форы. А когда основные измерения выполнили и лаборанты разошлись, мы с Федей завершили задание Шевченко: я рассчитывал, у меня это получалось быстрее, он чертил, чертежник он был ровно на два порядка выше меня. Всю ночь до утра меня грызли сомнения: может, раньше я ошибался и воздух мчится по трубам вовсе не с возвещенной ураганной скоростью. Утром я успокоился, ошибки не было. Анализ измерений показывал, что скорость воздуха именно такая, какую я назвал Сорокину: 51 метр в секунду.

В предписанный час в лабораторию явился посланец Шевченко, вручил мне небольшую брошюру, забрал чертежи и вычисления и предупредил: в двенадцать часов я должен ждать телефонного вызова в кабинете Белова. Я показал Белову результаты ночных наблюдений и сел в приемной читать книжку Шевченко. Мной запоздало овладевало смущение. Я потребовал от Шевченко технического разговора, я думал хоть немного защититься от опасных политических обвинений языком техники. Но Шевченко знал технический язык гораздо лучше меня. Проработав на производстве несколько лет, я был в металлургии не так начитан, как наслышан и «навиден», а он инженерно в ней разбирался. И посадить меня в лужу на этой, глубоко ему ведомой почве

металлургических закономерностей он мог куда проще и основательней, чем гневаясь и ругаясь. Так это мне увиделось, когда я перелистывал в уголке приемной книжку «Контроль металлургических процессов».

Я уже подходил к правде, но это была еще не полная правда.

– Срочно к Александру Романовичу, – сказала секретарша Белова.

Белов разговаривал по телефону с Шевченко. По довольному лицу главного металлурга я понял, что нового разноса не будет.

– Да, конечно, так я и говорил вам, Виктор Борисович. – Белов глазами показал мне на стул.

– Он уже здесь. Передаю трубку.

В трубке загудел голос Шевченко:

– Ваш отчет – передо мной. Отношение к нему двойственное. С одной стороны – отлично, с другой – безобразие! Словечки нетехнические, но других подобрать не могу.

Я осторожно поинтересовался:

– Что именно отлично, а что – безобразие, гражданин начальник комбината?

– Отлична проделанная вами работа. А безобразие – все, что эта работа показывает. В моей книжке вы можете прочесть, что скорость вдуваемого в печи воздуха не должна превышать четырнадцати-пятнадцати метров в секунду, а у вас она свыше пятидесяти. И оспорить не могу, ваши расчеты сам проверил. В этих условиях монтаж новой воздуходувки эффекта не даст. Все съест возросшее сопротивление в трубах, то самое, что вы объяснили Сорокину и за что я собирался вас наказать. Но не радуйтесь, что наказания избежали. Всех нас теперь надо карать за техническую безалаберность. Вы получите новое задание.

– Готов, гражданин начальник...

– Виктор Борисович.

– Готов, Виктор Борисович.

– К вам сегодня придут проектировщики-металлурги. Я приказал выделить для них специальный конвой на промплощадку. Покажите им результаты измерений, ответьте на вопросы. Пусть пораскинут мозгами, кто и как допустил до нынешнего нетерпимого состояния. А завтра в десять утра явитесь на Малый металлургический завод. Я буду у начальника ММЗ Алексея Борисовича Логинова. Вы Логинова знаете?

– Немного. Налаживал на ММЗ теплоконтроль, газовый анализ.

– У меня все. У вас?

– У меня – ничего, Виктор Борисович, – сказал я и положил замолкнувшую трубку.

– Поздравляю! – сказал радостно Белов, – До этой минуты тревога все же была. Новая метла чисто метет, а эта – Виктор Борисович – не метет, а сметает. Строителям уже влетело по шее. Горнякам, особенно рударям, грозил понижениями в должности, даже арестами. Особенно коксохимикам попало. Кокс у них ведь какой: во-первых, дерьмо, во-вторых – мало. К металлургам Шевченко пока помягче. Теперь торопитесь к себе, проектировщиков уже доставили на промплощадку.

В лаборатории прохаживались два металлурга из проектной конторы: полный неторопливый Бунич (не помню ни имени, ни отчества) и худощавый, очень подвижный Александр Григорьевич Гамазин. Гамазин тыкал рукой в самописцы, автоматические датчики, изодромные регуляторы, Бунич обводил уставленные приборами стены равнодушными выпуклыми глазами.

– Устроился! – похвалил Гамазин. – Удельный князь, не меньше.

– Немного есть, – скромно согласился я, – С чем пожаловали, бояре?

– Нет, это вы говорите, что за катастрофа грянула? – потребовал Бунич. – Сколько лет получали благодарности за проект БМЗ. Вдруг – трах-бах, ох, ах – недоработка, ошибка, провал! И обвиняют, что злые пары из вашей кухни.

– Не всякому обвинению верь! – туманно высказался я.

– У меня принцип: никаким обвинениям не верю. Нет ничего проще и лживее обвинений, – сказал Гамазин. – Итак, все тот же вопрос – что? И доказательства этого «что»? На меньшее не соглашусь.

Я провел их в свою комнатку и показал ночные измерения. Гамазин присвистнул. Он соображал легко, был скор и смел в своих решениях – инженерных, естественно. В доарестантской жизни он трудился на Волховском алюминиевом заводе, участвовал в проектировании и освоении

Запорожского алюминиевого, а в Норильске переквалифицировался из алюминщика в никельщика – и уже считался специалистом по никелю. Мне он нравился и как человек. Спустя двадцать лет, трудясь над фантастическим романом «Люди как боги», я вспомнил Гамазина и назвал главного героя Эли Гамазиным: в фамилии слышалось что-то нездешнее.

– Все ясно, княже! – воскликнул Гамазин. – Какой у вас диаметр воздухопроводов? Шестьсот миллиметров? Ха, чуть пошире канализационной трубы? А дуете на три ватержакета? Не вижу пока ничего ненормального. Ни один закон техники не опровергнут. Загадок нет. Вопрос исчерпан.

– Только ставится, а не исчерпан, – возразил я. – И загадка есть: почему вообще создалась такая ненормальность? В книжке Шевченко, вот в этой, он мне сегодня прислал, сказано, что выше пятнадцати метров в секунду скорости воздуха не должны подниматься. Как же возникло подобное нарушение технологии?

– А на это пусть отвечает главный проектировщик БМЗ. Бунич, давай! «Что», нам теперь ясно. Отвечай, почему появилось это «что»!

Бунич размышлял. Он всегда казался погруженным в размышления – даже когда ни о чем не думал. Он медленно переводил очень темные, очень выпуклые, очень близорукие глаза с одного на другого. У него неслышно шевелились губы. Шевеление губ всегда предшествовало движению языка. Потом он заговорил.

– Кто тут произносил странный термин «загадка»? Никаких загадок не было и нет. Все ясно, как свежеиспеченный блин на вычищенной сковородке. Да, он проектировал в последний довоенный год БМЗ. И хорошо спроектировал – в Москве одобрили. В проекте ненормальностей не было. Единственная ненормальность случилась уже после утверждения проекта. Проект полностью не осуществили, вот и вся разгадка. Как мыслилась переработка руды в проекте? Отражательная печь плавит руду на штейн, из штейна в конвертерах выжигается железо, а в ватержакетах очищенный от железа фاینштейн разделяется на никель и медь, Классическая технология, идеальная цепочка. А где эта цепочка реально? Нет отражательной печи, ее заменили большим ватержакетом. И в нем теперь не разделительная, а рудная плавка.

– Побойся бога, Бунич! – закричал Гамазин. – Впрочем, ты уже в трех поколениях неверующий, ты с богом не считаешься. Но ты же сам согласился на изменение проекта. Что не построили отражательной печи – твоя инициатива.

– Моя, но почему? Выяснили, что руда плавится легче, чем предполагали, и можно обойтись без отражательной печи. Огромное преимущество перед проектом! Но и отклонение от нормы. Ибо если запроектировали хорошо, а получилось лучше, то это тоже ненормальность. Радостная, но ненормальность! А заменив дорогую отражательную печь уже построенным ватержакетом, позабыли, что на разделительную плавку требуется меньше воздуха и что воздухопроводки рассчитаны именно на нее. А тут – война! Не до переделок воздухопроводов, давай скорее никель! До поры ненормальности не замечали: воздуху хватало.

Гамазин радостно хлопнул рукой по столу.

– Короче, головокружение от успехов! А после головокружения – головная боль: надо ликвидировать искажение достижений. Бунич, ходом к Белову!

Белов, порадовавшись успешному выяснению загадки, вынул из сейфа две пачки махорки – еще довоенной из Кременчуга – и вручил их проектировщикам. Оба, хотя и не курящие, с благодарностью приняли роскошный дар – даже сибирская «махра» ходила золотой лагерной валютой, о кременчугской и говорить не приходилось: Украина второй год лежала под немецкой пятой, об украинской махорке вспоминали со вздохом.

Утром следующего дня я направился на Малый завод. От БМЗ до ММЗ было с полкилометра, но дорога тянулась неровная, петляла меж валунами, проваливалась в рытвины, вспучивалась колдобинами. Был и другой путь – по трубопроводам. Трубы опускались местами до самой земли, местами вздымались над долинками и провалами. Укутанные в асбоцементные плиты, стянутые стальными обручами, они были много удобней земных дорог – для крепких ног, естественно. Я по этим трубопроводам и шествовал, и бегал, только в пургу побаивался – при сильном ветре иных и на земле сносило, а на трубе никому не устоять. В то утро погода была отличная, на высоте бежалось хорошо И я бежал с воодушевлением.

В обширном кабинете начальника ММЗ в 1939 году я имел свой стол. Я тогда занимался

исследовательскими балансовыми плавками, результаты которых Бунич и положил в фундамент проекта БМЗ. И вошел в этот хорошо знакомый кабинет с чувством, что посещаю родную квартиру.

Но не было ни моего маленького стола у правой стены, ни левого большого стола главного металлурга комбината, тогда им был Федор Аркадьевич Харин. Остался лишь стол бывшего начальника ММЗ Ромашова. Их давно уже не было в Норильске, обоих еще перед войной арестовали за что-то реально случившееся или нехитро придуманное – оба, наверно, бедовали в каком-нибудь из лагерей. А за столом сидели, один рядом с другим, один удивительно похожий на другого, два плотных лысых человека – и лишь приглядевшись, можно было разобраться, что один помоложе и покрасивей другого. Помоложе и покрасивей был Логинов. Вторым был Шевченко.

– Садитесь! – приказал Шевченко, показывая рукой на стул, и обратился к Логинову: – Хочу тебя познакомить, Алексей Борисович, с начальником тепло-контроля на БМЗ. Я думал его наказать за то, что публично опорочивает мероприятия по выдаче никеля, обещанные правительству. А он сам задал мне трепку, да еще по селектору! Не хочу, говорит, с вами разговаривать, пока не научитесь техническому языку. Жуткая личность! Ты его бойся, он и тебе выдаст не меньше, чем мне.

Шевченко с удовольствием вышучивал наш телефонный разговор. Логинов улыбался. Я вымучил из себя какую-то приличествующую улыбенку. Логинов сказал:

– С Сергеем Александровичем знакомы. Значит, такое же обследование у меня, что проделано на БМЗ?

– Такое же, – подтвердил Шевченко. – И у тебя, возможно, не все в ажуре. – И он опять заговорил со мной – уже серьезно:– Вы, конечно, не знали, что та скорость воздуха, которую определили в воздухопроводах, абсолютно недопустима. Но что ее уже нельзя превзойти, понимали, и за это вам спасибо. Но главное не в том, что вскрыты технологические безобразия. Открывается и путь к повышению производительности плавильного цеха, о котором еще недавно не догадывались. К нам самолетами уже доставляются части обещанной воздуходувки. Она эффекта не даст, это вы Сорокину сказали верно. Единственный выход – строить новые воздухопроводы. На днях я улетаю в Москву просить металл для дополнительной нитки труб. Но я вызвал вас не для того, чтобы поделиться этими, в принципе секретными сведениями. Хочу знать, чем сам могу помочь вам? О чем бы хотели попросить?

Я не хотел ничего выпрашивать. В бытовых мелочах я не нуждался, а свободы, единственного, чего мне не хватало, Шевченко подарить не мог. Он вглядывался в меня, он понимал, почему я молчу.

– Да, конечно, выпустить вас на волю я не могу, – заговорил он снова. – Но о сокращении срока заключения похлопочу, это в моих силах. Вы жаловались, что без «ног». Сегодня вас сфотографируют на пропуск бесконвойного хождения по городу. Больше не потребуется посылать к вам, как к владетельному монарху, специальных курьеров или выделять вооруженный конвой, чтобы лично увидеть вас и пожать руку.

Он подкрепил эти слова тем, что встал и пожал мне руку. Я был бесконечно смущен. Обратившись в свою лабораторию я бежал по тому же трубопроводу. А потом удивлялся, как не сверзился с высоты – от волнения пошатывался на узких трубах, как опоенный брагой. Вскоре Белов порадовал меня, что готовится список на снижение сроков заключения особо отмеченным за трудовое усердие заключенным. Мне намечается самая высокая льгота – три года «досрочки».

– Да зачем мне так много? – удивился я. До «звонка» к приходу списка мне останется не больше двух лет.

– Больше потребуем, охотней уважат. Виктор Борисович сказал – сделаем все, что в наших возможностях.

Он сильно преувеличивал свои возможности, Виктор Борисович Шевченко, полковник и ученый, главный инженер Норильского комбината, а в недалеком будущем генерал, доктор наук, членкор академии, один из руководителей наших ядерных исследований. Список лиц, удостоенных снижения сроков, был опубликован в следующем году. Мне, точно, хватило бы и двух лет «досрочки», чтобы сразу выйти на волю. Но и года не было. В радостном списке я не нашел своей фамилии. Спустя несколько лет, воспользовавшись знакомством с одной из

сотрудниц Управления Норильского ИТЛ, носившей форму армейского капитана, я узнал, что в списке, подписанном самим Шевченко, я точно стоял из первых. Но против моей фамилии было начертано синим карандашом: «Возр. Зел.».

Зеленского уже не было в Норильске. Возведенный к тому времени в майорское достоинство, он в конце сорок третьего года умчался в Киев – «фильтровать», как выразился однажды при мне начальник ГУЛГМП, генерал-майор Петр Андреевич Захаров, освобожденное от немецкого ига счастливое население украинской столицы.

Белов постарался ослабить удар оперуполномоченного Зеленского.

– Подготовили новый список на досрочное освобождение, – сообщил он. – Ограничились просьбой об одном годе. Вам этого хватит, а особого внимания к вам не демонстрируем, чтоб не раздражать лагерное начальство, вы у них не на лучшем счету. Лично прослежу, чтобы кто-нибудь не подпортил.

Белов обещание свое выполнил. В следующем списке на снижение сроков я значился в объеме одного года. Этого мне и вправду хватило. Вместо 6 июня 1946 года – по «звонку» – я вышел на волю 9 июля 1945 года.

Ни Шевченко, ни Белова в Норильске уже не было. Шевченко вне Норильска я больше не видел, а с Беловым потом пришлось неоднократно встречаться. Я работал над повестями о зарубежных и советских ядерщиках, а Белов, сдав многолетнее директорство на одном из крупнейших атомных заводов, взял на себя руководство Кольской атомной электростанцией – большего ему не позволяло здоровье. Он много помог мне – рассказами о деятелях атомной эпопеи, организацией знакомства с ними, описанием важных событий и этапов нашей ядерной промышленности.

До самой его – истинно безвременной – смерти нас связывала взаимная душевная теплота.

«Ноги», подаренные мне Шевченко, внесли сумятицу в мое тесно ограниченное внелагерное бытие. Мир, зажаты в нескольких стенах, внезапно расширился и переменился. Я ощущал себя зверем, вырвавшимся из клетки, – радостно и боязливо. Помню свой первый выход из зоны в город. Рука от волнения вспотела, пропуск стал горячим и влажным. Если бы вахтер взял его в руки, он удивился бы странному состоянию этой книжицы с моей фотографией в темном кительке. Но, даже не взглянув на меня и на пропуск, он только махнул рукой – проходи, не задерживайся. Вахтеры не сомневались, что конвойные к вахте не приближаются. И я зашагал за пределами зоны, один, без конвоя, как истинный «вольняшка» – во всяком случае, уже полувольный. И у меня было чувство, что совершаю что-то почти запретное и что поэтому все смотрят подозрительно. Я ловил брошенные на меня взгляды, сгибался от каждого слишком внимательного глаза. Я шел наугад – по улице Горной к вокзалу, к Угольному ручью, по улице Октябрьской через ручей Медвежий, по дамбе через озеро Долгое в Горстрой – будущий город. Я не знал, куда ведут меня ноги, а спрашивать опасался. Человек, не ведающий пути, мог показаться и беглецом. Я не хотел, чтобы меня задерживали и вели на допросы. Я только шагал по трем тогдашним улицам Норильска, из конца одной в конец другой, поворачивал со второй на первую, с первой на третью. Только восторженно шел и шел, все снова шел, и шел, и шел. Ни в магазины, ни в учреждения заглядывать я не осмеливался, минуло еще несколько дней, прежде чем я позволил себе такой отчаянный поступок – войти в магазин. Правда, мне и покупать было нечего, хоть деньги я имел, почти все, кроме мелочей и пустяков, выдавалось по карточкам. Но я столько лет не видел настоящих магазинов, что простое проникновение сквозь их двери представлялось желанной целью. И однажды, войдя в магазинчик, я что-то все-таки купил – не то расческу, не то зубную щетку.

У выхода меня перехватил знакомый – рабочий опытного цеха, бывший заключенный-бытовик, освободившийся еще до войны.

– Серега! – удивился он. – Вышла досрочка? Ну, поздравляю!

Я пробормотал что-то невразумительное, Он радостно продолжал:

– Столько не виделась, Сергей! Я на обогатительной, на войну не взяли, здесь нужен. Жену завел, сынок есть. Идем ко мне, я живу неподалеку, сам построил себе балок. Дворец! Комната, кухня, не поверишь. Жена обрадуется, это не сомневайся. Пошли, пошли. Чтобы освобождение твое не отпраздновать – да никогда!

Я объяснил, что до освобождения мне далеко, а бесконвойный пропуск не дает права ходить

к вольным в гости. И уже поздно, надо возвращаться – пропуск не суточный, а до ночи.

– Понимаю, – сказал он. – Сегодня отпущу, а в выходной приходи. Запиши адресок. Адрес я записал, но не помню, воспользовался ли приглашением.

Вскоре я обнаружил, что имеются маршруты приятней бесцельных блужданий по улицам. Норильск с юга заперт от остального мира тремя угрюмыми горами – Шмидтихой, чуть повыше 500 метров, Рудной и Барьерной, эти и пониже Шмидтихи, и не так массивны. В ущелье Шмидтихи и Рудной зарождается Угольный ручей и дальше пересекает западную часть поселка, постепенно превращаясь в дурно пахнущую клоаку от обилия притирающихся к нему домов и балков. Однажды мы снарядили химиков проверить минерализацию ручья при его впадении в озерко Четырехугольное – она по насыщенности солями превзошла морскую, а пахла куда хуже моря. Выходы на запад запирала продолговатая невысокая горюшка с точно характеризовавшим ее названием Зуб. Дальше за горами на юге и западе раскидывались, я потом в них проникал, небольшие долинки и плато – их покрывал кустарник и карликовые деревья. Но даже с бесконвойным пропуском я не осмеливался забираться в такие районы – слишком много колючих заборов пересекало путь, слишком много вахтеров интересовались, куда и для чего иду. «Куда», я всегда мог объяснить, но на «для чего» убедительных ответов не отыскивал: чистосердечное признание «на прогулку» звучало подозрительно.

Зато на север и восток от Норильска простиралась довольно далеко – до горных гряд Хараелаха и Путорана – гладкая лесистая равнина. Я еще не знал, что именно здесь пролегает один из мировых географических рубежей, – на запад от Норильска за Урал раскидывается великая тундра, а на восток, уже до Тихого океана, столь же великая тайга – грандиозная граница двух ландшафтов, перерубившая с юга на север Норильскую долинку. Но и не зная этого, я стремился туда, на север и на восток, в лиственничные и березовые лески – та сторона еще не была так опутана колючей проволокой, как юг и запад. И однажды летом 1944 года я забрался так далеко на восток, что уже не слышал гуды заводов и грохот автомашин.

Я поднялся на голый холмик, за много тысяч лет осатанелые пурги сдирали с него любое деревцо, пытавшееся выдраться из земли. Но весь он, этот круглый холмик, был окутан в густой и теплый мох. Белый жестковатый ягель перемежался с темно-зеленой шерсткой какой-то мягкой северной травки, а травку и ягель подпирали безмерно жизнелюбивый спорыш – я был знаком с ним на Черноморье, встретил как старого приятеля и в Заполярье. Я сел лицом на запад и осмотрелся. Впервые я обозревал Норильскую долину с высоты – она вся была передо мной. Позади был еще неведомый мне лес, впереди картинно раскидывался красочный пейзаж: Зуб, запирающий запад, справа здания города, слева обогатительная фабрика, Большой и Малый заводы, коксохим и кобальтовый, а по краям промплощадки квадраты лагерных отделений – четырехугольники белых барачков, сотни барачков... А над всем этим цивилизованным миром – бараками и продыmlенными цехами «Северной стройки коммунизма», как именовали Норильск в местной газете, – возвышались подпиравшие небо горы, три горных барьера, отрезавшие наше жилье от «материка» – массивная Шмидтиха, облезлая Рудная и островерхая Барьерная. Хоть и не на малом отдалении, но я увидел сбегающий с раздела Рудной и Барьерной ручеек, поэтически названный Медвежьим. И хоть этот ручей, сбегав с горы, еще тесней извивается по центру города, чем окраинный Угольный, но все же до самого озера Долгого несет относительно чистую воду – ее не пить, но и не зажимать носа. И я вспомнил, что верховья Медвежьего ручья пять лет назад, когда я терял силы на котлованах Metallургстроя, где теперь раскинулся БМЗ, представлялись мне границей достижимого мира, прекрасной границей, чистой, светлой и запретной. Я тогда много писал стихов, среди прочих о первой осени в Норильске были и такие:

Все глуше шум Медвежьего ручья,  
Все явственней пожухлых листьев лепет.  
И все проникновенней слышу я  
Земли и камня потаенный трепет.

Вникая в быстрый говорок берез,  
Следя гусей изломанную стаю,  
Я лом кладу украдкой на откос,

Бегу, хочу взлететь– и не взлетаю...

Я закрыл глаза. Мне было хорошо, впервые я ощутил себя вольным. «Ноги», лежавшие в кармане кителя, унесли меня в освобождение от людей. Так было недалеко от них и так хорошо без них! Я лег животом на холмик, обхватил его руками и целовал его шерстку, смесь ягеля, спорыша и какой-то нитяной травки, хватая ртом корешки и землю.

Много лет прошло с того дня, а мне все кажется, что ощущаю ртом горьковато-терпкий вкус набившихся в него камней, земли и листьев.

Блуждания за межами городских окраин стали важной частью моего бытия. В спокойные часы, когда не ожидалось чрезвычайностей в цехах я уходил в «служебную командировку», так это объявлялось требовавшим меня телефонным голосам. Это была и вправду служебная операция – я служил себе, «работал над собой», как принято было тогда говорить – истово и радостно утапывал валенками или тяжелыми американскими ботинками, выданными вместе с персональным кителем, то снег, то склизкую мшистую, валунистую тундру. В Норильске загородные прогулки у вольных не вошли в обычай. В этом городе неслужебное существование замыкалось в каменных стенах зданий либо в рваных досках и ржавой жести балков в городских «шанхях». Только мой добрый знакомый, физик Владимир Николаевич Глазанов, я это узнал позднее, использовал, как и я, подаренные ему пропускные «ноги» для прямой работы ногами в тундровом «Занорилье».

Выходы из города не всегда были бесцельны. Временами я превращал прогулку в географическое исследование. Во второй половине января на широте Норильска кончалась полярная ночь – солнце выглядывало на несколько минут над горизонтом. Но так происходило только теоретически. На практике солнце еще долго и глухо скрывали горы. Солнце внизу, под горизонтом, начинало в январе выдираться наверх – с востока на юг за спиной Барьерной, но так и не показавшись, уходило позади Рудной снова вниз, за горизонт – радовать края, не подозревавшие, что существует такое грозное время – полярная ночь... Юг, приходившийся на долинку между Рудной и Барьерной, был местечком, где солнце выше всего поднималось в небе, но только в начале февраля оно набирало силу высунуть сияющий ободочек в междугорье. А до этого с середины января солнце давало о себе знать заревом, вспыхивавшим в горной долинке ручья Ергалаха, текущего на юг между этими двумя горами. Сперва это было светлое пятнышко, оно виднелось лишь несколько минут. С каждым днем пятнышко расширялось, поднималось выше, делалось ярче. И в конце января каждый полдень горный юг озаряла феерия светопожара. Он шел от Барьерной к Рудной, золотые и малиновые струи вырывались из горных недр, образовывали сияющий полукруг – солнце предваряло свое появление красочной аурой, короной света и красок. Но сияние тускнело, аура стягивалась, в короне погасали ее сияющие лучи – солнце, так и не выбравшись наружу, снова погружалось вглубь. И так должно было продолжаться до второго февраля, этот день считался днем первого появления солнца над Норильском.

Мне всегда не хватает солнца. В древности солнцепоклонство было бы мне самой близкой религией. Много лет в январе я выходил наружу и любовался – с восхищением и тоской – попытками солнца выдраться из-под земли и уходил к себе считать дни до его появления. Бесконвойный пропуск дал возможность сократить ожидание. Я бы не простил себе, если бы не воспользовался такой возможностью. И во второй половине января 1945 года я вышел на тайное свидание с солнцем.

Я заранее рассчитал маршрут. Солнце возможно было увидеть, лишь отделившись на север от трехгорья – «большое видится на расстоянии», говорил я себе. Оно должно выскользнуть с западного склона Барьерной и, пересекая долину Медвежьего ручья, где пышно бушевал световорот, скрыться за восточным склоном Рудной. Надо забраться подальше на север и на запад, только там на несколько минут откроется солнце. На северо-западе раскинулось озеро Долгое, питавшее водой котлы ТЭЦ и охлаждавшее ее генераторы. За озером простиралось тундровое редколесье – даже невысокие лиственницы могли затенить обзор. Я направился к западной окраине озера, за насосную станцию ТЭЦ.

Здесь я выбрал возвышенное местечко, затянутое льдистой броней, и стал ждать. В долине Медвежьего ручья высветилась заря. На западе, севере, даже на востоке лежала лишь посеревшая полярная ночь – на небе тускло посверкивали звезды. А на юге расширилось пламенное

полукружие, оно оттесняло сумрак, бросая багровый отблеск на восточный склон Рудной. Багровое сияние превратилось в малиновое, накалилось до червонного золота – и вдруг из-за неожиданно потемневшей на фоне сияния Барьерной выскользнуло солнце. Я закричал, сорвал с себя шапку и подбросил ее вверх.

В первые секунды явления земле солнце было лишь узеньким ободочком, он быстро нарастал, становился сияющим сегментом, сегмент обратился в полусферу, полусфера выростала в диск. На озеро за мной, на серую землю по сторонам, на скалистые обрывы Зуба брызнуло сияние дня. Солнце вынеслось у западного склона Барьерной прямо из-под земли и, слегка поднимаясь над поверхностью, быстро перемещалось к громадному массиву Рудной. Я знал, что увижу солнце.

Но что оно будет так ощутимо двигаться, и не подозревал: люди привыкли, что солнце не бежит, а плавно плывет по небу. Но сейчас; в первом своем явлении, оно торопилось, всего несколько минут отводилось ему распорядком полярной природы. Оно побежало к верхней своей точке над Медвежьим ручьем и стало закатываться вглубь земли. И я понял, что если буду живым валуном торчать на приглянувшемся мне обледенелом пригорке, то солнце через минуту-две совершенно скроется и снова меня окружит тот синеватый сумрак, который называется полуднем полярной ночи – Солнце надо было догонять. Я соскочил с пригорка и помчался за убегающим солнцем.

Солнце шло, как и положено ему, с востока на запад. Я бежал, чтобы продлить свидание с ним, с запада на восток. Только так я мог отдалить миг, когда его прикроет щит высокой Рудной. Я помчался по насту, вскакивал на валуны, обегал рытвины и щели – дорога была неровна и скользка. Я стал отставать от солнца. Хоть и превратившее свой бег в неспешное уползание, оно все отчетливей сближалось с Рудной. Настал момент, когда его край соприкоснулся с камнем и стал пропадать за ним. Шар превратился в полусферу, полусфера в сегмент, снова лишь узенький сияющий ободок, удерживаемый моим ошалелым бегом по земле, еще виднелся на гребне массивной и хмурой горы.

И тогда я вскочил на водопроводную трубу и понесся по ней. От водонасосной станции тянулись две нитки, питающие ТЭЦ рабочей и охлаждающей водой. Обе трубы были гораздо шире воздухопроводов, по которым я бегал на промплощадке Укутанные в шлаковату, обитые защитными досками, они были в диаметре больше метра и простирались на полтора-два километра с запада на восток как раз по нужному мне на правлению. И хотя они местами еще выше поднимались над землей, чем заводские, бежать по ним было удобней и безопасней.

Пока я взбирался на трубу, солнце пропало за Рудной. Лишь красно-золотое пятно на краю горы показывало место, куда оно кануло. Но я не сомневался, что хоть на несколько минут, но ворочу его. После первых неуверенных шагов по трубе, я припустил изо всей мочи и с ликованием убедился, что обгоняю солнце. Солнце пошло назад, оно двинулось в обратную дорогу. Оно снова показалось из-за края горы только немного ниже места, куда перед тем скрылось. Маленький ободок медленно выростал в сегмент. Январский мороз был ниже тридцати градусов, ветра в тот день не случилось, я быстро промок от пота. Сердце бешено колотилось, я заглатывал ледяной воздух широко распахнутым ртом. Только звериное здоровье да упрямый характер, восстававший на слабость, обеспечивали неистовый бег к новому явлению солнца. Я знал, что вытащу солнце из-за горы. Я знал, что скорей свалюсь от сердечного удара, чем остановлюсь – либо замертво пасть, либо вызволить солнце из камня.

И я добился своего. Солнце продолжало медленно выдвигаться назад. Сегмент снова стал полусферой, полусфера округлялась. Настал момент, когда солнце оторвалось от Рудной и повисло, свободное в небе. Нижний его край касался долинки, правый край еле не упирался в гору, но оно было, было – яркое, свободное, одинокое в небе!

Я соскользнул с трубы на землю – пылающим лицом в снег, – хохотал, бил руками по ледяному насту. Когда я наконец поднял голову, солнца не было. Густела быстро наступающая ночь.

Минуты радости порой выпадали и в лагере, эти хорошие минуты помнились долго. Но в тот день конца января 1945 года я знал не простую радость, а счастье. Я чувствовал себя всемогущим. Ибо я вызвал исчезающее солнце назад, полюбовался им и позволил потом идти, куда ему назначено.